

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

«НАУКА»
МОСКВА — 1991

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.	МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
БАНЕР В. (ФРГ)	МАРТИНЕ А. (Франция)
БЕРНШТЕЙН С. Б.	МЕЛЬНИЧУК А. С.
БИРНБАУМ Х. (США)	НЕРОЗНАК В. П.
БОГОЛЮБОВ М. Н.	ПИЛЬХ Г. (ФРГ)
БУДАГОВ Р. А.	ПОЛОМЕ Э. (США)
ВАРДУЛЬ И. Ф.	РАСТОРГУЕВА В. С.
ВАХЕК Й. (ЧССР)	РОБИНС Р. (Великобритания)
ВИНТЕР В. (ФРГ)	СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)	СЛЮСАРЕВА Н. А.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.	ТЕНИШЕВ Э. Р.
ДЖАУКЯН Г. Б.	ТРУБАЧЕВ О. Н.
ДОМАШНЕВ А. И.	УОТКИНС Ш. (США)
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)	ФИШЬЯК Я. (Польша)
ДУРИДАНОВ И. (Болгария)	ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ЗИНДЕР Л. Р.	ХЕМП Э. (США)
ИВИЧ П. (СФРЮ)	ШВЕДОВА Н. Ю.
КЕРНЕР К. (Канада)	ШМАЛЬСТИГ В. (США)
КОМРИ Б. (США)	ШМЕЛЕВ Д. Н.
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)	ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)	ШМИТТ Р. (ФРГ)
МАЖЮЛИС В. П.	ЯРЦЕВА В. Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.	КОДЗАСОВ С. В.
АПРЕСЯН Ю. Д.	ЛЕОНТЬЕВ А. А.
БАСКАКОВ А. Н.	МАКОВСКИЙ М. М.
БОНДАРКО А. В.	НЕДЯЛКОВ В. П.
ВАРБОТ Ж. Ж.	НИКОЛАЕВА Т. М.
ВИНОГРАДОВ В. А.	ОТКУШНИКОВ Ю. В.
ГАДЖИЕВА Н. З.	СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.	СОЛНЦЕВ В. М.
ГАК В. Г.	СТАРОСТИН С. А.
ДЫБО В. А.	ТОПОРОВ В. Н.
ЖУРАВЛЕВ В. К.	УСПЕНСКИЙ Б. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.	ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.	ХРАКОВСКИЙ В. С.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.	ШАРВАТОВ Г. Ш.
КАРАУЛОВ Ю. Н.	ШВЕЙЦЕР А. Д.
КИБРИК А. Е.	ШИРОКОВ О. С.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)	ЩЕРБАК А. М.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Руден М. (Пало Алто). Происхождение языка: ретроспектива и перспектива	5
Лубоцкий А. (Лейден). Ведийская именная акцентуация и проблема праиндоевропейских тонов	20

Проблема представления знаний и естественный язык

✓ Кулагина О. С. (Москва). Об аспекте меры в лингвистическом знании	49
✓ Кибрик А. А. (Москва). О некоторых видах знаний в модели естественного диалога	61
✓ Богуславский И. М. (Москва). Лингвистический процессор и локативные обстоятельства	69
Белова А. Г. (Москва). Структура семитского корня и семитская морфологическая система	79
Калакуцкая Л. П. (Москва). Размышления о русской лексикографии (в связи с выходом в свет Русско-японского словаря)	91
Муравицкая М. П. (Киев). Психолингвистический анализ лексической омонимии в украинском языке	116
Голубева-Монаткина Н. И. (Москва.) Классификационное исследование вопросов и ответов диалогической речи	125

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Маковский М. М. (Москва). Теория языка Фридриха Ницше и современные лингвистические концепции	135
---	-----

Рецензии

Алпатов В. М. (Москва). <i>L'Hermitte R. Marr, marrisme, marristes. Une page de l'histoire de la linguistique soviétique</i>	153
Черданцева Т. З. (Москва). <i>Будагов Р. А. Толковые словари в национальной культуре народов</i>	156

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Всесоюзная научная конференция «Стилистика и поэтика»	159
Из докладов, представленных на Всесоюзной научной конференции «Стилистика и поэтика»	163

CONTENTS

R u h l e n M. (Palo Alto). The origin of language: retrospective and prospective; L u b o t z k y A. (Leiden). Vedic nominal accentuation and the problem of Proto-Indo-European tones; **Problems of representing knowledge and the natural language.** K u l a g i n a O. S. (Moscow). Aspects of measure in linguistic knowledge; K i b r i k A. A. (Moscow). On some kinds of knowledge in the pattern of natural dialogue; B o g u s l a v s k i j I. M. (Moscow). Linguistic processor and locative adverbials; B e l o v a A. G. (Moscow). Structure of the Semitic root and Semitic morphology; K a l a k u t z k a j a L. P. (Moscow). Some thoughts on Russian lexicography (in connection with the publication of the Russian-Japanese dictionary); M u r a v i t z k a j a M. P. (Kiev). Psycholinguistic analysis of lexical homonymy in Ukrainian; G o l u b e v a-M o n a t k i n a N. I. (Moscow). Classificational study of questions and answers in a dialogue; **Surveys:** M a k o v s k i j M. M. (Moscow). Friedrich Nietzsche's theory of language and contemporary linguistic trends; **Reviews:** A l p a t o v V. M. (Moscow). *L'Hermitte R. Marr, marrisme, marristes. Une page de l'histoire de la linguistique soviétique*; Ć e r d a n t z e v a T. Z. (Moscow). *Budagov R. A. The importance of explanatory dictionaries for national culture of peoples. Scientific life.* The All-Union scientific Conference «Stylistics and poetics»; Some papers presented to the All-Union scientific conference «Stylistics and poetics»

© 1991 г.

РУЛЕН М.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА: РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВА

«Язык... есть наиболее богатый
и надежный архив человечества».

Альфредо Тромбетти

Вопрос о происхождении языка — всякое обсуждение которого было запрещено Парижским лингвистическим обществом в 1866 г. — всегда был одной из немногих лингвистических проблем, интересующих широкую публику. Такое широкое, но некритичное внимание, в сочетании с большим числом любительских работ, не имеющих научной ценности, а также общим нежеланием ученых касаться данной проблемы объясняют, возможно, то, что она остается во многом еще не исследованной, а различные ее компоненты — часто даже нечетко выделенными. В настоящей статье я рассмотрю лишь один аспект этой проблемы, а именно: имеют ли все сохранившиеся по сей день языки общее происхождение.

Разительные сходства между биологией и лингвистикой, особенно в том, что касается их эволюционного аспекта, являющиеся общепризнанными по крайней мере с середины XIX столетия. В 1871 г. Ч. Дарвин в одной из немногих своих ссылок на язык указал, что «образование различных языков и отдельных видов животных, а также доказательства того, что и те и другие развились в результате постепенного процесса, удивительно параллельны» [1]. Если бы не эти «удивительные» сходства, сомнительно, чтобы биологи и лингвисты задумались когда-либо о совместной конференции: историки и математики, например, редко встречаются вместе. В фокусе этой статьи, однако, лежит та область, где биологические и лингвистические перспективы скорее перекрещиваются, чем взаимно дополняют друг друга. Для биологов моногенетическое происхождение *Homo sapiens sapiens* является общепринятым, и мысль о том, что у индоевропейских народов нет известных биологических родственников, показалась бы им несостоятельной. Между тем для большинства лингвистов единое происхождение всех человеческих языков представляется в значительной степени сомнительным, а убеждение в том, что индоевропейские языки не имеют известных лингвистических родственников, является для них не только удобной позицией, но и практически символом научной добропорядочности. Если не в теории, то на практике лингвистический подход все еще остается додарвинским в том отношении, что десятки или даже сотни лингвистических таксонов рассматриваются так, как будто они являются результатом исторически независимого развития. Лингвисты не доходят до того, чтобы отрицать возможность, в конечном счете, связи всех этих таксонов, однако они склонны отрицать, что имеются какие-либо языковые свидетельства в пользу подобной гипотезы.

Проблема моногенетического происхождения *Homo sapiens sapiens* не

должна непременно сводиться к проблеме моногенеза человеческого языка. Это два отдельных вопроса, и рассматривать их также следует отдельно. Нас интересуют те параллельные выводы, к которым биологи и лингвисты пришли независимым друг от друга путем. Так, не может не казаться странным мнение о несвязанности между собой всех языковых семей, притом что биологическое различие между их носителями часто минимально. Никто, несомненно, не полагает, что любая из этих сотен языковых семей есть каждый раз результат самостоятельного возникновения языка. Но в таком случае может ли являться вероятным или возможным, что эти языки отделились друг от друга настолько давно, что не сохранилось никаких свидетельств их древней взаимосвязи? Не кажется ли странным также и то, что сравнительный метод, который был открыт более двух веков назад, главным образом, на материале языков и.-е. семьи, никогда не был в состоянии связать эту семью с какой-либо другой — по крайней мере, к удовлетворению лингвистического сообщества? Загадочность этого обстоятельства усугубляется тем, что и.-е. семья ни в коей мере не является архаичной или трудной для исследования. Я думаю, что общее неприятие попыток связать и.-е. семью с другими языковыми семьями прочно блокировало и обсуждение вопроса о моногенезе, выступая в качестве плотины на пути любых дальнородственных сравнений. Если и.-е. семья, наиболее изученная и наиболее хорошо понятая из всех языковых семей, не может быть убедительным образом связана с какой-либо другой семьей, то можем ли мы испытывать какое-либо доверие к связям, предполагаемым между менее изученными языковыми семьями, хронологический возраст которых намного превышает возраст и.-е. семьи? Так что если по-прежнему придерживаться концепции «безупречной чистоты» и.-е. семьи, то вопросу о моногенезе языков все еще суждено оставаться в числе спорных.

Тогда как парижский запрет на изучение проблемы происхождения языка выразил разочарование работой в этой области в Европе, в Соединенных Штатах историк языка Уильям Дуайт Уитни был не менее пессимистичен: «Лингвистическая наука как сейчас, так скорее всего и в будущем не в состоянии сформулировать авторитетного мнения, объясняющего единство либо разнообразие человеческого рода» [2]. Хотя подобное убеждение и по сей день разделяется большинством лингвистов, я считаю, что оно в значительной степени является мифом, некритично воспринятым поколениями ученых в течение более чем столетия. Имеется множество причин, объясняющих живучесть данного мифа, и наиболее важными среди них являются две: преимущественно синхронический уклон лингвистики XX в. и постоянно усиливающаяся специализация науки. Хотя историческое языковедение все же не умерло и, несомненно, всегда воспринималось как неотъемлемая часть общей лингвистики, не может быть никакого сомнения в том, что в течение большей части нынешнего столетия оно, в отличие от синхронических исследований, оставалось на заднем плане. Кроме того, увеличивающийся темп публикаций и специализации науки означал, что лишь немногие лингвисты стараются быть в курсе исследований, выходящих за рамки изучаемой ими языковой семьи или интересующего их языка. Ситуация, когда, к примеру, достижения бантуистики могут благополучно игнорироваться учеными-романистами¹, считается вполне нормальной.

В начале нашего века английский фонетист Г. Суит отметил вред,

¹ То, что это не так, я пытался показать в [3].

который наносит специализация дальнеродственным сравнениям, охарактеризовав его словами, которые, к сожалению, еще более верны сегодня:

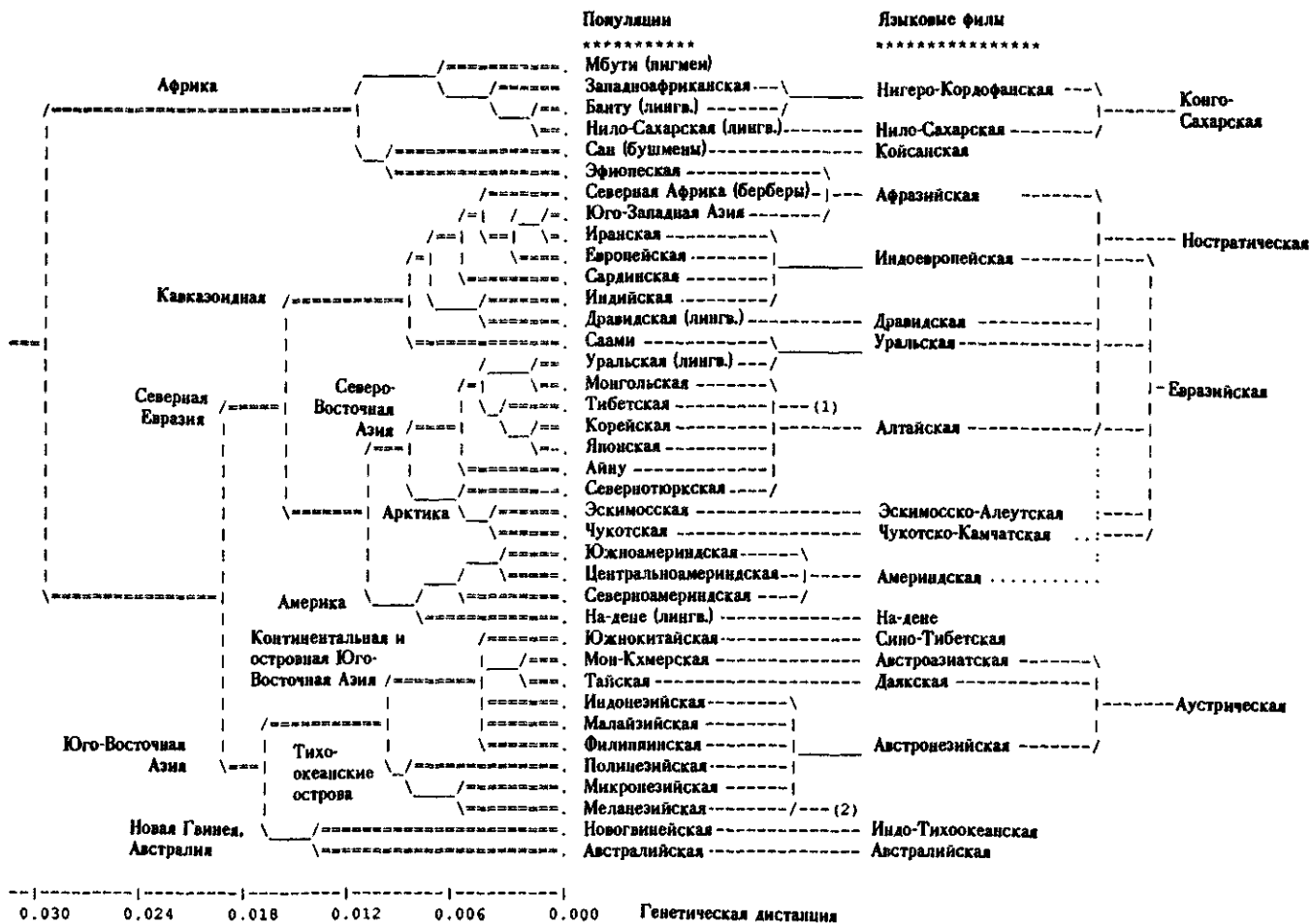
«В филологии, как и во всех областях знания, именно специалист наиболее энергично противится любой попытке расширить сферу действия своих методов. Поэтому стороннику родства между арийскими (=индоевропейскими) и финскими (=финно-угорскими) языками не следует тревожиться, когда он слышит, что большинство специалистов в области арийской филологии отвергает эту гипотезу. Во многих случаях это отрицание просто означает, что наш специалист уже по горло занят, и поэтому уклоняется от изучения новых для него языков. ...Даже когда такая пассивно-агностическая позиция перерастает в агрессивный антагонизм, это обычно является выражением не более чем простого предубеждения против низвержения арийского языка к позиции гордого одиночества и сближения его с языками желтой расы; либо отражает недостаток воображения и способности для понимания более раннего морфологического этапа арийского языка; либо, наконец, консерватизм и осторожность тех, кто скорее пройдет мимо блестящего открытия, чем подвергнет себя опасности ошибиться» [4].

Несмотря на такую, в целом неблагоприятную интеллектуальную атмосферу, а также ужас или осуждение коллег, всегда находились ученые, которые не принимали парижский эдикт и предостережение Уитни и стремились отыскать свидетельства в пользу построения более исчерпывающих классификаций языков мира. Мне бы хотелось вкратце охарактеризовать работы шести подобных ученых.

В течение первой четверти XX в. итальянец А. Тромбетти опубликовал ряд работ, в которых он стремился обосновать моногенез человеческого языка путем сравнения лексических и грамматических корней различных языков и языковых семей мира. Хотя трудно возражать против того, что некоторые из предложенных Тромбетти сравнений оказались неверными, многие другие его сопоставления позднее были подхвачены (или независимо открыты) и развиты другими учеными. Еще в 1905 г. Тромбетти представил внушительные доказательства *prima facie* в пользу моногенеза человеческого языка [5]. Сегодня, располагая несравненно лучшим лингвистическим материалом — как описательным, так и историческим, — мы можем значительно усилить доказательства Тромбетти.

В Новом Свете, примерно с 1910 до 1930 г., американский лингвист Э. Сэпир предложил ряд широкомасштабных сравнений в пользу объединения многочисленных языковых семей американских индейцев, выделенных на этапе каталогизации лингвистической таксономии в XIX в. Более полное обсуждение многих работ Сэпира в области америндской классификации читатель может найти в [6]. Сэпир также был первым, кто предположил генетическую близость семей на-дене и сино-тибетской, исследованные связи между которыми недавно было возобновлено и продолжено советскими учеными.

М. Сводеш, ученик Сэпира, разделял как интерес своего наставника к америндской лингвистике, так и увлечение Тромбетти глобальными исследованиями. Хотя его ранние работы, посвященные этимологическим сравнениям между предполагаемыми языковыми группировками, все еще оставались в духе Сэпира, впоследствии он выработал свой собственный метод лексикостатистики, приведший к неоднозначным результатам. На этом более позднем этапе он стал интересоваться установлением связей между языками всего мира, тогда как проблема иерархической классифи-



кации языков стала для него менее актуальной. Его преждевременная смерть в 1967 г. означала, что работа всей его жизни так и не была по-настоящему должным образом завершена.

В начале 1960-х годов два советских ученых, В. М. Иллич Свитыч и А. Б. Долгопольский, возродили раннюю гипотезу Х. Педерсена об объединении и.-е. семьи с некоторыми другими языковыми семьями Евразии и Северной Африки в ностратическую макросемью. Хотя вначале эти ученые работали независимо друг от друга, результаты их исследований совпали в столь значительной степени, что ностратическая теория стала единой и унифицированной областью лингвистики. Работы в данной области после трагической гибели Иллич-Свитыча (посмертные публикации см. [7—9]) были продолжены Долгопольским и другими учеными. Согласно классической ностратической теории, и. е. семья является одной из шести подгрупп, наряду с афразийской, картвельской, уральской, алтайской и дравидской. С тех пор было опубликовано около 400 этимологий, подтверждающих достоверность ностратической группировки. Недавно Долгопольский предложил включить сюда также эламский, нивхский и чукотско-камчатские языки.

Последний ученый, которого я в этой связи упомяну, Дж. Гринберг, внес, по всей видимости, наибольший вклад в лингвистическую таксономию. Начав со своей революционной классификации африканских языков в 1950-х годах, Гринберг исследовал те регионы мира, лингвистическая классификация которых была разработана в наименьшей степени. К 1963 г. он расклассифицировал все африканские языки на четыре фило (койсанскую, нигеро-кордофанскую, нило-сахарскую и афразийскую), и именно эта классификация стала основой для всех современных исследований [10]. В 1971 г. Гринберг предложил свидетельства в пользу индо-тихоокеанской фило, которая включает самые различные папуасские языки Новой Гвинеи и окружающих островов [11], а в 1987 г. он представил внушительные доказательства, служащие обоснованием америндской макросемьи, включающей все языки Нового Света за исключением семей на-дене и эскимосско-алеутской [12]. В настоящее время Гринберг работает над книгой о евразийской группировке языковых семей, отличающейся от ностратической исключением из нее афразийских, картвельских и дравидских языков и включением японского, айну, нивхского, чукотско-камчатских и эскимосско-алеутских языков.

Несмотря на работы перечисленных выше ученых, большая часть лингвистического сообщества, особенно в Соединенных Штатах, по-прежнему привержена убеждению в том, что и.-е. языки не имеют известных лингвистических родственников и, возможно, никогда их не имели, так как из-за временной глубины и.-е. праязыка все следы генетических связей в результате постоянной фонетической и семантической эрозии были утрачены. Эта убежденность настолько сильна, что лингвисты, располагающие свидетельствами в пользу обратного, скорее склонны предлагать для таких противоречащих их убеждениям фактов объяснения *ad hoc*,

Подпись к рисунку.

Сопоставление генетического древа и языковых фил. Помета (лингв.) обозначает популяцию, объединенные на основе лингвистической классификации. (1) Тибетцы связываются генетически с северо-восточно-азиатской группой, но лингвистически — с сино-тибетской семьей языков. (2) Меланезийцы частично говорят на индо-тихоокеанских языках. В настоящее время у нас не имеется генетических данных относительно картвельской или (северно)кавказской популяций (см. [24]).

чем подвергнуть какому-либо сомнению догматы сравнительно-исторического языкознания. Поучительным примером в этом отношении является австралийская макросемья. Человек непрерывно заселял Австралию в течение по крайней мере последних 40 000 лет, и у нас есть все основания полагать, что протоавстралийский датируется приблизительно тем же периодом, хотя нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что Австралия не всегда была отделена от Новой Гвинеи и нынешнее ее географическое положение установилось примерно 10 000 лет назад. Протоавстралийский должен быть старше праиндоевропейского по меньшей мере в два, а скорее всего — в семь или восемь раз. При такой временной глубине свидетельств примитивного единства, согласно стандартному взгляду на языковую эволюцию, уже не должно существовать, и тем не менее австралийская семья является общепризнанно реальным таксоном.

Для того чтобы уладить это явное противоречие, Р. М. У. Диксон отказывается от принципа языкового униформизма и высказывает предположение, что австралийские языки, в силу их изоляции, изменялись намного медленнее, чем остальные языки мира:

«На протоавстралийском говорили, вероятно, в довольно глубоком прошлом, возможно, несколько десятков тысяч лет назад. Именно это обстоятельство делает маловероятным то, что когда-либо будет возможно продемонстрировать генетическую связь между австралийской и какой-либо иной языковой семьей. Любой родственный язык, который протоавстралийский мог оставить, скажем, в Юго-Восточной Азии, по всей видимости, изменился настолько, что его невозможно распознать из-за лежащего между ними большого промежутка времени, а сохранившиеся черты близости будут недостаточными для выявления какой-либо связи. (Вполне вероятно и то, что родственные протоавстралийскому языки не оставили живых потомков.) Языки в целом изменяются с такой скоростью, что генетические связи между идиомами, период разделения которых более трех или четырех тысяч лет, стираются. Австралийские языки были почти изолированы от контактов с другими языками и культурами и вполне могли измениться в сравнительно меньшей степени; но любые родственные им языки, которые остались в регионах, более космополитичных в лингвистическом отношении, не могли быть защищены подобным же образом» [13, с. 237].

Такое романтическое представление об Австралии как о земле, забытой Временем, вероятнее всего неверно, и не следует упускать из виду, что оно основано скорее на предположениях, чем на доказательствах. Во всяком случае Диксон слишком категоричен, когда утверждает: «отсутствуют какие-либо свидетельства генетической связи между австралийскими языками и языками вне этого континента; нет никакой, даже отдаленной „возможности“, о которой ученые могли бы спорить. По-видимому, языки Австралии так долго находились в местах своей нынешней локализации, что всякие свидетельства их связей с другими языками со временем выветрились» [13, с. 238].

Хотя число корней, реконструированных для протоавстралийского, сравнительно невелико, некоторые из них можно было бы связать с корнями других языковых семей (подробнее см. [14]). Рассмотрим, к примеру, протоавстрал. **bungu* «колено», с семантическим расширением — о предметах, которые сгибаются (волна, излучина реки, бугорок на теле змеи), — в различных современных языках. Эта форма очень близка по звуковой и значению к индо-тихоокеанской этимологии для «колень»,

которая включает такие формы, как тобело *buku*, копану *roki* и тери кавалш *bugu*. Третья большая океанийская языковая семья сохраняет этот корень в протоавстронезийском **buku* «узел, сочленение, сустав». Следы этого корня обнаруживаются также в Евразии. К нему принадлежит, по-видимому, протокавказское **wVnk*^w «угол, изгиб», равно, как и айну (*he-*)*poki(-ki)* «склоняться вниз», протоалтайское **bük(ä)* «склоняться» (включающее такие формы, как уйгур. *bük* «согнуть колени», якут. *bük* «сгибаться», халха *bóx(on)* «горб верблюда», эвенк. *buku* «склоненный, изогнутый») и протоиндоевр. **bheug(h)* «склоняться». В Африке протобанту **bóngó* «колени» фактически идентично австралийскому корню как по форме, так и по значению. Можно ожидать, что аналогичные рефлексы этого корня могут быть обнаружены где-нибудь в нигеро-конгской языковой семье, однако из-за отсутствия нигеро-конгского этимологического словаря это пока трудно верифицировать. Тот же корень, наконец, хорошо представлен в америндской семье, где мы находим североамериканские формы типа чумаш (*si-*)*buk* «локоть» и валапай (*mi-*)*puk* «колени», ср. южноамериканские формы типа гуамака *buka* «колени, локоть» и иранше *roki* «поклон».

Рассмотренный выше пример ни в коей мере не является единственным свидетельством генетической связи между австралийской и другими языковыми семьями мира. Диксон реконструирует **bula* «два» для протоавстралийского, а Блейк [15] показывает, как это число было использовано в подгруппе пама-ньонган для образования местоимений двойственного числа: **nyuN-palV* «вы-двое» и **pula* «они-двое». В двух вымерших тасманийских языках (не родственных, по Диксону, австралийским языкам) представлены схожие формы: юго-вост. *boula* «два» и южн. *rooalik* тж. В контексте своей австро-тайской гипотезы Пауль Бенедикт указал на схожесть числительного «два» во всех основных языковых семьях Юго-Восточной Азии [16]. Бенедикт реконструирует *²(*m*)*bar* «два» для протоавстроазиатского (ср. сантали *bar*, йех *bal*, кхму̣ *bār*, старомонг. ²*bar*) и *(*a*)*war* «два» для протояо-яо. Он считает также даякские формы типа мак *ta* «близнецы» родственными предыдущим, равно, как и австронезийские формы, представленные, в частности, яван. *kẽmbar* «близнецы». Что касается Африки, то одними из свидетельств, предложенных Э. Грегерсеном в поддержку конго-сахарской семьи (он предлагает объединить нигеро-кордофанскую и нило-сахарскую ветви в одну семью), были формы для числительного «два», которые почти не отличаются от тех, которые мы до сих пор рассматривали [17]. В нигеро-конгских языках мы имеем темне (*ka*)*bari* «близнецы», нимбаря *bala* «два», мано *pere* тж. и протобанту **bādí* тж.; в нило-сахарских языках есть формы типа нубийского *bar(-si)* «близнецы», мерарит *warē* «два» и кунама *barā* «пара». Что до евразийских языков, то одна из ностратических этимологий Иллич-Свитыча кажется родственной обсуждаемым формам, но в этих языках произошел сдвиг значения от «два» к «половина, сторона, часть». Конкретно Иллич-Свитыч сближает протоиндоевр. **pol* «половина, сторона» [ср. алб. *pale* «сторона, часть, пара», русск. *пол* «половина», скр. (*ka-*)*palam* «половина»] с протоурал. **pätä*/**pole* «половина» (ср. ненец. *peele* «половина», венг. *fele* «половина, одна из двух сторон», манси *pāl* «сторона, половина», удм. *pal* «сторона, половина») и протодравид. **pāl* «часть, порция» (ср. тамил. *pāl* «часть, порция, доля», телугу *pālu* «доля, порция», парджи *pēla* «порция»). Наконец, родственные формы обнаруживаются в америндских языках Северной и Южной Америки [ср. винтун *palo(-l)* «два», ваппо

p'ala «близнецы», хуаве *apool* «расколоть надвое», колорадо *palu* «два», сабана *pa'lin* тж.].

В заключение мне хотелось бы рассмотреть некоторые свидетельства в пользу гипотезы о связи австралийской ветви языков с другими языками мира. Одним из них является вопросительное местоимение, наиболее обычная форма которого — *mi(n)* или *ma(n)* в значении «что?, кто?» (либо с некоторыми другими вопросительными значениями). Этот корень, который обсуждался в работах Тромбетти, Иллич-Свитыча и Гринберга, выступает в качестве одного из наиболее широко распространенных словообразующих элементов в человеческом языке. Для протоавстралийского Диксон реконструирует **min* *NH* ² «что», с современными рефлексами в виде дйирбал *minya* «что» и питта-питта *minha* тж. Эти формы разительно схожи с теми, которые имеются в одной из индо-тихоокеанских этимологий Гринберга, включающей такие формы, как матап *mina* «что», арапеш *mane* тж., ньяура *tanda* «что, вещь», кати *man* «что-то», биада *min* «вещь», лаумбе *mina* тж.

В Евразии встречается ряд форм, по всей видимости, родственных только что упомянутым. В австроазиатской ветви можно указать на курку *amae* «кто», мон *mi* «что», центр.-сакаи *mā, mō* тж. Два изолированных языка Индийского субконтинента, бурушаски и нахали, демонстрируют рефлексы указанного вопросительного местоимения. В бурушаски имеется *ten* «кто» и *amin* «который», в нахали *mingay* «где» и *miyan* «сколько». На Кавказе **ma* реконструируется в качестве вопросительной частицы в протосеверокавказском, а некоторые языки демонстрируют также местоименное использование М-интеррогатива, например, чеч. *mila* «кто» и бацб. *me* тж. Для южнокавказского, или картвельского (который, вероятно, не является ближайше родственным северокавказским языком), Г. Климов реконструировал **ma* «что» и **mi-n* «кто» [18]. (В настоящее время автор реконструирует **vin*.) М-интеррогатив хорошо представлен по всей Северной Евразии, его широкая распространенность здесь отмечена как в ностратических этимологиях Иллич-Свитыча, так и в евразийских этимологиях Гринберга. Примеры включают праиндоевроп. **mo-*, основу вопросительных наречий, прототурал. **mi* «что» [ср. манси *mān* «который, что», тавги *ma* «что», венг. *mi* «что, который», фин. *mi/mi(-kä)* «что, который»]; прототюрк. **mi* «что» (ср. чуваш. *mēn* «что» и тур. *mi*, синтаксическую энклитику); монг. *-ū* (<**mi*), синтаксический индеевропейский интеррогатив и монгол. *amu/ama* «что»; тунг. *-ma*, показатель индеевропейской синтаксической энклитики; корейск. *miōt* «что» и старокорейск. *mai* «почему»; рюкюское (язык, близкородственный японскому) *mī* «что»; айну *tak/makanak* тж., *takan* «какой»; чукот. *mikin*, камчадал. *min* «который, какой».

В Новом Свете М-интеррогатива, насколько мне известно, не обнаруживается ни в эскимосско-алеутских языках, ни в на-дене, однако он широко распространен в америндских языках. Североамериканские примеры включают северносахалинское *mēn/mna* «где», центральный сьерра-мивок *minni* «кто», сан-хосе *mani* «где», чоктав *tana* «когда» и чикаса *mano* «где». В Южной Америке мы имеем кабаба *mai* «кто», *mani* «где», паез *maneh* «когда», аллентиак *ten* «кто», катио *mai* «где», гуахахара *ton* «кто», маришу *manib* «в каком направлении», кофан *mai* «где», кренхе *tenō* «кто» и ботокудо *mina* «кто».

В Африке М-интеррогатив широко засвидетельствован в афразийских

² *NH* представляет соответствие между ламино-межазубным *nh* и ламино-палатальным *ny*, которое обнаруживается в современных языках.

и обнаруживается, по-видимому, также в койсанских языках. Койсанских примеров сравнительно немного (ср. кхое *mā* «кто», *mā'* «который», варон *kama* «если, когда», нама *taba* «где»), но в афразийских он засвидетельствован в каждой ветви этой семьи. Примеры включают аккад. *mīn* «что», *man* «кто», амхар. *mən* «что», араб. *man/min* «кто», туарег. *ma* «что», *mi* «кто», сахо *mā* «что», *mi* «кто», сомали *māhā* «что», оромо *māni* тж., каффа *amone* тж., хауса *mè/mì* тж., бата *mən* тж. и логоне *mini* «кто».

Во всех приведенных выше формах мы утверждаем родство по начальной, М-части корня. Конечный же элемент -N-, однако, имеет различные источники, одним из которых является показатель локатива. Интеррогатив на К можно увидеть в некоторых из вышеприведенных форм, и он является главным конкурентом М-интеррогатива в языках мира, иногда соединяясь с ним, иногда вытесняя его, а иногда им замещаясь. Сложная картина взаимодействия этих двух интеррогативов (так же, как и третьего, j) обсуждалась Тромбетти, Иллич-Свитычем и Гринбергом, и все они обратили внимание на, как правило, личный характер интеррогатива на К (кто?) в противоположность обычно неличному характеру М-интеррогатива (что?). Наконец, заслуживает внимания тот факт, что несмотря на огромное географическое распространение этого корня — от Африки до обеих Америк — он, по-видимому, не встречается в нигеро-кордофанских или нило-сахарских языках, к чему я вернусь ниже.

Существование широкораспространенных корней, многие из которых были известны по крайней мере со времен Тромбетти, не внесло, однако, ощутимого вклада в развитие сравнительно-исторической лингвистики, которая, с точки зрения теоретической перспективы, осталась привержена европоцентризму (это обнаруживается при изучении любого из специальных пособий). Подавляющее большинство лингвистов считает, что и.-е. языки не имеют родственных связей с какой-либо иной языковой семьей. В обеих Америках в течение нынешнего столетия наблюдалось скорее отступление области лингвистической таксономии, так как уснаивалось наличие все новых языковых семей, число которых достигло 200 к тому времени, когда Гринберг предоставил неоспоримые доказательства в пользу того, что на самом деле их всего три (см. [12]). Что касается Азии, то многие алтаисты сейчас отвергают любую связь между тремя алтайскими ветвями; иногда отрицается либо подвергается сомнению даже близость к уральским языкам юкагирского. Причин подобного отрицания более глобальных классификаций много, и недавно они подробно обсуждались (см. [12, 6, 14]). Не пытаясь суммировать это обсуждение в общих словах (что потребовало бы много места), я просто процитирую некоторые конкретные критические замечания, которые, ни в коей мере не будучи удовлетворительными или достаточными, служат поддержке оппозиции дальнеродственным сравнениям.

Традиционно наиболее обычная критика дальнеродственных сравнений заключается в том, что предполагаемые родственные слова семантически и/или фонологически слишком различаются, чтобы быть исторически связанными. Но подобный упрек вряд ли можно отнести к рассмотренным выше этимологиям, которые, действительно, критикуются с другой стороны: они слишком близки по звучанию и значению, чтобы свидетельствовать о древности наблюдающейся между ними связи. Предполагаемо родственные слова, цитированные в этимологических сопоставлениях, настолько схожи формально и семантически, что их генетическая близость не вызвала бы сомнений, если бы они просто представляли,

скажем, южноамериканские индейские языки. Однако ввиду того, что они принадлежат предположительно несвязанным языковым семьям мира, фактической сути таких этимологий придается меньше значения, чем представлениям о том, какие генетические связи возможны, а какие нет. То, что считалось бы очевидной этимологией на низком уровне классификации, становится случайным «шумом» на более высоких ее уровнях — без какого-либо изменения содержания самой этимологии. Тромбетти критиковал эту методологическую непоследовательность следующим образом: «Ясно, что само по себе сравнение финно-угорского *me* „я“, *te* „ты“ с индоевропейскими *me-* и *te-* (с тем же значением) релевантно настолько же, насколько таковым может быть любое сравнение между соответствующими местоименными формами в индоевропейских языках. Единственное различие состоит в том, что общее происхождение индоевропейских языков принимается, тогда как связь между индоевропейскими и финно-угорскими языками отрицается» [5, с. 44].

Никто не станет отрицать, что группы, располагаемые на низких уровнях классификации (например, романская), часто содержат очень схожие или даже идентичные родственные слова. Дискуссии же вызывают два вопроса: (1) могут ли предположительно независимые, более высокоуровневые группировки вроде индоевропейской, австралийской либо америндской содержать слова, схожие по форме и значению? и (2) могут ли в современных языках сохраняться рефлексy, схожие или идентичные реконструированным формам данного праязыка (например, праиндоевропейского, прапалеостратического или праавстралийского)? Ответы на оба этих вопроса зависят от темпа и природы языкового изменения. Как свидетельствуют приведенные выше комментарии Диксона, большинство лингвистов полагает, что скорость языкового изменения такова, что всякие следы генетических связей через несколько тысячелетий стираются; следовательно, ответ на оба этих вопроса будет отрицательным. Тем не менее, если все же предположить, что все языковые семьи происходят из общего источника, то вряд ли будет удивительным факт схожести между собой наиболее древних доступных реконструкции форм в каждой из этих семей. Что касается второго вопроса, то хотелось бы только сказать, что во всех известных мне этимологических словарях некоторые из реконструированных для данного праязыка форм были схожи или идентичны рефлексам в его языках-потомках. Покорный [19] реконструирует праиндоевроп. **nerōt* «племянник, внук», форму, которая должна была существовать по крайней мере 5000 лет назад. И тем не менее эта же самая форма, с тем же значением, в неизменном виде сохраняется до настоящего времени в рум. *nerot* «племянник, внук». По крайней мере, в этом случае не видно действия упомянутой Диксоном неумолимой эрозии. Такой же феномен отмечен и в языковых семьях, даже намного более древних, чем индоевропейская. К примеру, первая реконструкция, представленная в данной статье — протоавстрал. **bungu* «колени», — имеет такой же рефлекс *bungu* «колени» во многих современных языках (например, в гуугу йимидхир, йидини, дйирбал). В таком случае, если в современных языках допустимо видеть рефлексy, идентичные реконструированным формам для протоавстралийского, датирующегося, по всей видимости, периодом 40 000 лет до н. э. или более, то на каком основании можно возражать против сходного феномена в отношении между протосапиентным языком и современными языками. имея в виду, что протосапиентный язык мог быть лишь на 20 000—30 000 лет древнее протоавстралийского?

Кроме того, неверным может являться и предположение, что языковое

изменение со времени появления *Homo sapiens sapiens* было постоянным и неизменным. Хорошо известно, что динамика культурной эволюции в целом характеризовалась, по-видимому, все более ускоряющимися темпами, что может быть справедливым также в отношении темпов языковой эволюции. С другой стороны, и биологическая эволюция уже не представляется неизбежно в виде очень долгого и медленного процесса постепенного и постоянного изменения; такие ученые, как Нильс Эддредж и Стивен Джей Гоулд, напротив, высказывают мнение о неравномерном характере эволюции, в процессе которой и через очень продолжительный период времени могут происходить лишь незначительные изменения. Учитывая то, что нам неизвестна динамика языковой эволюции за последние 100 000 лет, представляется преждевременным априори отвергать какие-либо гипотезы относительно возможных темпов языкового изменения.

Некоторые лингвисты просто не знают, что в других языковых семьях есть корни, схожие с корнями интересующей их семьи, и я подозреваю, что это относится и к Диксону. Другие лингвисты, однако, осведомлены о существовании таких корней, но предпочитают их игнорировать. Одним из наиболее убедительных свидетельств, которые Дж. Гринберг [12] привел в поддержку америндской макросемьи, является наличие показателя 1 л. *n* и 2 л. *m* во всех ее одиннадцати ветвях. В настоящее время известно, что с семантической точки зрения местоимения 1 и 2 л. относятся к числу наиболее устойчивых во времени значений. А. Долгопольский [20] обнаружил, что более стабильным является местоимение 1 л., тогда как местоимение 2 л. в данном отношении занимает третье место (вслед за числительным «два»). Кроме того, хорошо известно, что с точки зрения фонологии начальные назальные консонанты являются одними из наиболее устойчивых звуков. Сочетание стабильных звуков со стабильными значениями означает, что даже спустя 14 000 лет эти местоимения сохранились в каждой ветви америндской макросемьи. Гринберг не претендовал на первенство в обнаружении широкого распространения этих двух местоимений в Северной и Южной Америке. Выявил этот факт в статье, содержащей дополнительные свидетельства в пользу америндской семьи, Сводеш [21], а годом позже Гринберг, не зная о статье последнего, сделал сходное наблюдение. Позднее Гринберг писал: «То, что два ученых независимо друг от друга сделали одно и то же важное наблюдение, является интересным косвенным подтверждением в пользу америндской группировки в том виде, в каком я ее определил» [12, с. 54]. И на Сэпира произвела впечатление широкая дистрибуция местоимения *n* «я» и *m* «ты» в языках индейцев Северной и Южной Америки, в связи с чем в одном частном письме 1918 г. он восклицал: «В самом деле, каким же еще образом можно объяснить общеамериканское *n*- „я“ иначе, как генетически?». Однако все эти исследователи проглядели второе приложение к книге Тромбетти «Единство происхождения языка» [5], озаглавленное «Местоимения „я“ и „ты“ в основных американских языках», где содержались многочисленные примеры существования обоих местоимений как в Северной, так и в Южной Америке. Важность этого факта не ускользнула от Тромбетти, который отмечал: «Как можно видеть, местоимения *NI* „я“ и *M* „ты“ простираются по всей территории от наиболее северных регионов Америки до южной оконечности Нового Света, к Огненной Земле. В связи с недостаточностью имеющихся в нашем распоряжении материалов данный список является далеко не полным, но его, несомненно, достаточно для того, чтобы дать представление о широкой дистрибуции этих наиболее древних и основных элементов» [5, с. 208].

Л. Кэмпбелл, исследователь в области америндских языков и один из главных критиков Гринберга, смотрит на эти вещи иначе: «Широко распространенный показатель первого лица и несколько менее распространенный показатель второго лица ... были выявлены с самого начала, не оказав существенного влияния на классификацию» [22, с. 488]. К сожалению, здесь Кэмпбелл прав, хотя вряд ли следует считать заслугой то, что столь важною свидетельству не было придано никакого значения.

Гринберг суммирует фундаментальную и очевидную важность двух указанных америндских местоимений следующим образом:

«Делом науки является заметить неслучайные явления и объяснить их. Если бы мы нанесли на карту мира встречаемость конкретных маркеров первого и второго лица, то не могли бы не заметить, с одной стороны, сочетания показателя первого лица *m* и второго лица *t* (наряду с *s*) в Европе, Северной Азии и северной части Северной Америки до Гренландии, и с другой — сочетание показателя первого лица *n* с показателем второго лица *m*, охватывающее оставшуюся часть обеих Америк, за исключением ареалов распространения языков на-дене и эскимосско-алеутских. По моему мнению, одного этого наблюдения было бы достаточно, чтобы привести любого исторически мыслящего антрополога к мысли о том, что следует допускать наличие по крайней мере одной большой ветви языков, имеющей первый из указанных наборов местоимений, и другой, имеющей второй их набор» [12, с. 55].

Выше я уже отмечал, что широко распространенные в настоящее время высказывания, согласно которым и.-е. языки не имеют известных родственных языков и что моногенез языка не может быть продемонстрирован на основании лингвистических данных, являются некорректными. Эти утверждения основываются скорее на экстралингвистических критериях и на априорных предположениях, чем на серьезном изучении мировой лингвистической литературы. Как мне представляется, все большее, хотя пока еще и не столь значительное, число лингвистов начинает осознавать, что все языки мира действительно имеют общее происхождение, и свою работу они начинают строить именно на этой основе. В заключительной части данной статьи мне бы хотелось обсудить некоторые импликации моногенеза применительно к лингвистической таксономии.

Во-первых, поиски языкового «родства» к настоящему времени прекращены, ибо теперь уже не представляет никакого смысла спрашивать, являются ли два языка (или две языковые семьи) родственными. Все языки родственны, и вопросом, нуждающимся в выяснении, выступает не факт родства, а его степень. Все таксономические вопросы сводятся к одному: выявлению подгрупп человеческой семьи на основании лингвистических данных. Такие факты могут быть как лексическими (например, корни, аффиксы), так и типологическими (например, наличие назализованных гласных, порядка слов SOV, различие инклюзива/эксклюзива для местоимения «мы»). Использование лексических свидетельств в поддержку выделения той или иной подгруппы не нуждается в каком-либо обосновании, поскольку подобная процедура уже долгое время составляет существенную основу сравнительного метода. Именно тотальное распространение какого-либо корня, а не простое его наличие в той или иной семье языков определяет его таксономическую значимость. При этом дополнительным основанием для выделения тех или иных групп могут служить специфические черты развития в некоторых подгруппах (например, закон Гримма внутри и.-е. семьи).

Использование типологических критериев в генетической классифи-

кации более неоднозначно, поскольку считается общепринятым, что типологические черты не указывают на генетические связи. Как хорошо известно, использование типологических критериев в африканской лингвистике привело к классификациям, которые определенно не были филогенетическими. Тем не менее ошибка ранних таксономистов африканских языков заключается скорее в их опоре на слишком малое число типологических черт (иногда только на одну), чем в использовании самих этих черт. Так, привлечение в качестве основы для классификации лишь показателя рода, назализованных гласных или же определенного порядка слов приведет, с точки зрения строго исторической перспективы, к абсурдным результатам. И все же подобные черты языковой структуры передаются генетически в не меньшей степени, чем лексика, и таким образом обладают некоторой, хотя и не абсолютной, доказательной ценностью. Вряд ли можно считать случайным капризом природы то, что приблизительно 700 папуасских языков обладают единым порядком слов SOV (с незначительными исключениями, обусловленными австронезийским влиянием). Хотя и.-е. система грамматического рода и не родственна аналогичным системам в других языковых семьях, это не служит доказательством того, что категория рода в истории и.-е. семьи языков (как и в других языковых семьях, где она развилась самостоятельно) не являлась генетически передаваемой чертой. В предварительном таксономическом анализе языковых фил мира [23], используя типологические черты как в области консонантизма (наличие или отсутствие *p, t, s* и т. д.), так и в области гласных (наличие или отсутствие *i, e, a* и т. д.), местоимений (наличие или отсутствие дуального инклюзивного местоимения 1 л.) и порядка слов (наличие или отсутствие порядка слов SOV в простом повествовательном предложении), мы обнаружили, что нередко те языковые филы, которые первоначально были увязаны между собой на основании наличия родственных слов, столь же успешно были объединены и путем сопоставления типологических черт (например, уральская и алтайская, чукотско-камчатская и эскимосско-алеутская, на-дене и кавказская, нигеро-кордофанская и нило-сахарская, индоевропейская и афразийская). Эти предварительные данные указывают на то, что в типологии содержится более значительный генетический компонент, чем предполагалось ранее.

Вторым следствием моногенеза является то, что становится возможным, по крайней мере, теоретически, сравнить филогенетическое древо человеческого рода, основанное на лингвистических данных, с аналогичным построением на основе биологических данных. Многие лингвисты по-прежнему считают, что имеется мало соответствий между фактами лингвистики и биологии. Согласно Кэмпбелл, «повторение очевидного кажется необходимым: нет никакой детерминистской связи между языком и генофондом или же культурой» [22, с. 488]. Тем не менее недавняя работа Л. Л. Ковалли-Сфорца и др. показывает, что параллели между биологической и лингвистической классификациями являются чрезвычайно близкими: «Языковые семьи соответствуют группам популяций лишь с очень незначительными и легко объяснимыми несовпадениями, и происхождение их можно придать временные параметры. Макросемьи языков обнаруживают удивительное соответствие двум основным группам популяций, указывая на значительный параллелизм между биологической и языковой эволюциями» [24, с. 6002]. Как можно видеть на рисунке, многие языковые таксоны почти точно соответствуют биологическим таксонам не только на низших уровнях классификации (например, восточно-австронезийская, алтайская семьи), но и на более высоких ее уровнях

(например, конго-сахарская, австрийская, ностратическая/евразийская, америндская). В этом случае нельзя не задаться вопросом, не является ли основополагающая биологическая дихотомия между Субсахарской Африкой и остальным миром параллельной коренной лингвистической дихотомии между конго-сахарской макросемьей (в пользу которой Греггерсен в [17] предложил лексические и грамматические свидетельства) и не-конго-сахарскими языками. Как показано в [14], некоторые из корней, предложенных Греггерсеном для конго-сахарского праязыка, на самом деле распространены более широко, встречаясь и в других частях света, и поэтому не могут быть инновациями внутри конго-сахарской семьи. Этимологии Греггерсена включают как корни, ограниченные конго-сахарскими языками, так и разделяемые, наряду с конго-сахарской семьей, другими языковыми семьями. Рассмотренная выше этимология интеррогатива *miNHa* «что» интересна в том отношении, что данное местоимение встречается, по-видимому, везде, кроме конго-сахарской семьи, и потому могло бы рассматриваться в качестве инновации в пределах не-конго-сахарской группировки, если последняя окажется реальным лингвистическим таксоном.

Последним следствием признания моногенеза является то, что он неизбежно приведет к переоценке довольно значительного числа объяснений различных явлений, опирающихся лишь на внутриязыковой материал данной языковой семьи. Одним из таких примеров является трактовка Диксоном происхождения австралийского интеррогатива *miNHa* «что»: «Языки Северного Квинсленда, в которых нет формы *miNHa* в качестве неопределенно-вопросительного местоимения, обычно имеют лексику *miNHa* „мясо (съедобное) животное“. Вполне вероятно, что здесь произошел семантический сдвиг с переходом родового термина *miNHa* „животное“ в термин с неопределенной семантикой „что-то“: подобно другим неопределенным местоимениям в большинстве австралийских языков, оно обладало также вопросительным значением „что?“; *miNHa* в неопределенно-вопросительном значении сейчас обнаруживается на обширной территории вокруг Нового Южного Уэльса (и в отдельных языках вне этого региона), что указывает на модель ареальной диффузии» [13, с. 376].

Таким образом, Диксон выводит интеррогатив *miNHa* «что» из фонологически идентичного корня, означающего «мясо» через промежуточную семантическую ступень «что-то». Даже если бы не имелось многочисленных свидетельств того, что австралийский интеррогатив *miNHa* родственен схожим формам во многих других филах, в чем мы могли убедиться выше, я думаю, что объяснение Диксона, основанное на внутриязыковом материале этой семьи языков, все же должно быть отвергнуто. Семантический сдвиг «мясо» > «что-то» является по меньшей мере необычным и, вполне вероятно, не засвидетельствован в языках мира. Более того, нормальной является как раз семантическая эволюция от вопросительного местоимения к неопределенному, а не наоборот. В целом внутриязыковое объяснение Диксона очень неправдоподобно, тогда как внешнее объяснение является простым и логичным. Гранберг [25] на многочисленных примерах демонстрирует ценность широкой перспективы для понимания ряда явлений внутри индоевропейской семьи. Подобный подход также явился одним из наиболее значительных вкладов ностратического языкознания.

В настоящее время мы только начинаем понимать структуру человеческой популяции, основанную на факторах биологического и лингвисти-

ческого порядка. На самых высоких уровнях классификации биологическая таксономия в настоящее время находится, по-видимому, на более продвинутой ступени, но ясно, что как биология, так и лингвистика играют каждая свою особую и важную роль в раскрытии филогенеза человеческого рода. Возможно, когда и биологическая, и лингвистическая таксономия будут разработаны более основательно и детально, многие сходства между этими двумя областями перестанут казаться «любопытными», а будут считаться вполне естественными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Darwin Ch.* The descent of man. L., 1871. P. 465.
2. *Whitney W. D.* Language and the study of language. N. Y., 1867. P. 383.
3. *Ruhlen M.* On the origin and evolution of French nasal vowels // *Romance Philology*. 1979. V. 32.
4. *Sweet H.* The history of language. L., 1904. P. vi.
5. *Trombetti A.* L'unità d'origine del linguaggio. Bologna, 1905.
6. *Ruhlen M.* A guide to the world's languages. V. 1: Classification. Stanford, 1987.
7. *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (b — k). М., 1974.
8. *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (l — z). М., 1976.
9. *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (p — q). М., 1976.
10. *Greenberg J. H.* The languages of Africa. Bloomington, 1963.
11. *Greenberg J. H.* The Indo-Pacific hypothesis // *Current trends in linguistics*. V. 8 / Ed. by Sebeok Thomas A. The Hague, 1971.
12. *Greenberg J. H.* Language in the Americas. Stanford, 1987.
13. *Dixon R. M. W.* The languages of Australia. Cambridge, 1980.
14. *Bengtson J. D., Ruhlen M.* Global etymologies // *Genetic classification of languages* / Ed. by Shevoroshkin V. Austin.
15. *Blake B.* Redefining Pama-Nyungan: towards the prehistory of Australian languages. 1987.
16. *Benedict P.* Austro-Thai: Language and culture. New Haven, 1975.
17. *Gregersen E.* Kongo-Saharan // *Journal of African languages*. 1972. № 11.
18. *Климов Г. А.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
19. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
20. *Долгопольский А. Б.* Гипотеза древнейшего родства языковых семей северной Евразии с вероятностной точки зрения // ВЯ. 1964. № 2.
21. *Swadesh M.* Perspectives and problems of Amerindian comparative linguistics // *Word*. 1954. 10.
22. *Campbell L.* Comment on an article by Joseph H. Greenberg, Christy G. Turner, and Stephen L. Zegura // *Current anthropology*. 1986. V. 27.
23. *Darlu P. M., Ruhlen M., Cavalli-Sforza L. L.* A taxonomic analysis of linguistic families // *Language change and linguistic evolution* / Ed. by Wang W. S.-Y. L.
24. *Cavalli-Sforza L. L., Piazza A., Menozzi P., Mountain J.* Reconstruction of human evolution; bringing together genetic, archaeological and linguistic data // *Proc. of the National Academy of sciences*, 1988. № 85.
25. *Гринберг Дж. Х.* Предыстория индоевропейской системы гласных в сравнительной и типологической перспективе // ВЯ. 1989. № 4.

Перевел с английского *Чирижба В. А.*

© 1991 г.

ЛУБОЦКИЙ А.

ВЕДИЙСКАЯ ИМЕННАЯ АКЦЕНТУАЦИЯ И ПРОБЛЕМА
ПРАИНДООЕВРОПЕЙСКИХ ТОНОВ*

Памяти моей матери

0. Введение.

0.1. В языках, сохранивших древнюю индоевропейскую акцентуацию (санскрит, греческий, германские, балто-славянские)¹, ударение в имени в общем случае не может быть предсказано на основании морфологических или семантических свойств суффикса или значения корня. Эту ситуацию предлагалось описывать в рамках трех теорий.

«Семантический» подход исходит из предположения о том, что если ударение в слове падало на корень, то это было имя действия среднего рода, а если на суффикс — имя деятеля мужского или женского рода [2]. Такое распределение действительно засвидетельствовано для небольшого числа суффиксов (ср. скр. *bráhmaṇ-* ср. р. «молитва» vs. *brahmán-* муж. р. «жрец»; *yáśas* ср. р. «слава» vs. *yáśás-* прил. «славный»); однако для суф. *-man-* обнаруживается ряд исключений (имена мужского рода *áśman-* «камень, скала», *óman-* «защитник», *bhásman-* «пожирающий»), а окситонированные прилагательные на *-as* имеют вторичный характер. Поскольку другие суффиксы (о суф. *-o-* см. 2.1) не обнаруживают такого распределения, сторонники этой теории были вынуждены предположить многочисленные вторичные преобразования, изменения в роде и акцентуации и т. д.

Второй, «морфологический» подход восходит к Г. Остгофу и Г. Хирту и в настоящее время является в целом общепринятым. Хорошо известно, что основы на согласные следовали различным словоизменительным типам, характеризовавшимся изменением места ударения и чередованием по аблауту внутри парадигмы: полная ступень чередования была ударной, нулевая — безударной. Позднее, когда система чередований перестала функционировать, одна из ступеней аблаута и один из типов акцентуации были обобщены в отдельных языках. Можно было бы ожидать, что обобщенный тип акцентуации будет соответствовать обобщенной ступени чередования, но эта корреляция слишком часто нарушается. Например, для санскритского слова *gáti-* «движение» с протеродинамической флексией (им. пад. ед. ч. **g^wém- ti-s*, вин. пад. ед. ч. **g^wém-ti-m*, род пад. ед. ч. **g^mm- téi-s*) приходится предположить, что санскрит обобщил ступень чередования косвенных (слабых) падежей и ударение сильных падежей. Наоборот, скр. *taní-* «веревка», вероятно, обобщило ступень чередования сильных падежей и акцентуацию косвенных падежей

* Данная статья представляет собой резюме книги [1], к которой я отсылаю читателей, желающих ознакомиться с излагаемой концепцией более детально.

¹ Следы праиндоевропейского ударения были обнаружены и в других языках, но эти данные не представляют самостоятельной ценности и часто носят слишком неясный и случайный характер, что не позволяет использовать их при реконструкции праи.-е. ударения.

Главный недостаток обеих теорий заключается в своего рода агностицизме по отношению к засвидетельствованному распределению ударения: постулируется праиндоевропейская система чередований по месту ударения и предполагается, что на некоторой стадии развития праязыка эта система перестала функционировать, что привело к смешению различных акцентных типов. Ни одна из теорий не способна объяснить, почему, например, то или иное слово является баритонированным или окситонированным.

Единственный подход, претендующий на объяснение акцентуации каждого слова, — это «тональная» теория. Эта концепция была впервые выдвинута выдающимся советским ученым В. А. Дыбо, который предложил объяснять акцентуацию слова на основании просодических свойств составляющих его морфем. В серии работ [3—5] Дыбо показал, что в балто-славянском все морфемы могут быть разбиты на два просодических класса: I — класс «сильных» морфем, т. е. морфем, которые притягивают ударение, и II — класс «слабых» морфем, которые отталкивают ударение. Распределение морфем по этим двум классам является, по Дыбо, «традиционным» (немотивированным) и должно считаться изначально заданным. Затем Дыбо сформулировал следующее простое правило, описывающее акцентуацию балто-славянских словоформ:

Всякая словоформа имеет ударение на первой морфеме класса I; если словоформа не содержит морфем класса I, ударение падает на начальную морфему.

Словоформы последнего типа, содержавшие только слабые морфемы, были безударными в большинстве контекстов и приобретали начальное ударение в изолированной позиции. Это правило предполагает, что акцентуация словоформы не зависит от ее значения или от морфологического поведения суффикса, а определяется просодическими признаками составляющих морфем. Если приписать классу I маркировку H («высокий» тон), а классу II — маркировку L («низкий» тон), все возможные типы двусложных слов могут быть записаны следующим образом: *HN*, *HL*, *LH*, *LL*.

Дыбо сравнил различные типологически сходные акцентные системы и пришел к выводу, что системы этого типа обычно возникают в результате фонологизации соотнесенного с тонами акцентного контура, сопряженного с падением тоновых различий [5, с. 148]. Таким образом, балто-славянскую акцентную систему можно объяснить, если предположить, что индоевропейский праязык обладал тональным противопоставлением доминантных и рецессивных морфем, или, другими словами, системой с высоким и низким тонами.

0.2. Аргументы в пользу гипотезы о праиндоевропейских тонах. Приводимые ниже данные недавно обсуждались Ф. Х. Х. Кортландтом [6], который привел еще три доказательства: ведийскую акцентную систему, греческие акцентуационные законы и консонантную структуру праи.-е. корней².

В е д и й с к и й с а н с к р и т имеет некоторые особенности, являющиеся пережитками тоновой системы. 1) Ведийские трехчленные оппозиции типа *māhas* им., вин. пад. ед. ч. ср. р. «власть, сила, величие» vs.

² Различие между долгими гласными под акутом и циркумфлексом, часто постулируемое для праи.-е., разумеется, не имеет ничего общего с обсуждаемым тональным противопоставлением. В той же работе Кортландт показал, что противопоставление акута и циркумфлекса возникло независимо в отдельных языках и не может реконструироваться для праязыка.

mahās род. пад. ед. ч., вин. пад. мн. ч. от *māh-* прил. «большой» vs. *mahas* в вокативной группе *maha rāsya gopā* (VII, 64, 2) ³ «О, хранители великого закона!» являются тональными в том смысле, что в языке без тонов двухсложное слово может иметь не более двух различных акцентуаций (ср. русск. *му́ка* vs. *мука́*), в то время как в «тоновом» языке существует более двух возможностей [7]. 2) В ведийском нет ограничений на число следующих друг за другом ударных или безударных слогов, ср. *itthā yé prāg úpare* (X.44.6) и *imām me gaṅge yamune sarasvati* (X.75.5). 3) Тот факт, что одни ведийские частицы являются ударными (*id, ná, hí* и т. д.), а другие — безударными (*cid, vā, sma* и т. д.) без какой-либо очевидной причины, явно представляет собой пережиток тональной системы.

Греческие акцентуационные законы могут быть объяснены только в терминах ассимиляции тонов. Греческий акут характеризовался восходящим движением тона, а циркумфлекс — нисходящим. Предположив, что «безударные долгие гласные или дифтонги приобретали восходящий или нисходящий тон в соседстве с гласным с высоким тоном, даже если между ними находился слог, приобретавший в этом случае высокий тон, которым характеризовалось его окружение» [6, с. 157], и обозначая ударный гласный через \acute{H} («высокий»), безударный гласный — через L («низкий») (долгие гласные и дифтонги записываются в виде $\acute{H}\acute{H}$, LL), а безударный гласный с высоким тоном — через M («средний»), можно сформулировать эти законы следующим образом:

Ограничительный закон (место ударения ограничено последними тремя слогами или последними двумя слогами, если конечный слог содержит долгий гласный или дифтонг): $\acute{H}\acute{H} - \acute{H} > \acute{H}\acute{H} - \acute{H} = \acute{H}\acute{H} - LL > \acute{H}\acute{H} - L - ML > \acute{H}\acute{H} - \acute{H} - ML > M - \acute{H}\acute{H} - ML$.

Закон Уилера (ударение передвигается с краткого гласного последнего слога на предпоследний слог, если предпоследний слог — краткий, а третий слог от конца — долгий): $- \acute{H} - \acute{H} > - \acute{H} - \acute{H} = LL - L - \acute{H} > LM - L - \acute{H} > LM - \acute{H} - \acute{H} > LM - \acute{H} - M$;

ωατῆρα-закон для ионийско-аттического (ударные долгие гласные и дифтонги в предпоследнем слоге имеют циркумфлекс, если конечный гласный является кратким, и акут, если конечный гласный является долгим): $\simeq \acute{H} - \acute{H} = \acute{H}\acute{H} - L$ (циркумфлекс) vs. $\acute{H} - \acute{H} = \acute{H}\acute{H} - LL > \acute{H}\acute{H} - ML > \acute{H}\acute{H} - ML > M\acute{H}\acute{H} - ML$ ($M\acute{H}\acute{H}$ — слог с восходящим тоном = акут).

Это соответствует трем тональным правилам:

- 1) $LL > LM$ или ML перед или после высокого тона [8, с. 222 и сл.];
- 2) MLH , $HLM > MHH$, HNM (относительно таких правил ср. [9]);
- 3) в последовательности из трех слогов с низким тоном средний слог приобретает ударение ($HNM > H\acute{H}M$ и $MHH > M\acute{H}H$), которое можно объяснить, если предположить, что тональный контур в греческом (например, в случае $\acute{H}\acute{H}\acute{H}$) был $\acute{H} - \acute{H} - \acute{H}$ или $L - M - H - M - L$ ⁴.

³ Здесь и далее в скобках приводятся ссылки на текст «Ригведы» (в соответствии с существующей традицией: номер мандалы, номер гимна, номер стиха.— *Примеч. перев.*).

⁴ Закон Вандриеса для аттического диалекта (ударение смещалось с долгого предпоследнего слога на краткий третий слог от конца, если последний слог был кратким: $\acute{H}\acute{H} > \acute{H}\acute{H}$) также интерпретируется Кортландтом в терминах тональной ассимиляции. Изменения должны были происходить следующим образом: $L - \acute{H}\acute{H} - L > H - \acute{H}\acute{H} - L > \acute{H}\acute{H} - ML - L$ — в соответствии с набором правил, слегка отличающихся от других законов. Это легко объяснить, поскольку закон Вандриеса засвидетельствован только в аттическом и, таким образом, является более поздним, нежели другие законы.

Ограничения на структуру корня. Тот факт, что праи.-е. корень не может одновременно содержать звонкий придыхательный и глухой смычный (см. 0.5), свидетельствует о том, что различие между глухими смычными и звонкими придыхательными было просодической характеристикой корня в целом. Сопоставляя этот просодический признак с обсуждавшимся выше противопоставлением тонов, «можно ожидать наличие корреляции между глухими смычными и высоким тоном — с одной стороны, и между звонкими придыхательными и низким тоном — с другой» [6, с. 158]. Праи.-е. гармония смычных находит австронезийские языки ябем и нумбами, где звонкость смычных коррелирует с противопоставлением по высоте тона [10]. В этих языках смычные, входящие в состав одной морфемы, либо все должны быть глухими, либо все — звонкими. В первом случае тон — высокий, во втором — низкий. Согласно Кортландту, связь между ограничениями на структуру праи.-е. корня и тонами способна также разрешить проблему двойной маркированности ((+ звонкий, + придыхательный) праи.-е. звонких придыхательных, необычной с типологической точки зрения). Поскольку и звонкость, и аспирация часто сопровождаются низким тоном, можно предположить, что и звонкость, и придыхание, и низкий тон происходят из одного фонологического признака — «слабый», или «ненапряженный» (lax). Начальный слабый согласный должен был обуславливать низкий тон на следующем гласном, который, в свою очередь, должен был влиять на следующий согласный, также становившийся слабым. Такая ситуация засвидетельствована в настоящее время в языке ябем.

0.3. Существующие исследования по просодическим классам морфем (работы Дыбо по балто-славянским языкам и [11] по ведийскому) затрагивают проблемы словоизменения и вторичного словообразования и, таким образом, посвящены синхронному описанию отдельных языков. Однако чтобы доказать и.-е. характер тоновых противопоставлений, необходимо проанализировать и.-е. первичное словообразование, которое, возможно, сохраняет акцентуационные правила праязыка. Поскольку глагол вряд ли может дать какую-либо информацию о просодических классах морфем, следует обратиться к первичному именному словообразованию.

Вряд ли будет преувеличением сказать, что праи.-е. акцентуация реконструируется на основе ведийского санскрита. В настоящей работе ставится двойная задача: во-первых, выяснить, способна ли тональная теория объяснить материал ведийского именного словообразования, т. е. можно ли распределить все корни и суффиксы по двум просодическим классам, и, во-вторых, установить, окажется ли возможным при такой классификации выделить признаки, общие для всех представителей каждого из классов. Я буду также привлекать к рассмотрению греческие, германские или балто-славянские параллели, если их акцентуация окажется релевантной.

Чтобы разбить морфемы на просодические классы, я проанализировал по отдельности дериваты каждого суффикса. Корневые морфемы этих дериватов автоматически распределились по двум классам: корни баритонированных и корни окситонированных имен. На следующем этапе я попытался выяснить, имеют ли корни, принадлежащие к одному классу, сходную консонантную структуру (об обозначениях см. 0.5). Исходя из предположения, что выделенные классы не пересекаются, причем корни одной структуры попадают в один и тот же класс, мы получаем распределение корневых морфем по классам. На основе этого распределения мы:

но сравнивать другие суффиксы, с тем чтобы установить распределение суффиксальных морфем. Предварительный анализ показывает, что суффиксы основ на *i-* и *-i-* — с одной стороны, и суффиксы основ на *-a-* — с другой, обнаруживают идентичное акцентологическое распределение. Другие типы основ не дают никакой информации об интересующем нас распределении.

На основании сравнения различных суффиксов можно установить различные типы корневой структуры. Релевантными оказались три критерия: (1) Сколько смычных содержит корень: ни одного, один или два? Корни структуры TTeR (например, **tkei-*) рассматриваются как содержащие один смычный, в отличие от структур типа TeT, (s)TeD^h и т. д. (2) Является ли смычный (если он есть) смежным (т. е. находится ли он в непосредственном соседстве) со слоговым ядром или нет? Этот критерий важен, т. к., например, структуры SRT и SeRT обнаруживают различную акцентуацию. В первой из них смычный является смежным со слоговым ядром, во второй — нет. (3) Если корень содержит смычный, имеется ли в составе корня начальный ларингал? По-видимому, корни, содержащие один смычный, с начальным ларингалом и без него (например, HRD vs. RD) имеют различную акцентуацию.

С учетом этих критериев получаем следующие категории:

Категория 1. Корни без смычных.

Категория 2. Корни с одним смычным без начального ларингала.

А. Дериваты со смежным смычным.

В. Дериваты с несмежным смычным.

Категория 3. Корни с одним смычным и с начальным ларингалом.

А. Дериваты со смежным смычным.

В. Дериваты с несмежным смычным.

Категория 4. Корни с двумя смычными.

А. Дериваты с двумя смежными смычными.

В. Дериваты с одним смежным смычным.

С. Дериваты с двумя несмежными смычными.

0.4. Отбор материала. Анализируемый ниже материал взят из обратного словаря в [12]. Из этого словаря я исключил слова, принадлежащие к морфологически продуктивным категориям с постоянным ударением (например, инфинитивы на *-áye*, деепричастия на *-tvā*), слова с неясным этимологией и/или значением (в основном я следовал этимологическому анализу [13]), слова неиндоевропейского происхождения, собственные имена, сложные слова (однако первые компоненты сложных слов включены в материал), звукоподражания, отыменные образования, слова, образованные от вторичных глагольных основ, и окказионализмы. Я также исключил из рассмотрения слова с достоверной индоиранской этимологией, но с неясными связями за пределами этой ветви.

Кроме того, из рассмотрения были исключены суффиксы, которые утратили способность участвовать в акцентологических противопоставлениях и обнаруживают постоянную акцентуацию. Например, все имена, образованные с помощью суф. *-nú-*, являются в «Ригведе» окситонированными, ср.: *kṣepnú-* «метание», *dhenú-* «дойная корова», *sūnú-* «сын» и т. д. Более того, сложные суф. *-snú-*, *-iṣnú-*, *-tnú-*, *-atnú-*, *-itnú-* также всегда характеризуются окситонезой. Таким образом, суф. *-nu-* обнаруживает продуктивную окситонезу и не может использоваться при анализе. С другой стороны, некоторые суффиксы, которым часто приписывалась постоянная

акцентуация, включены в материал. В частности, прилагательные на *-i-* обычно причисляются к продуктивно окситонированным. Большинство из них действительно являются окситонированными, но сохраняются также отдельные баритонированные прилагательные (*ghfsu-* «веселый», *táku-* «спешащий», *táru-* «пылающий, жаркий», *mádh-* «сладкий», *vásu-* «благодать» и т. д.), заставляющие предположить, что санскрит сохранил следы древнего распределения.

0.5. Реконструкция отдельных слов опирается на реконструкцию праи.-е. фонологической системы. В связи с этим представляется целесообразным привести праи.-е. систему фонем, используемую в настоящей работе: 1) Согласные: смычные — простые T ($p \ t \ k \ k^w$), глоттализированные D ($[b] \ d \ g \ g^w$), придыхательные D^h ($b^h \ d^h \ g^h \ g^{wh}$); сибилант S (s); ларингалы H ($H_1 \ H_2 \ H_3$); 2) Сонанты: R ($i \ u \ r \ l \ m \ n$); 3) Гласные e ($e \ o \ ē \ ō$).

По поводу класса 1. В 1973 г. Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов по типологическим соображениям предположили, что праи.-е. звонкие непродыхательные были на самом деле глоттализированными [14]. Дальнейшие сравнительные исследования, проводившиеся на обширном материале, вскрыли новые факты, подтверждающие эту теорию, обзор которой содержится в [15]. Однако чтобы не усложнять изложение, я сохраняю традиционную нотацию. Что же касается часто постулируемой серии простых веларных ($k \ g \ g^h$), то я считаю, что это результат различного рода нейтрализаций палатальной и лабиовеларной серий [16] и что без нее можно обойтись при реконструкции и. е. праязыка. Уже в праиндоевропейском положении после s , а также перед и после i были позициями нейтрализации. Однако не все детали этого процесса ясны, поэтому иногда я не смогу избежать реконструкции простых веларных. Похоже, что позицией нейтрализации было также соседство с H_2 , но условия, в которых происходили изменения, неясны и для их установления требуются дальнейшие исследования.

По поводу класса 2. Каждый праи.-е. сонант имел вокалический и консонантный аллофоны. Правила вокализации были с п е ц и ф и ч е с к и м и для отдельных языков, и специальное обозначение слоговых вариантов в праи.-е. реконструкциях представляется не только избыточным, но и приводящим к ненужным усложнениям и недоразумениям.

По поводу класса 3. Вопреки распространенному мнению, праиндоевропейский скорее всего не имел фонемы $*a$ [17]. Все реконструируемые a восходят к H_2 или к сочетанию H_2 с e .

При построении реконструкций я исходил из следующих презумпций, касающихся структуры праи.-е. корня: (1) Поскольку корни вида $Te(R)D^h-$ или $D^h e(R)T-$ были невозможны в праиндоевропейском, следует реконструировать для корней, которые, на первый взгляд, имеют структуру $TeRD^h-$, формы с s -mobile [корни вида $*(s)TeRD^h-$ прекрасно засвидетельствованы [18]]; (2) И.-е. корень не может содержать два непродыхательных звонких смычных: корни структуры $De(R)D-$ невозможны [18]; (3) Корни, которые, на первый взгляд, начинаются на гласный, имеют начальный ларингал [19]; (4) Корни, которые, на первый взгляд, начинаются на $*r-$, имеют начальный ларингал [20].

1. Основы на *-i-* и *-u-*.

1.0. Санскритские данные об акцентуации основ на *-i-* и *-u-* особенно важны, поскольку в других языках эти категории подверглись широкомасштабным инновациям. В греческом не осталось почти никаких следов первоначального распределения (ср. 1.1.3). Все германские языки за исключением готского обобщили в основах на *-i-* окситонезу, в то время как

балто-славянский обычно обнаруживает подвижный акцентный тип в основах на *-i-* и *-u-* [21, §§ 22 и сл., 56 и сл.]. С другой стороны, в санскрите мы не обнаруживаем почти ни одной продуктивной модели для основ на *-i-* и *-u-*. Можно упомянуть только баритонезу имен среднего рода, типичную для основ на согласный, и окситонезу суффикса *-ni-*.

1.1. Индоиранское ларингальное передвижение ударения.

1.1.1. Прежде чем перейти к описанию категорий, перечисленных в 0.3, необходимо обсудить одно акцентологическое правило, которое, насколько мне известно, до сих пор не было замечено. Факты свидетельствуют о том, что основы на *-i-* и *-u-*, образованные от корней с конечным ларингалом (корни типа *seṭ*), характеризуются, как правило, окситонезой, ср. скр. *āi-* жен. р. «водяная птица» < $*H_2nH_2-ti-$; *urí-* прил. «широкий» < $*H_1urH-$ *-u-*; *ūtí-* жен. р. «помощь» < $*H_2uH-ti-$; *kavi-* прил. «мудрый», муж. р. «провидец; поэт» < $*ke/ouH-i-$, *gūrtí-* жен. р. «хвала» < $*g^{w}rH-ti-$; *jantú-* муж. р. «творение» < $*gé/onH_1-tu-$ и т. д. (40 основ).

Обнаруживается только два исключения из правила о повсеместной окситонезе основ на *-i-* и *-u-*, образованных от корней *seṭ*: 1) *dhūti-* «сотрясатель, возбудитель» < $*d^h uH-ti-$, вероятно, имеет акцентуацию вокатива. Это слово встречается в «Ригведе» только в формах зват. пад. мн. ч. (7 раз) и им. пад. мн. ч. (4 раза), причем им. пад. мн. ч. засвидетельствован только в поздних гимнах: в I мандале (3 раза) и в стихе V, 61, 4 (в составе дополнительных гимнов V мандалы). Частое использование этого слова в вокативе объясняет также персонафикацию ожидаемого значения «сотрясение, возбуждение»: зафиксировано существительное мужского рода со значением имени деятеля; 2) относительно *sānitu-* муж. р. (?) «приобретение» (1, 8,6) < $*se/onH_2-tu-$ см. § 1.1.7.

Другие примеры баритонезы ненадежны: этимология *cāru-* прил. «приятный» неясна, поскольку часто предлагаемое сопоставление с лат. *cārus* «дорогой», гот. *hōrs* «нарушитель супружеской верности» и т. д. < $*keH_2-gu-$ не могут объяснить палатальное *c-* в санскрите; поведение основы *hīri°* «золотой» носит противоречивый характер: наряду с *hīriśmaśru-* прил. «золотобородый» и *hīrimant-* прил. «золотой» мы находим сложное слово типа *bahuvrīhi hīriśiprā-* «золотоусый», указывающее на акцентуацию $*hīri°$ (закон Вакернагеля); наличие ларингала в *hāri-* прил. «желтоватый» < $*g^he/ol(H)-i-$ неочевидно, т. к. корень со значением «желтый, зеленый, золотой» появляется в и.-е. языках как с конечным ларингалом, так и без него (греч. *χλωρός*, скр. *hīraṇya-* и т. д. — с ларингалом vs. лат. *helvus*, литов. *želvas* и т. д. — без ларингала).

1.1.2. Более того, основы на *-i-* и *-u-*, образованные от корней со средним ларингалом в полной ступени, т. е. от корней типа $(C)CeHC-$, являются окситонированными, ср. *āri-* муж. р. «друг» < $*H_1eH_1p-i-$, *kāri-* муж. р. «поэт» < $*keH_2r-u-$, *bāhū-* муж. р. «рука» < $*b^heH_2g^h-u-$, *svādū-* прил. «сладкий, приятный» < $*sueH_2d-u-$ и т. д. (8 основ). Единственный контрпример — *sētu-* муж. р. «мост» < $*sH_2éi-tu-$ или $*séH_2i-tu-$ — не позволяет сделать однозначных выводов.

1.1.3. Эта повсеместная окситонеза производных на *-i-* и *-u-* от корней с конечным и средним ларингалом не восходит к общеиндоевропейскому состоянию. Несмотря на то, что данные других и.-е. языков довольно ограничены, мы обнаруживаем отдельные основы на *-i-* и *-u-*, образованные от корней с конечным или средним ларингалом, но свидетельствующие о баритонезе.

В греческом мы находим лишь следы первоначального акцентного распределения основ на *-i-* и *-u-*: *i-*основы становятся баритонированными,

а *и*-основы образуют новую оппозицию: окситонированные прилагательные vs. баритонированные существительные. Это распределение носит поздний характер, что явствует из акцентуации прилагательных на *-Fo-*, которые представляют собой греческую тематизацию *и*-основ. Здесь мы не обнаруживаем единообразной акцентуации, и я допускаю, что эти прилагательные сохранили первоначальное ударение. Существенными для решения наших задач являются слова *ῥόβρος* «стремительный», *λεῖος* «гладкий», *οὐλος* «губительный», которые, очевидно, были образованы от баритонированных прилагательных на *-u-* — **dhórH₃-u-*, **léH₁i-u-* и **H₃éH₁-u-* соответственно.

Что касается германского материала, можно упомянуть др.-англ. *māþ* «мера; уважение» < **méH₁-ti-*, гот. *seiþus* «вечер» < **séH₁i-tu-* [22], гот. *nauþs* «нужда» < **nóHu-ti-*. В балто-славянском трудно найти бесспорные примеры баритонированных основ на *-i-* и *-u-* в соответствии с законом Хирта. Тем не менее два слова, как мне кажется, заслуживают внимания: литов. *pilis* (диал. а. п. 2) ⁵ «зámок» < **(t)píH₁-i-* [21, § 22] и *ántis* (а. п. 1) «утка» < **H₂énH₂-ti-* [21, § 22], особенно если учесть, что для балто-славянских основ на *-i-* и *-u-* был обобщен подвижный тип.

1.1.4. Санскритская окситонеза вряд ли могла возникнуть по аналогии, поэтому следует предположить передвижение ударения с корня на суффикс. Хронология и условия этого передвижения, которое я буду называть «ларингальным передвижением ударения», могут быть уточнены; для этого необходимо рассмотреть несколько групп корней со срединным ларингалом, в которых это передвижение, очевидно, не происходило.

1.1.5. В другой работе [23] я попытался показать, что ларингалы были утрачены перед непридыхательными звонкими согласными (*mediae*) в индоиранском, если за *mediae* следовал согласный (**-HDC- > -DC-*), ср. следующие примеры: скр. *pājas-* ср. р. «остов» vs. *pajrá-* прил. «твердый», праи.-е. корень **peH₂g-* (греч. *πῆϋμι* «делать прочным»); скр. *rādati* «грызть, кусать» (первоначально — атематический, ср. 2 л. ед. ч. импер. *rātsi*), праи.-е. корень **HreH₂d-* (лат. *rādō, rōdō* «царапать, кусать»); скр. *svādū-* прил. «сладкий» vs. *svādati* «является сладким» (вероятно, первоначально атематический, **svad-ti*), праи.-е. корень **sueH₂d-* (греч. *ῥῑός* «сладкий»).

Это правило, непосредственно позволяющее объяснить многие краткие *a* в индоиранском, не прибегая к реконструкции праи.-е. фонемы **a*, становится понятным, если предположить, что и.-е. *mediae* были глоттализированными (ср. 0.5) и что три ларингала совпали в индоиранском в глоттальной смычке [24, с. 244]: **CeHDC = *CeH³DC- > и.-ир. *Ca² DC- > > Ca²DC-*. В нашем случае это правило касается следующих трех слов:

О х у т о н а: скр. *bhakti-* «распределение» < **b^heh₂g-ti-* (ср. греч. *φαγῑν*);

В а р у т о н а: *is̥ti-* жен. р. «жертвоприношение» < **iH₂g-ti-* (ср. греч. *ἀγῑς*); *yájuu-* прил. «поклоняющийся, благочестивый» < **ieH₂g-iu-*.

Поскольку *is̥ti-* и *yájuu-* баритонированы, они, очевидно, не подвергались ларингальному передвижению ударения, которое, таким образом, происходило после исчезновения ларингалов перед *mediae* в индоиранском, так что ко времени передвижения эти слова не содержали больше срединных ларингалов.

1.1.6. Ларингальное передвижение, по-видимому, не происходило в словах, подвергавшихся так называемой «ларингальной метатезе»

[1] ⁵ А.п. — акцентная парадигма. — *Примеч. перев.*

(CHRC > CRHC) ⁶. Засвидетельствованы и окситонированные, и баритонированные основы, ср.:

О х у т о н а: *kīrtī-* жен. р. «слава» < **kH₂r-ti-*; *pīti-* жен. р. «питие, напиток» < **pH₃i-ti-*; *bhūti-* жен. р. «процветание, могущество» < **b^hH₂u-ti*; *jīri-* муж./жен. р. «текущая вода» < **g^uH₃i-ri*, если это слово связано с скр. *jīvā-* прил. «живой» и дериватами от этого же корня (ср. 2.3);

В а р у т о н а — скр. *bhūmi-* жен. р. «земля» < **b^hH₂u mi*; *bhūri-* прил. «обильный» < **b^hH₂u-ri-*.

Баритонеза *bhūmi-* и *bhūri-* свидетельствует о том, что в индоиранском ларингальное передвижение предшествовало ларингальной метатезе. Окситонеза *bhūti-* (один раз засвидетельствовано в I мандале) вполне может быть вторичной, в то время как аналогичный характер акцентуации *bhūmi-* и *bhūri-* не вызывает сомнений.

1.1.7. Баритонеза *sānitu-* (ср. 1.1.1) может указывать на то, что вокализация интерконсонантных ларингалов ⁷ предшествовала передвижению ударения (это вполне может быть доказано). Скр. **duhitār-* «дочь» < **d^hug^hH₂ tēr-* (каковы бы ни были проблемы, связанные с этим словом) свидетельствует о том, что вокализация ларингала в *i* происходила до палатализации *-g^h-* > *-j^h-*, которая предшествовала совпадению **e* и **o* в и.-ир. *a*. Последующие изменения, вероятно, связаны с совпадением трех ларингалов в глоттальной смычке, произошедшим после фонетических изменений в соответствии с законом Бругмана [28]. Совпадение **H₁*, *H₂*, *H₃* > ? должно было происходить до утраты ларингалов в позиции перед *mediae* (*[?]*D* > [?]*D*) и, следовательно, до передвижения ударения (см. выше). Получаем следующую хронологическую последовательность фонетических изменений:

1) Закон Бругмана (*ante* 4, 5); 2) И.-ир. вокализация интерконсонантных ларингалов (*ante* 3); 3) Палатализация (*ante* 4); 4) Совпадение **e*, *o*, *a* в и.-ир. **a*; 5) Совпадение **H₁*, *H₂*, *H₃* в *[?] (*ante* 6); 6) Утрата ? перед *mediae* (*ante* 7); 7) Ларингальное передвижение ударения (*ante* 8); 8) Ларингальная метатеза.

1.1.8. Ларингальное передвижение ударения не затрагивает основы на *-a-*, ср. *kāma-* муж. р. «желание», *pūva-* прил. «первый» и т. д. Существует еще два свидетельства того, что в индоиранском *i* и *u* отличались в просодическом отношении от *a*: 1) закон Вакернагеля, согласно которому в словах на *-ī-*, *-ū-*, *-ī-* и *-ū-* ударение переносилось на следующий слог

⁶ Я вкратце опишу причины, заставляющие реконструировать ларингал перед сонантом в этой группе слов. Реконструкция праформы к *pīti-*, образованному от праи.-е. корня **reH₃i-*, вряд ли вызывает сомнение. О положении ларингала в скр. *kīrtī-* свидетельствует скр. *kārti-* «поэт», греч. κῆροξ «глашатай» < **keH₂r-u-* и т. д. Что же касается корня **bhū* «быть», то Кортландт показал в ряде работ [25, 26], что и тут ларингал предшествовал сонанту. Существуют убедительные доказательства этого тезиса на кельтском материале (ср. др.-ирл. 1, 2 л. ед. ч. прет. глагола *-bá* «быть» < **v^hāw-V-*), в балто-славянском (например, конечное ударение русск. *былá*) и санскрите, где единственный пример нулевой ступени в активных формах ед. числа корневого аориста (*ābhūvam*, *ābhūḥ*, *ābhūt*) свидетельствует о том, что фонетически регулярные формы были бы аномальными и не образовывались от основы ***ābhavi-*, которая совпала бы с основной *iḥ*-аориста. К фактам, собранным Кортландтом, можно добавить загадочную санскритскую форму 2 л. ед. ч. импер. аор. *bodhi* от того же корня, которая может быть легко объяснена, если реконструировать **b^hkeH₂u-d^hi*. Из этого следует, что *bodhi* сохранило первоначальный вокализм аориста, который был замещен в *ābhūt* и т. д. из-за «нерегулярного» аблаута *-o-* : *-ū-*.

⁷ Это касается индоиранской вокализации интерконсонантных ларингалов в последнем слоге слова и в позиции перед двумя согласными [27]. Затем ларингал, по-видимому, вокализировался в косвенных падежах и.-ир. **sanHtu-*.

в сложных словах и при вторичном словообразовании, в то время как в словах на *-ā*-ударение сохранялось на прежнем месте [29]; 2) *praśliṣṭa-sandhi*: комбинация ударений *udātta* + *svarita* на *i* дает ударение типа *svāgita*, однако та же самая комбинация на *ā* дает *udātta*, ср. *divīva* «словно на небе», *abhīhi* «подойди» vs. *ihāsti* «здесь есть» и т. д. Это различие может быть объяснено, если предположить, что *udātta* на *i* характеризовалось более низким тоном, нежели на *a*. Аналогичное объяснение требуется и в случае действия закона Вакернагеля, когда ударные *i*, *ū* и т. д. не сохраняют ударения.

Существует одна фонологическая проблема, связанная с ларингальным передвижением ударения. Гласные, за которыми следовали ларингалы, в большинстве случаев притягивали ударение (ср. закон де Соссюра для литовского, закон Хирта для балто-славянского) или препятствовали прогрессивному сдвигу ударения (закон Дыбо для славянского). Тем самым прогрессивный сдвиг ударения с «ларингализованного» гласного не поддается объяснению, особенно в тех случаях, когда ударение сдвигается на *i* или *u*, которые скорее должны были бы отталкивать ударение, нежели притягивать его. Я не в состоянии разрешить эту проблему, однако это явление носит более древний характер, и, возможно, нам удастся найти объяснение позднее.

1.1.9. Подводя итоги, можно констатировать, что все основы на *-i*- и *-u*-, образованные от корней с конечным или срединным ларингалом, являются окситонированными в санскрите благодаря индоиранскому ларингальному передвижению ударения. Это означает, что все слова, подвергнувшиеся передвижению ударения, допускают двоякую интерпретацию в том, что касается их акцентуации. Они не могут непосредственно отражать н.-е. акцентуацию и, следовательно, в дальнейшем исключаются из рассмотрения. С другой стороны, слова из 1.1.5—7, не обнаруживающие передвижения ударения, включены в исследуемый материал.

1.2. Категория 1. Корни без смычных.

В а р у т о п а: *°ārsu-* (в *ahyārsu-* «пронзающий змей») < **H₂ers-u-*; *āvi-* муж., жен. р. «баран, овца» < **H₃eu-i-* (о **H₃e* см. [30, 28]; ср. также литов. *avis* тж. с баритонированными формами у Даукши [21, § 22]); *āsu-* муж. р. «жизнь, существование» < **H₁es-u-* [31]; *ūsri-* прил. «утренный» < **H₂us-ri-*; *ōtu-* муж. р. «уток ткани» < **H₁eu-tu-*; *mānu-* муж. р. «человек» < **mon-u-* (краткое *a*, противоречащее закону Бругмана, возможно, возникло в косвенных падежах, так как **monu-* относилось к гистеродинамическому словоизменительному типу в праиндоевропейском, ср. герм. **mann-* < **monu-*): *yāti-* жен. р. «руководство, руководитель (?)» < **im-ti-*; *yōni-* муж. р. «путь; местопребывание» < **H₁iou-ni-* (корень **yu-* — распространение **H₁ei-* «идти»); *rāmsu°* (в *rāmsujihva-* «имеющий приятный язык») < **Hrem-su-*; *rānti-* жен. р. «оживление» < **Hrem-ti-*; *vāsu-* прил. «хороший, благой», муж. р. «бог», ср. р. «блага» < **H₁ues-u-* (ср. др.-в.-нем. имена *Wisu-rih*, *Wisi-mār* и т. д.); *vāstu-* жен. р. «утро» < **H₂ues-tu-*; *svāru-* муж. р. «жертвенный столб» < **suer-u-*; *māntu-* муж. р. «совет; советник» < **men-tu-*; *sāntu-* муж. р. (?) «приобретение» < **selonH₂-tu-* (см. 1.1.7); *sētu-* муж. р. «связь, мост» < **sH₂ēi-tu-/sēH₂i-tu-* (см. 1.1.2); *sōtu-* муж. р. «выжимание (Сомы)» < **seu-tu-*.

О х у т о п а: *asī-* муж. р. «меч, жертвенный нож» < *(*H*)*ns-i-*; *itī-* жен. р. «ходьба» < **H₁i-ti-*; *iṣṭī-* жен. р. «желание» < **H₁is-ti-*; *ṛtū-* муж. р. «надлежащее время» < **H₂r-tu-*; *ṛṣū-* муж. р. «пламя» < **H₁rs-u-*; *ṛṣī-* жен. р. «копье» < **H₂rs-ti-*; *matī-* жен. р. «мысль» < **mn-ti-* (ср. гот. *gamunds* «воспоминание»); *manū-* муж. р. «сознание» < **men-tu-*

или **mn-ju-*; *mitt-* жен. р. «установление» < **mi-ti-*; *viṣṭi-* жен. р. «деятельность» < **uis-ti-*; *vṛṣṭi-* жен. р. «дождь» < **H₁urs-ti-*; *vṛṣṇi-* муж. р. «баран», прил. «бараноподобный» < **H₁urs-ni-* (*vṛṣṇi-* прил. «быкоподобный») подверглось влиянию *vṛṣan-* («бык»); *sruti-* жен. р. «дорога, путь» < **sru-ti-*.

Распределение очевидно: слова с нулевой ступенью корня являются окситонированными (13 : 2); слова с полной ступенью корня — баритонированными (15 : 0) (*manu-* может иметь нулевую ступень корня). Имеется два исключения: 1) *ūsri-*, вероятно, является санскритским деноминативным образованием от *r-*-основы *uśár-* «заря», ср. также *usrá-*; 2) для *yāti-* (VII, 13, 1; интерпретация фрагмента IX, 71, 7 не вполне ясна) в [32] рассматривается возможность альтернативной деривации от корня *yat-*.

1.3. Категория 2. Корни с одним смычным без начального ларингала.

А. Дериваты со смежным смычным.

В а р у т о п а: *iṣṭi-* жен. р. «жертвоприношение» < **iH₂ǵ-ti-* (см. 1.1.6); *gāti-* жен. р. «движение» < **g^wm-ti-* (ср. гот. *gaqumþs* «собрание»); *ghṛṇi-* муж. р. «солнечный жар» < **g^wh^r-ni-*; *ghṛsu-* прил. «оживленный» < **g^wh^rs-u-*; *ghṛsvi-* прил. «оживленный» < **g^wh^rs-ui-*; *jásu-* жен. р. «истощение» < *(s)*g^wes-u-*; *jīti-* жен. р. «победа» < **g^wi-ti-*; *jūṣṭi-* жен. р. «предрасположение, милость» < **ǵus-ti-*; *tántu-* муж. р. «нить» < **ten-tu-*; *dṛṭi-* муж. р. «кожаный мешок» < **dr-ti-* (ср. гот. *gataurþs* * «разрушение»); *dhrūti-* жен. р. «нарушение (порядка)» < **d^hur-ti-*; *bhūmi-* жен. р. «земля» < **b^hH₂u-mi-* (см. 1.1.6); *bhūri-* прил. «обильный» < **b^hH₂u-ri-* (см. 1.1.6); *bhṛmi-* прил. «бесстрастный» < **b^hrm-i-* (акцентуация в III, 62,1 *bhṛmāyah*, вероятно, вторична); *mādhu-* прил. «сладкий», ср. р. «мед» < **medh-u-*; *mūhu-* (в наречиях *mūhu*, *mūhuh* «вдруг» с прапракритским *-u* < **-r-*) < **mrg^h-u-*; *yájyu-* прил. «поклоняющийся» < **ieH₂ǵ-iu-* (см. 1.1.5); *vādhrī-* прил. «кастрированный» < **und^h-ri-*; *vāhni-* прил. «управляющий колесницей», муж. р. «тягловое животное» < **veǵ^h-ni-*; *vṛddhi-* жен. р. «усиление» < **urd^h-ti-*; *sāhyu-* прил. «сильный» < **seǵ^h-iu-*; *hānu-* жен. р. «челюсть» < **ǵ^hen-u-* (и.-е. параллели свидетельствуют о **ǵenu-*, ср. греч. γένος т. ж. и т. д.); *hāri-* прил. «желтоватый» < **ǵ^hel-i-* (см. 1.1.1); *hārṣi-* (в наречии *hārṣyā* «в возбуждении») < **g^wh^rers-i-*; *hṛṣi^o* (в *hṛṣivant-* прил. «радостный») < **g^wh^rs-i-*.

О х у т о п а: *kīrti-* жен. р. «слава» < **kH₂r-ti-* (см. 1.1.6); *kṛṣi-* жен. р. «борозда» < **k^wls-i-*; *kṛṣṭi-* жен. р. «граница», мн. ч. «народ, племя» < **k^wls-ti-*; *ksiti-* жен. р. «жилище» < **t^hki-ti-*; *carú-* муж. р. «судно» < **k^wer-u-*; *jīri-* муж./жен. р. «текущая вода» < **g^wH₃i-ri-* (см. 1.1.6); *tanti-* жен. р. «веревка» < **ten-ti-*; *tṛṣú-* прил. «жадный» < **t^rs-u-*; *pitú-* муж. р. «пища» < **pi-tu-*; *pīti-* жен. р. «питье, напиток» < **pH₃i-ti-* (см. 1.1.6); *puṣṭi-* жен. р. «процветание» < **pus-ti-*; *bhūti-* жен. р. «процветание» < **b^hH₂u-ti-* (см. 1.1.6); *bhṛti-* жен. р. «поддержка» < **b^hr-ti-*; *bhṛṣṭi-* жен. р. «точка, острие» < **b^hrs-ti-*; *ripú-* прил. «вероломный» < **lip-u-*; *śasti-* жен. р. «восхваление» < **kns-ti-*; *sikṭi-* жен. р. «излияние» < **sik^w-ti-*; *stuti-* жен. р. «хвалебный гимн» < **stu-ti-*; *harṣú^o* (в *harṣumánt-* «возбужденный») < **g^wh^rers-u-*.

Это важный момент нашего исследования. В отличие от предыдущей категории ступень аблаута корня не играет здесь никакой роли: зафиксирована и ударная нулевая ступень (*iṣṭi-*, *gāti-* и т. д.), и безударная полная ступень (*tanti-*, *carú-*, *harṣú^o*). Решающим фактором здесь, по-видимому, является тип смычного. Слова с *D* и *D^h* в корне, как правило, являются баритонированными (24 : 5), а слова с *T* в корне — окситони-

рованными (13 : 1). Для второй части правила есть только одно исключение — *tāntu-*. Исключения в случае D/D^h более многочисленны: 1) окситонеза *bhūti-* (является ударным только в I, 161, 1) вполне понятна, поскольку почти все производные на *-ti-* с долгим *ī* или *ū* в корне окситонированы в результате ларингального передвигания ударения, ср. *dhīti-* «мысль», *jūti-* «спешка; возбуждение», *ūti-* «помощь, поддержка» и т. д.; то же справедливо для *jīri-*; 2) *harsū°* (*harsumānt-* один раз встречается в VIII мандале) и *bhṛṣī-* (один раз в I мандале) засвидетельствованы слабо; 3) единственное серьезное исключение — *bhṛti-*; заметим, однако, что тот. *gabaurpai* свидетельствует о баритонезе этого слова (окситонеза др.-англ. *zebyrd*, др.-в.-н. *giburt* и т. д. вторична, ср. 1.0).

Что же касается *dharni-* муж. р. (I, 127,7 *agnir īse vāsūnām śúcir yó dharnir eṣām* «чистый Агни владеет богатствами, — (тот), который их хранитель» [33]), то эта форма, по-видимому, является окказионализмом, образованным параллельно к *agnī-*. К. Ф. Гельднер охарактеризовал автора гимна I, 127 как «богатого словами, но бедного мыслями» [33, с. 175].

Начальное *s-* (*stuti-*) и группа из двух согласных (*kṣiti-*), по-видимому, не влияют на акцентуацию. Ларингалы, очевидно, не препятствуют структурной смежности смычных со слоговым ядром.

В. Дериваты с несмежным смычным.

В а р у т о п а: *tvīṣi-* жен. р. «стремительность» < **tuis-i-*; *śrūti-* жен. р. «слушание, слух» < **klu-ti-*; *śrēṇi-* жен. р. «ряд» < **klei-ni-*; *śrōṇi-* жен. р. «бедро» < **klou-ni-*; *rēku-* прил. «пустой» < **leik^w-u-*; *vāṅkri-* жен. р. «ребро» < **uenk^w-ri-*; *svēdu°* (в *svēduhavya-* «в поту совершающий жертвенное возлияние») < **sueid-u-*.

О х у т о п а: *valgū-* прил. «приятный» < **uelg-u-*; *vīdū-* прил. «твердый» < **uisd-u-*; *śriti-* жен. р. «сито» < **kli-ti-*; *śrusti-* жен. р. «послушание» < **klus-ti-*.

Акцентное распределение, по всей видимости, зависит от ступени аблаута корня. Исключения: *tvīṣi-*, *śrūti-* и *valgū-*.

1.4. Категория 3. Корни с одним смычным и с начальным ларингалом.

А. Дериваты с одним смежным смычным.

В а р у т о п а: *ásri-* (в *trirásri-*) «угол» < **H₂ek-ri-*; *āhi-* муж. р. «змея» < **H₃eg^{wh}-i-*; *ṛjī°* (в *ṛjīti-* «идущий прямо») < праи.-е. **H₃rg^h-i-*.

О х у т о п а: *aktū-* муж. р. «свет, луч» < **Hng-tu-* [34, с. 81, и сл., 97]; *agnī-* муж. р. «огонь, бог огня» < (*H₂ng^w-ni-* [35] (*āṅgāra-* «уголь» заставляет предполагать начальный ларингал); *ṛjū-* прил. «прямой» < *H₃rg^h-u-*; *nṛti-* жен. р. «танец» < *H₂nrt-i-*; *nṛtū-* муж. р. «танец» < *H₂nrt-u-* [36]; *raghū-* прил. «быстрый», муж. р. «скакун» < **H₁lng^{wh}-u-*.

В этой категории полная ступень корня также является ударной, а нулевая — безударной. Единственное исключение — *ṛjī°*.

В. Дериваты с одним несмежным смычным.

В а р у т о п а: *rāmhi-* жен. р. «поспешность» < **H₁leng^{wh}-i-*; *rāju-* жен. р. «веревка» < **Hresg-u-*.

О х у т о п а: *amhū-* (в наречии *amhōh* «от нужды») < **H₂eng^h-u-* (слав. **ǫzъ* (а. п. b) указывает на баритонезу [37]); *añji-* муж., жен., ср. р. «украшение», прил. «выдающийся» < **Heng-i-*; *arci-* муж. р. «пламя» < **Herk^w-i-*.

По-видимому, существенным является положение ларингала: если ларингал — смежный со слоговым ядром, слово окситонировано, если нет — баритонировано.

1.5. Категория 4. Корни с двумя смычными.

А. Дериваты с двумя смежными смычными.

T...T

Вагутона: *táku-* прил. «быстрый» < **tek^wu*; *tápu* прил. «горячий» < **tep-u*; *páti* муж. р. «супруг» < **pot i-* [ср. литов. (Даукша) *pátis* [21, § 22]; греч. *πίσις* тж. и гот. *-faþs* «хозяин» допускают двойную интерпретацию]; *přsni-* прил. «пестрый» < **prk-ni*.

Охутона: *typti-* жен. р. «удовлетворение» < **trp ti-* (*třpti* в «дополнительном гимне» IX, 113, 10 вторично, т. к. начиная с «Атхарваведы» мы наблюдаем распространение баритонезы в производных на *ti-*); *rakti-* жен. р. «варка» < **pek^w-ti-*; *paśú-* муж. р. «животное» < **pek-u^s*, *śakti-* жен. р. «сила» < **kek^(w)-ti-* (баритонированное *śakti* — один раз в I мандале, три раза в X мандале — вторично, ср. *typti-*).

Распределение неясно. Слова категории 4А часто имеют вторичную полную ступень (*rakti*, *śakti*), что могло нарушить исходное распределение.

(*s*)*T ... T*

Вагутона: *křtu-* мн. ч. «раз» < *(*s*)*krt u*; *křti-* жен. р. «шкура» < *(*s*)*krt-ti-*; *cřti* жен. р. «мысль» < *(*s*)*kit ti-*; *śúci-* прил. «яркий, чистый» < *(*s*)*kuk i-* (о наличии *s* mobile свидетельствуют варианты того же корня *śubh-* «украшать», *śundh* «очищать», ср. 0.5); *śúpti* жен. р. (?) «плечо» < *(*s*)*kupti*.

Охутона: *křti-* муж., жен. р. «нож (мясника)» < *(*s*)*krt i*.

В этой группе вероятно баритонеза (5 : 1).

(*s*)*T...D^h*

Охутона: *křdhú-* прил. «искалеченный» < *(*s*)*krd^h u*; *śubhri* прил. «красивый» < *(*s*)*kub^h ri*.

D^h...D

Охутона: *bhakti* жен. р. «распределение» < **b^heH₂g ti* (см. 1.1.5); *bhují-* жен. р. «доставление наслаждения» < **b^hug i*; *bhujyú* прил. с неясным значением, образованное от одного из омонимичных корней *bhuj-* < **b^hug-iu*.

D^h....D^h

Охутона: *grhú* муж. р. «нищий» < **g^(h)wl^g^h-u*; *dabni* (в *dabhiti* «обманщик» < **d^(h)eb^h-i*; *bahú-* прил. «великий, обильный» < **b^hng^h u-*.

Поскольку акцентуация слов со смежными *D* и *D^h* (категория 2А) идентична, можно объединить последние две группы в одну. Для нее вероятно окситонеза (6 : 0).

В. Дериваты с одним смежным смычным

Вагутона: *křátu-* муж. р. «сила, воля» < **kret-u*; *křúdhmi* прил. «раздражительный» < *(*s*)*krd^h-mi*; *chándu-* прил. «приятный» < **skend-u*; *bándhu-* муж. р. «родство; родственник» < **b^hend^h-tu* [34, с. 103].

Охутона: *ketú:* муж. р. «свет, образ» < *(*s*)*keit-u* (ср. гот. *haidus* < прагерм. **haidús*, о *s*-mobile свидетельствует литов. *skaidrùs* «яркий, ясный»); *śankú-* муж. р. «колышек, гвоздь» < **konk^(w)-u-* (окситонеза засвидетельствована также в слав. *špъkъ* (а. п. с) «сук» [21, § 56]);

⁶ Наряду с окситонированным существительным муж. р. обнаруживается баритонированное ср. р. *paśu-*, зафиксированное также в герм. **féhu-* «крупный рогатый скот, деньги» (гот. *faihu-*, др.-в.-н. *fihi* и т. д.) и литов. *pėkus* (а. п. 2) [21, § 23]. Баритонеза среднего рода продуктивна у основ на согласный; это означает, что окситонированные существительные мужского рода должны быть по меньшей мере столь же древними, как и существительные среднего рода.

śiti° (в śitiprṣṭhā- «с белой спиной», śitipād- «белоногий» с акцентуацией в соответствии с законом Вакернагеля) < *śviti° ([35], ср. скр. śvityāñc- и авест. spiti. dōivra- «белоглазый») < *kuit-i.

Для группы $T...T$ можно предположить окситонезу (вероятность 3 : 1) за одним исключением — *krātu-* (это слово может содержать *s-mobile*). Отметим, что здесь D и D^h также ведут себя аналогичным образом: и (s) $T...D^h$, и $sT...D$ — баритонированы.

С. Дериваты с двумя несмежными смычными.

О х у т о п а: *krīḍi-* прил. «быстрый, импульсивный» < **krīsd-i-*; *krīḍū-* прил. «быстрый, импульсивный» < **krīsd-u-*. Скр. *k-*, вероятно, возникло по закону Вайзе (депалатализация перед **r* [40]).

Материал недостаточен для установления распределения.

2. Основы на -а-.

§ 2.0. Главная проблема, связанная с санскритскими *a*-основами (и с праи. е. *o*-основами в целом), заключается в их продуктивности. Источником происхождения праи.-е. *o* основ были основы на согласные и корневые имена, так что все *o*-основы имеют в конечном счете отыменное происхождение. Тематизация основ на согласные продолжала оставаться продуктивной в последующие периоды и в отдельных языках. Для нашего исследования важно, однако, определить возраст каждой *o*-основы: если она относится к праи.-е. периоду, ее акцентуация может быть древней; если это индоиранская или санскритская тематизация существующей основы на согласный или корневого имени, ее акцентуация не может наследовать первоначальное место ударения.

К сожалению, мы вряд ли в состоянии указать какие либо объективные критерии, позволяющие определить время тематизации той или иной *o*-основы. Чтобы застраховаться от ненадежных примеров, в тех случаях, когда позднее происхождение слова может быть доказано тем или иным способом (например, если в индоиранском имеются основа на согласный или корневое имя, к которым может восходить соответствующая *o*-основа, или если это слово образовано от вторичной глагольной основы), оно исключается из рассматриваемого материала. Однако если это не так, остановиться на каком-либо решении нередко бывает нелегко (ср. 2.1.3).

Прилагательные с *a*-основами часто обнаруживают тенденцию к окситонезе. Окситонированными являются прилагательные на *-ta*, *na-* и *-ma-*, большинство прилагательных на *-ra-* и *a-*. Однако обнаруживаются также баритонированные прилагательные на *na-*, *va-* и даже на *-a-* и *ra-*, свидетельствующие о том, что указанная тенденция не всегда позволяет объяснить акцентное распределение. В связи с этим следует считать окситонезу продуктивной и рассматривать немногочисленные исключения как архаизмы. То же верно для субстантивированных прилагательных. Таким образом, окситонированные прилагательные исключаются из рассмотрения.

Выбор между баритонезой и окситонезой у основ на *tra-*, вероятнее всего, определяется семантическими критериями. Баритонированными являются слова, обозначающие инструмент или место, окситонированными — собственные имена, иногда имеющие конкретное значение.

Имена среднего рода не обнаруживают никакой категориальной акцентуации для *a*-основ.

2.1. Суффикс *-a-*.

2.1.0. Прежде чем перейти к изложению материала в соответствии с консонантной структурой, необходимо обсудить некоторые детали, связанные с суф. *-a-*, который по частотности намного превосходит все прочие суффиксы в «Ригведе». Ниже мы сначала рассмотрим отглагольные образования, затем изолированные производные на *-a-* и, наконец, отыменные образования.

2.1.1. **Отглагольные образования.** Акцентуация и.-е. отглагольного суф. **-o-* обычно описывается следующим правилом: имена действия, образованные с помощью этого суффикса, являются баритонированными, имена деятеля — окситонированными. Это так называемое «распределение *τόμος/τομός*» (ср. греч. *τόμος* «ломтик» vs. *τομός* «острый»), как правило, демонстрируется на примере минимальных пар из «Ригведы» типа *éṣa* «спешка» vs. *esá-* прил. «спешащий»; *śāka-* «помощь; могущество» vs. *śāká-* прил. «помогающий»; *śāsa-* «порядок» vs. *śāsá-* «правитель, хозяин» и т. д. Хотя эти факты кажутся убедительными, ситуация на самом деле сложнее, поскольку есть пары, состоящие из имени действия и имени деятеля, в которых оба члена окситонированы, ср. *ghaná-* «убийство» vs. *ghaná-* «оружие»; *vadhá-* «смерть» vs. *vadhá-* «оружие»; *vṛdhá-* «сила» vs. *vṛdhá-* «тот, кто усиливает»; *śāká-* (V, 12, 2) «могущество» vs. *śāká-* прил. «полезный»; *svāná-* «гул, шум» vs. *svāná-* прил. «грохочущий». Эти пары свидетельствуют о том, что предложенное правило акцентологического распределения должно быть пересмотрено.

Для начала обсудим некоторые терминологические проблемы. Я предлагаю определять имена деятеля как отглагольные существительные, значение которых может быть описано следующим образом: «тот, который + 3 л. ед. ч. глагола». По нашему определению, термин «имя деятеля» (*nomen agentis*) применяется только к обозначениям лиц и прилагательным, что важно для санскрита, где суф. *-a-* может иметь значение и имени действия, и имени деятеля, причем не существует надежных формальных критериев, позволяющих их разграничить. Фактически имена, обозначающие предметы и природные явления, так называемые *nomina concreta* (конкретные имена), допускают неединственную интерпретацию. *Nomina concreta* часто могут быть также описаны как «то, что + 3 л. ед. ч. глагола», хотя они и содержат суффикс имени действия. Например, нем. *Heizung* может быть описано как «то, что согревает», но его нельзя интерпретировать как имя деятеля, поскольку суф. *-ung* образует в немецком имена действия. Иначе обстоит дело в санскрите с суф. *-a-*, поскольку мы не можем а priori определить функцию санскритских *nomina concreta*, образованных с помощью этого суффикса. Именно по этой причине для предварительного формального анализа необходимо определить новую категорию для описания санскритских существительных на *-a-* — категорию *nomina concreta*.

Категория *nomina concreta* включает, таким образом, слова, в отношении которых мы не можем с уверенностью сказать на основе их значения, были ли они первоначально именами деятеля или именами действия. *Nomina concreta* обозначают неабстрактные фрагменты действительности: конкретные предметы (кнут, дрова, стойло), природные явления (поток, свет, дождь, грязь) и т. д. Даже слова, которые на первый взгляд кажутся именами действия (жилье, живое существо, войско), могут рассматриваться как *nomina concreta*, поскольку не исключено, что они восходят к древним именам деятеля. Это вполне вероятно, т. к. имена дея-

теля могут обнаруживать довольно неожиданные семантические сдвиги, ср. англ. *stretcher* «холст, натянутый на прямоугольную рамку». По той же причине я включаю в категорию *nomina concreta* «звуковые существительные» (*sound nouns*). Хотя агентивные суффиксы редко образуют такие существительные, мы находим в английском *laughter* «смех», звукоподражания *flicker* «дрожание», *slumber* «сон», *twitter* «щебет» и т. д. После этих предварительных замечаний можно обратиться к акцентуации суф. *-a-* в ведийском.

Имена деятеля всегда окситонированы, ср. *ajā-* муж. р. «возница, погонщик» (корень *aj-* «погонять»), *eṣā-* прил. «спешащий» (*iṣ¹-⁹* «приводить в движение»), *codā-* муж. р. «погонщик» (*cod-* «понукасть»), *ivesā-* прил. «стремительный» (*tviṣ-* «быть в возбуждении») и т. д. (39 примеров в «Ригведе») ¹⁰. Повсеместная и продуктивная окситонеза имен деятеля согласуется с их поздним происхождением. Как известно, корневые существительные были именами действия, выступая в качестве самостоятельных слов, и именами деятеля в тех случаях, когда они являлись вторыми компонентами сложных слов, ср.: *gr̥bh-* «сжатие, захват» vs. *syumagf̥bh-* «тот, кто хватает узду». То же распределение предполагалось для производных на *-a-*. Это означает, что имена деятеля были извлечены из состава сложных слов [42, с. 97]. Сложные слова с ударным вторым компонентом в большинстве случаев имеют ударение на конечном слоге [41, с. 214], в связи с чем вторые компоненты сохранили окситонезу сложных слов и при самостоятельном употреблении. Этот процесс декомпозиции хорошо прослеживается в греческом, где почти для каждого имени деятеля на *-o-* обнаруживается сложное слово, содержащее это существительное в качестве второго компонента.

В отличие от имен деятеля, имена действия не имеют единообразной акцентуации. Баритонеза встречается часто (38 раз) и отличается большой продуктивностью (см. ниже), ср.: *āma-* муж. р. «насилие, страх» (корень *am¹-* «давить, причинять страдание»), *eṣā-* муж. р. «спешка» (*iṣ¹-* «приводить в движение»), *kēta-* муж. р. «намереннее» (*cit* «замечать»), *gr̥bhā-* муж. р. «прочно держащий» (*gr̥bh¹-* «хватать») и т. д., но зафиксировано также 16 окситонированных имен действия (ср. *ghanā-*, *vadhā-*, *vr̥dhā-*, *śākā-*, *svānā-*).

Другие отглагольные существительные на *-a-* являются *nomina concreta*. С учетом повсеместной окситонезы у имен деятеля представляется естественным рассматривать баритонированные *nomina concreta* как пер-

⁹ Надстрочным ¹ помечены корни типа *se¹*. — *Примеч. перев.*

¹⁰ Я нашел только четыре бесспорных контрпримера: (1) *mōgha-* «ошибочный» встречается только в качестве наречия *mōgham* «напрасно, ошибочно» (X, 165, 4 *moghām*) и аналогично наречиям *jōṣam*, *vāram* «по желанию»; (2) *dābha-* (V, 19, 4 *ādabhab śās-vato dābhab*, в прочих случаях это имя действия) относится к Агни и обычно переводится как имя деятеля, но может быть также именем действия, как в процитированном выше фрагменте: «хотя и неуязвимый, (он) — ущерб для каждого»; (3) *chānda-*, засвидетельствованное в аналогичных конструкциях (I, 92, 6 *śrīyē chāndo nā smayate* и VIII, 7, 36 *chāndo nā s̥tro acīṣā*), переводится Гельднером «словно соблазнитель» («ослепительно улыбается она, словно соблазнитель» и «словно соблазнитель, солнце [улыбается] блеском (своих) лучей», что не бесспорно); (4) *drōgha-* — первый компонент сложного слова в тмезисе (VI, 62, 9 *drōghāya cid vācase ānavāya* «в потомка Анавы, чье слово обман(чиво)», ср. *droghavāc-* «тот, чье слово обман(чиво)» и авест. *draoγa-* «обман» [41, с. 288]) — является именем деятеля.

Другие слова, добавленные к приведенному выше перечню Н. Вакернагелем и А. Дебруннером [42, с. 100 и сл.] как исключения из правила об окситонезе имен деятеля (*kṣāya-* «жилище», *gōha-* «укрытие», *cōda-* «кнут», *vāra-* «сокровище» и *hāya-* «лошадь»), являются *nomina concreta* и первоначально могли быть именами действия.

воначальные имена действия. Ср., например, *ámśa-* муж. р. «часть» [*a(m)ś-* «добывать»], *édha* муж. р. «топливо» [*idh-* «зажигать(ся)»], *óha-* муж. р. «восхваление, хвалебная песнь» (*uh-* «хвалить»), *ksáya-* муж. р. «жилище» (*kṣi-* «жить»), *góha* муж. р. «укрытие, логово» (*guh-* «укрывать, прятать») и т. д. Окситонированные *nomina concreta* допускают двойную интерпретацию: они могут быть образованы либо от имен действия, либо от имен деятеля, ср. *añká-* муж. р. «крюк» (*añc-* «сгибать»), *ará-* муж. р. «спица ко леса» [**ar-* (*arpáyati*) «фиксировать»], *ghaná-* муж. р. «оружие» (*han-* «сражать»), *plavá-* муж. р. «лодка» (*plu-* «плыть»), *bandhá-* муж. р. «узы» (*bandh-* «связывать») и т. д.

Таким образом, для имен с суф. *-a-* правило о распределении по типу *tómos/tómós* оказывается справедливым только в отношении имен деятеля, которые действительно всегда окситонированы в связи с тем, что происходят из второго компонента сложного слова. Для имен действия зафиксированы оба типа акцентуации: баритонеза встречается чаще (30 слов), но окситонеза тоже засвидетельствована довольно хорошо (16 слов). Несмотря на то, что распределение типа *tómos/tómós* у отглагольных существительных на *-o*, по-видимому, восходит к позднему праинд.-е. состоянию (оно обнаруживается также в греческом и, до некоторой степени, в славянском [43]), частые исключения из этого правила в санскрите и греческом заставляют предположить, что в праиндоевропейском оно не было безусловным законом, а скорее носило характер тенденции, которая затем развивалась в отдельных языках. Чтобы объяснить происхождение этого распределения, можно реконструировать три праязыковые стадии:

I. Производные на *-a-* выступают в функции имен действия при самостоятельном употреблении и в функции имен деятеля *in fine compositi*. Вторые компоненты сложных слов (если они находятся под ударением) всегда окситонированы, самостоятельные слова могут быть либо баритонированными, либо окситонированными.

II. Декомпозиция: вторые компоненты сложных слов начинают использоваться в качестве самостоятельных слов и образуют новую категорию окситонированных имен деятеля, в результате чего возникает противопоставление между окситонированными именами деятеля, с одной стороны, и именами действия без единообразной акцентуации — с другой.

III. Имена действия обобщают баритонезу, противопоставляя ее окситонезе имен деятеля. Возникает распределение *tómos/tómós*.

Это означает, что только окситонированные имена действия, которые смогли противостоять давлению правила *tómos/tómós*, могут наследовать архаичную праиндоевропейскую акцентуацию и включаются в анализируемый ниже материал. Окситонированные имена деятеля и баритонированные имена действия имеют продуктивный тип ударения, определяемый на основе семантических критериев, которые не могут использоваться в нашем исследовании. Имена деятеля во всех случаях носят вторичный характер, тогда как имена действия допускают двойную интерпретацию: баритонеза может оказаться старой, но может быть и поздней.

Можно показать, что правило *tómos/tómós* было продуктивным в санскрите и что «новые» имена действия всегда были баритонированными. Например, неэтимологическое *-h-* в *dóha-* (X, 42, 2) «доение» (заимствовано из презенса *dúhé* корневого имени *ḍúh-*, *dohána-* «доение» и т. д.) свидетельствует о том, что это слово заменило более древнее *dógha-* (V, 15, 5), которое приобрело конкретное значение «поток молока, струя молока» и не могло использоваться в функции имени действия. Анало-

гично велярное -g- в *sārga-* «излияние» (вместо -j-) указывает на вторичный характер этого слова.

Далее, следующие пары могут быть объяснены, если предположить, что новые, баритонированные имена действия были образованы тогда, когда старые имена действия превратились в *nomina concreta*: *ārdha-* «место, сторона» vs. *ardhā-* «половина»; *grābha-* «прочно держащий» vs. *grābhā-* «захват»; *bhāga-* «процветание; бог распределения» vs. *bhāgā-* «доля»; *bhāra-* «переноска; добыча» vs. *bhārā-* «груз». Если справедлива интерпретация *ardhā-*, *grābhā-*, *bhāgā-* и *bhārā-* как первоначальных имен действия, то можно включить эти слова в анализируемый материал.

2.1.2. Изолированные производные на -a-. Теперь можно обратиться к изолированным производным на -a-, т. е. к тем словам, которым на синхронном уровне не соответствует никакой глагол. Необходимо различать слова, образованные от именных корней, и слова, образованные от глаголов, которые случайно оказались незасвидетельствованными в санскрите. Поскольку распределение *τόμος/τομός* относится к и.-е. периоду, следует проверить для каждого слова, образовано ли оно от глагола, который существовал в праиндоевропейском, но исчез в индоиранском, или нет. Например, изолированное в санскрите *vāja-* муж. р. «сила: скорость», по-видимому, является и.-е. отглагольным образованием (оно, вероятно, связано либо с лат. *vegere*, либо с греч. *ἄγυμι*).

Другая проблема связана с влиянием правила *τόμος/τομός* на именные дериваты. Так, именные прилагательные с *o*-ступенью являются главным образом окситонированными (ср.: *aghā-* «плохой», *andhā-* «слепой», *āmā-* «сырой», *ārā-* «далекий», *śrāmā-* «хромой»), а прилагательные с *e*-ступенью корня сохраняют свою акцентуацию (ср. *nāva-* «новый», *śāma-* «безрогий», *sāna-* «старый»). Окситонеза именных прилагательных с *o*-ступенью корня может объясняться влиянием отглагольных прилагательных (имен деятеля), которые всегда являются окситонированными.

2.1.3. Отыменные производные на -a-. Наконец, я хотел бы сделать несколько замечаний об отыменных образованиях. Производные на -a- иногда представляют собой тематизованные корневые имена. Если в санскрите зафиксировано и корневое имя, и производное на -a- (ср.: *dāma-* и *dām-* «дом», *pāda-* и *pād-* «нога» и т. д.), производное на -a-, очевидно, является вторичным санскритским образованием и, следовательно, исключается из рассмотрения. Если корневое имя засвидетельствовано в иранском (ср. скр. *himā-* «снег» vs. авест. *zyā* «зима», скр. *viṣā-* «яд» vs. авест. *viš-* тж. и т. д.), в равной мере представляется целесообразным не рассматривать производное на -a-. Кроме того, следует предположить исходное корневое имя для скр. *ākṣa-* муж. р. «ось» < **H₂eks-(o)*-, о чем свидетельствуют различные типы основ в других языках (ср. греч. *ἄξω*, лат. *axis*, литов. *ašis*, ст.-сл. *ось*, др.-в.-н. *ahsa* тж. и т. д.) и скр. *rāsa-* «сок, эссенция» < **Hros-o-* (ср. лат. *rōs* «роса», скр. *rasā-* «жидкость»).

Кроме того, *śaśā-* (< **śasa-*) муж. р. «заяц» < **kH₁-es-o-* и *śasā-* муж., ср. р. «засеянное поле» < **sH₁-es-o-* являются поздними тематизациями основ на -s- [17]. Такое же происхождение можно предположить для *dākṣa-* прил. «способный, действенный», муж. р. «способность» (ср. лат. *decus* ср. р. «украшение», др.-ирл. *dech* «самый лучший»).

Однако с некоторыми случаями связаны более серьезные затруднения. Так, *padā-* «шаг» образовано от слова со значением «нога», но это образование относится к праи.-е. периоду, о чем свидетельствует греч. *πέδω* «почва», хет. *pedan* «место» и т. д. Я включаю такие слова в анализируе-

мый материал, т. к. они наследуют архаичную праинд.-е. акцентуацию.

2.2. Категория 1. Корни без смычных.

Вагупона: *ámsa-* муж. р. «плечо» < **Homs-o-*; *árna-* прил. «вздымающийся», муж., ср. р. «волна» < **H₂e/or-no-*; *ásta-* ср. р. «дом» < **H₁es-to-* [44]; *áma-* муж. р. «помощник» < **H₂uH₁-mo-*; *éta-* прил. «разноцветный» < **H₂ei-to-*; *éva-* прил. «быстрый», муж. р. «бег, путь» < **H₁ei-uo-*; *náva-* прил. «новый» < **neu-o-* (ср. греч. νεός и слав. **nǫvъ* (а.п. б) тж. [21, § 55]); *márta-* муж. р. «человек, смертный» < **me/or-to-*; *mála-* ср. р. «грязная одежда *mūni* (аскета)» < **me/olH₂-o-*; *yáva-* муж. р. «зерно, пшеница» < **Hieu-o-* [45], ср. литов. *jāvai* (а.п. 2) мн. ч. «зерно» [21, § 9]); *yáma-* муж. р. «ход, судно» < **H₁ie'oH₂-mo-*; *vára₁-* муж. р. «простоиство» < **H₁uorH-o-* (в *vára á p̄thivyáh* «в лучшем месте земли»); *várna-* муж. р. «цвет» < **ue/ol-no-*; *vára-* муж. р. «волосы конского хвоста» < **uol-o-* (ср. литов. *vālas* (а.п. 2) «конский волос» [21, § 44]); *vráta-* муж. р. «толпа, стая» < **ureH₁-to-*; *sána-* прил. «старый» < **sen-o-* (ср. греч. ἔνος и литов. *sėnas* (а.п. 2) тж.); *sárma-* муж. р. «движение, течение» < **se/ol-mo-*; *sárva-* прил. «весь» < **scl-uo-* (ср. греч. ὅλος тж.); *sóma-* муж. р. «растение сома; бог Сомы» < **se'ou-mo-*; *sráma-* муж. р. «хромота» < **srom-o-*.

Охупона: *usná-* прил. «горячий» < *H₁us-no-*; *ṛná-* прил. «виновный», ср. р. «долг» < **H₂r-no-*; *ṛtá-* прил. «правильный, истинный», муж. р. «истина» < **H₂r-to-*; *ṛṣvá-* прил. «высокий» < **H₃rs-uo-*; *mesá-* муж. р. «баран» < **mois-o-* [ср. литов. *maišas* (а.п. 4) «мешок» [21, § 10], однако герм. **mēisaz* (др.-исл. *meiss* «сетка») указывает на баритонезу]; *yamá-* муж. р. «близнец» < **imH-o-* (такая реконструкция позволяет объяснить вокализм лтш. *jūmis* «пара»; лат. *geminus* «близнец» также может иметь нулевую ступень корня, но др.-ирл. *emol* тж. свидетельствует об *e*-ступени); *rāmá-* муж., ср. р. «тьма» < **HreH₁-mo-* (если оно связано с др.-в.-п. *rāmac* «грязный» и т. д.); *vasná-* ср. р. «цена» < **uos-no-* (ср., однако, греч. ὄνος тж.); *vīvá-* муж. р. «муж» < **uiH-ro-*; *savá₂-* муж. р. «приведение в движение» < **souH₁-o-* (ср. 2.1.1) ¹¹.

Распределение, очевидно, зависит от ступени чередования корня. Слова с полной ступенью корня баритонизированы (19 : 4), слова с нулевой ступенью корня окситонизированы (6 : 1). Я не в состоянии объяснить исключения (*áma-*; *mesá-*; *savá₂-*, *vāsná-* и *rāmá-*), но отмечу, что параллели к *mesá-* и *vasná-* кажутся на баритонезу.

2.3. Категория 2. Корни с одним смычным без начального ларингала.

А. Дериваты со смежным смычным.

Вагупона: *kāma-* муж. р. «желание, страсть» < **ke/oH₂-mo-*; *kṛṣṇa-* муж. р. «черная антилопа», *kṛṣṇá-* прил. «черный» < **k^wrs-no-* [с учетом слав. *čьrnъ* (а.п.б) тж. баритонеза представляется исходной, в то время как прилагательные следуют продуктивной модели]; *kṛéta-* муж. р. «мир, покой» < **tkeloi-mo-*; *tūma-* прил. «сильный» < **tum-ro-*; *tṛṇa-* ср. р. «трава» < **tr-no-* (ср. слав. **tьrnъ* (а.п.б) «шиш» [21, § 49]); *p̄ṛva-* прил. «первый» < **prH-uo-*; *phéna-* муж. р. «пена» < *(s)*pHoi-no-* ¹²;

¹¹ *Savá₁-* муж. р. «жертвоприношение Сомы» встречается только с числительными *satám* «сто» и *sahásram* «тысяча» и, скорее всего, является компонентом сложного слова в тмезисе, ср. *sahasrasāva-* «тысячекратное жертвоприношение Сомы» [33, с. 174].

¹² Акутовая интонация в литов. *spūninė* «пена на волнах» и слав. *(s)*p̄ēna* «пена» предполагает реконструкцию *(s)*poHī-n-*, в то время как скр. *ph-* и иран. **f-* (н.-перс. *finak* «пена на волнах», осет. иронск. *finak*, дигорск. *finak* «пена» допускают двоякую интерпретацию, поскольку осет. *f* может отражать иран. **p*) свидетельствуют о начальном **pH-*. Это предполагает исходную основу на *-n-* с чередованием по аблауту в корне.

*bhāta*₁- муж. р. «свет, блеск» < *b^he/oH₂-to-; *vákva*- прил. «вращающийся» < *unk-uo-; *vájra*- муж. р. «дубинка-молния (Индры)» < *ue/oH₂ǵ-ro-. если допустить связь с греч. ἄγρονι «сражать» (ср. 1.1.5) или < *H₂ue/ogro-, если сопоставлять с лат. *vegēre*; *vīpra*- прил. «дрожжащий», муж. р. «поэт» < *uip-ro-; *vīśva*- прил. «весь, целый» < *uik-uo-; *vṛka*- муж. р. «волк» < *uik^w-o- [ср. греч. λύκος и гот. *wulfs*; окситонеза, засвидетельствованная в слав. *v^hlkъ (а.п.с), допускает двоякую интерпретацию [21, § 44]]; *śāta*- прил. «безрогий» < *kemH₂-o-; *śārīra*-; ср. р. «скелет, тело» < *ke'orH₂-ro-; *śāvīra*- прил. «могущественный» < *ke'ouH₁-ro-; *śúṣṇa*- муж. р. «имя демона» < *kue/os-no- [следует учитывать, что санскритские имена демонов часто являются персонифицированными существительными: ср. *vṛtrá*- «преграда», *valá*- «пещера» и т. д. (с той же акцентуацией); я включаю это слово в свой материал; исходным значением было, вероятно, «шипение», ср. пушту *šūṅ* муж. р. тж.]; *śúṣṭa*- муж. р. «шипение» < *kus-mo-; *śāna*- ср. р. «пустота, отсутствие» < *kuH-no-; *śūla*- муж./ср. р. «копье» < *kuH-lo-; *śūra*- муж. р. «герой, воин» < *kuH₁-ro-; *śéva*- прил. «дорогой, близкий» < *keiH-uo- (о ларингале свидетельствует плавный тон в лтш. *siēva* «жена», одновременно подтверждающий баритонезу); *śōpa*- прил. «красный, алый» < *(s)ke/ou-no- [-n-вторично; *śōna- образовано от нераспространенного корня *(s)keu-, который содержится в составе корней *śuc*-, *śubh*- и *śu(n)dh*-]; *stāna*- ср. р. «женская грудь, сосок» < *psten-o-; *stōma*- муж. р. «восхваление» < *ste/ou-mo-; *sthāvira*- прил. «толстый, старый» < *st(H)ouH-ro-; *svāpna*- «сон» < *sue/op-no- [ср. литов. *sāpnas* (первоначально – а. п. 2 [21, § 9] («сон»; греч. ὄπνος «сон» и слав. *сѣпъ* «сон» (а.п. б) имеют нулевую ступень корня, но также указывают на баритонезу].

О х у т о п а: *abhṛá*- ср. р. «туча» < *nb^h-ro-; *ghaná*- муж. р. «сражающий» < *g^{wh}on-o- (см. 2.1.4); *gharmá*- муж. р. «жар» < *g^{wh}or-mo- (ср. греч. θερμός прил. «теплый»); *ghṛṇá*- ср. р. «жар» < *g^{wh}r-no- (ср. слав. *g^{wh}rnd (а.п. б) [21, § 49]); *jivá*- прил. «живущий, живой» < *g^{wh}H₃i-uo- ([42, 43], лтш. *dzīvs*, лит. *gývas* (а. п. 3). слав. *živъ, živà (а.п. с) тж указывают на такую же акцентуацию; *jesá*- муж. р. «победа» < *g^{wh}ei-so-; *darmá*- муж. р. «разрушитель» < *de/or(H)-mo-; *dānā*₁- муж. р. «дар» < *de/oH₃-no-; *dānā*₂- муж. р. «(жертвенная) пища» < *de/oH₂-no-; *dūtá*- муж. р. «посланник» < *duH₂-to-; *dhūmá*- муж. р. «дым» < *d^huH-mo- (ср. греч. θυμός «дух»); *nagná*- прил. «нагой» < *nog^w-no- (ср. греч. γυμνός тж.); *bhauṅá*- ср. р. «страх» < *b^hoiH-o- (см. 2.1.1); *bhārá*- муж. р. «груз» < *b^hor-o- (см. 2.1.1); *dhṛmá*- муж. р. «зablуждение» < *b^hrm-o- (см. 2.1.1); *mṛdhrá*- ср. р. «враждебность» < *mld-ro-; *yajñá*- муж. р. «почитание, жертвоприношение» < *ie/oH₂ǵ-no- (см. 1.1.5, ср. греч. ἄγός «священный»); *yudhṛmá*- муж. р. «воин» < *iud^h-mo-; *ripṛá*- ср. р. «грязь». < *lip-ro-; *rukmá*- муж. р. «золотое украшение» < *luk-mo-; *vadhá*- муж. р. «(насильственная) смерть» < *uod^h(H)-o- (см. 2.1.1); *vṛdhá*- муж./ср. р. «усиление» (VIII, 83, 6) < *uord^h-o- (см. 2.1.1); *sādá*- муж. р. «верховая езда» < *sod-o- (см. 2.1.1); *stená*- муж. р. «вор, грабитель» < *(s)te/oH₂i-no-.

В отличие от предыдущей категории, ступень чередования корня не играет здесь никакой роли. Мы находим 12 окситонированных слов с полной ступенью корня (vs. 14 баритонированных) и 12 баритонированных слов с нулевой ступенью корня (vs. 12 окситонированных). Вряд ли вызывает сомнение тот факт, что распределение в категории 2А зависит от типа смычного. Слова с *T* в корне баритонированы (26 : 3), слова с *D* и *D^h*

в корне окситонированы (0 : 0 и 1 : 1 соответственно). Исключения — *bhāma-*, *stēnā-*, *rukṁā-*, *riprā-*. Последние два слова могут быть отыменного происхождения: *riprā-*, возможно, является тематизацией основы на *-r/n-*, относительно *rukṁā-* см. [48]. Начальное *s-* (*stōma-*, *sthāvira-*), *s-mobile* (*śōna-*, *phēna-*) и начальная группа согласных (*kṣēma-*, *stāna-*) не оказывают никакого влияния на акцентуацию. Как и в случае с основами на *-i-* и *-u-* (ср. 1.3), ларингалы, по-видимому, не препятствуют структурной смежности смычных со слоговым ядром. Соответственно слова *jīvā-*, *yajñā-*, *sthāvira-*, *phēna-* рассматриваются в пункте А. Установленное распределение делает вероятной принадлежность к категории 3А слова *vājra-*, допускающего две конкурирующие этимологии (**ueH₂gro-* и **H₂uegro-*).

В. Дериваты с несмежным смычным.

Вагутона: *grāma-* муж. р. «войско, община» < **grom-o-*; *rāndhra-* ср. р. «ляжка, крестец, поясница» < **lend^h-ro-* [49]; *ślōka-* муж. р. «восхваление» < **kle'ou-ko-*.

Охутона: *kṣurā-* муж. р. «бритва» < **k^wsu-ro* (ср. греч. ἔσρον тж.), *dhrubā-* прил. «твёрдый, фиксированный» < **d^hruH-o-*; *śyāvā-* прил. «темно-коричневый» < **kieH₁-uo-*; *śronā-* прил. «хромой» < **klou-no-*.

Акцентное распределение, по-видимому, зависит от ступени чередования корня. Исключения: *śro-ṇā* и *śyā-vā-*.

2.4. Категория 3. Корни с одним смычным и с начальным ларингалом

А. Дериваты со смежным смычным.

Вагутона: *āgra-* ср. р. «вершина» < **H₂eg-ro-*; *ājma-* муж. р. «путь, колея» < **H₂ōg-mo-* (ср. греч. ἄγμος тж.); *ājra-* муж. р. «поле» < **H₂ēg-ro-* (но ср. греч. ἄγρος тж.); *āna-* ср. р. «еда» < **H₁elod-no-*; *āśna-* прил. «прожорливый» < **H₁elokH-no-*; *āśva-* муж. р. «лошадь» < **H₁ēk-uo-* [ср. герм. **ēhwaz* тж. (др.-англ. *eoh*, др.-исл. *jōr*) и греч. ἵππος, которое, возможно, сохранило первоначальную акцентуацию несмотря на нерегулярный анлаут]; *ḥkṣa-* муж. р. «медведь» < **H₂rt-ko-* (ср. греч. ἄρκτος)¹³.

Охутона: *akrā-* муж. р. «лошадь» < **H₂nk-ro-* [34, с. 43]; *ajā-* муж. р. «козел» < **H₂ēg-o-*; *idhmā-* муж. р. «топливо» < **H₂id^h-mo-*; *ūrdhvā-* прил. «высокий» < **H₃rd^h-uo-* (эта реконструкция объясняет авест. *arδβa-*, греч. ὀρθός «прямой» и, вероятно, лат. *arduus* и др.-ирл. *ard* «высокий»; в таком случае для санскрита следует предположить вторичное изменение в анлауте); *ṛkvā-* прил. «восхваляющий» < **H₁rk^w-uo-*.

Здесь ступень чередования корня также, по-видимому, является решающим фактором: полная ступень корня ударна (6 : 1), нулевая ступень безударна (4 : 1). Исключения: *ḥkṣa-* и *ajā-*. Относительно *vājra-* ср. в комментариях к категории 2А.

В. Дериваты с несмежным смычным.

Вагутона: *ānta-* муж. р. «предел, граница» < **H₂ent-o-* (вероятно, отыменное образование от **H₂ent-*, ср. хет. *ḥant-* «перёд», но относящееся к общи.-е. периоду); *ārbha-* прил. «маленький, молодой» < **H₍₃₎elorb^h-o-*.

Охутона: *ardhā-* муж. р. «половина» < **H₂erd^h-o-* (ср. 2.1.1); *meghā-*, муж. р. «облако» < **H₃meig^h-o-* (ср. литов. *miėgas* (а.п. 4) «сон»

¹³ Скорее всего, это слово содержит суф. *-k(o)-*, встречающийся в названиях животных, ср. праи.-е. **H₁elol-k(i)-*, **H₁l-k(i)-* (др.-в.-н. *ēlho*, русск. *лось*, скр. *iśya-* «самец антилопы») vs. **H₁el-n-* (греч. ἔλαφος, ἔλλός; ст.-сл. *елень* «олень» и т. д.). В таком случае это слово является отыменным образованием с суф. *-ko-*, однако его возникновение относится к праи.-е. периоду.

[21, § 10]; если литовский глагол *už-mìgti* «заснуть» не является вторичным, то *meghá-* — отглагольное существительное).

Данные немногочисленны, однако материал основ на *-i-* и *-u-* свидетельствует о том, что в этой категории релевантной, по-видимому, является смежность ларингала. Если ларингал является смежным со слоговым ядром, соответствующее слово баритонировано, если нет — окситонировано. Слово *ardhá-* — исключение.

2.5. Категория 4. Корни с двумя смычными.

А. Дериваты с двумя смежными смычными.

T ... T

Вагytona: *šāpa-* муж. р. «плот, сплавляемый лес» < **kop-o-* (ср. литов. *šāpas* (а.п. 2) «солома» [21, 9]; если сопоставление с литов. глаголом *šāpti* «исчезать» корректно, то *šāpa-* — отглагольное существительное).

Охутона: *takvá-* прил. «быстрый» < **tek^w-uo-* (ср. герм. **þegwáz* > **þewaz* в гот. *þiwōs* им. пад. мн. ч. «раб» и т. д.); *pakvá-* прил. «сваренный, зрелый» < **pek^w-uo-*; *putrá-* муж. р. «сын, ребенок» < **put-lo-*; *šaphá-* муж. р. «копыто, коготь» < **kopH-o-* (в германском зафиксирована продленная ступень корня, ср. др.-исл. *höfr*, др.-в.-н. *huof* тж.); *šāká-* муж. р. «могущество» < **kōk^w-o-* (см. 2.1.1).

В этой группе вероятна окситонеза (5 : 1). Единственное исключение — *šāpa-* — может быть отглагольным именем действия; в этом случае его баритонеза носит продуктивный характер (см. s.v.).

(s)*T...D*

Охутона: *pakšá-* муж. р. «крыло, сторона» < **peH₂ǵ-so-* (ср. 1.1.5); *padá-*, ср. р. «шаг ноги» < **ped-o-* (ср. 2.1.3). Здесь также вероятна окситонеза (2 : 0).

D...D^h

Вагytona: *gṛtsa-* прил. «умный» < **g^{w(l)}ld^h-so-*; *gṛdhra-* муж. р. «коршун» < **g^(w)elold^h-ro-*.

Охутона: *dīrghá-* прил. «долгий» < **dlH₁g^h-o-*.

D^h...D

Охутона: *bhakšá-* муж. р. «еда, питье» < **b^heH₂ǵ-so-* (ср. 1.1.5); *bhāgá-* муж. р. «доля» < **b^hoH₂g-o-* (см. 1.1.5, 2.1.1); *bhūrjā-* муж. р. «береза» < **b^hrH₂ǵ-o-*.

D^h...D^h

Охутона: *gṛbhá-* муж. р. «удерживание» < **g^hrb^hH-o-* (см. 2.1.1); *gṛhá-* муж. р. «дом» < **ǵ^hrd^h-o-* (скр. *g-*, вероятно, возникло по закону Вайзе [40], поскольку литов. *žardas*, русск. диал. *зород* «стог, огороженное место для стога», свидетельствуют о первоначальном палатальном в этом корне); *bādhá-* муж. р. «бедствие» < **b^hod^h-o-* (санскритский глагол обобщил продленную ступень); *budhná-* муж. р. «дно» < **b^hud^h-no-*.

Материал этих групп сам по себе недостаточен для установления распределения, но, поскольку *D* и *D^h* влияют на акцентный тип совершенно аналогичным образом (ср. категорию 2А), последние три группы можно объединить в одну. В этом случае вероятна окситонеза (8 : 2).

В. Дериваты с одним смежным смычным.

Вагytona: *gārbha-* муж. р. «зародыш, матка» < **g^worb^h-o-*; *śvītna-* прил. «беловатый» < **kuit-no-*; *śvābhra-* ср. р. «яма» < *(s)*kue/ob^h-ro-*.

Охутона: *grābhá-* муж. р. «захват (руки)» < **g^hrob^hH-o-* (ср. 2.1.1); *tyāgá-* муж. р. «опасность» < **tiog^w-o-* (ср. 2.1.1); *drapsá₋₁* муж. р. «капля» < **d^hreb^h-so-*; *drapsá₋₂* муж. р. «флаг, знамя» < **drep-so-*.

Материал недостаточен для установления распределения.

3. Выводы.

3.1. Настоящая работа посвящена проблеме непредсказуемого характера и.е. именной акцентуации. Как было показано во Введении, единственный подход, претендующий на объяснение акцентуации каждого отдельного слова, это тональная теория В. А. Дыбо. В рамках этой теории акцентуация слова определяется просодическими характеристиками составляющих его морфем. Поскольку имеются доказательства существования в и.е. праязыке тонов (см. 0.2), можно предположить, что этими просодическими характеристиками как раз и были тоны. Чтобы доказать общеиндоевропейский характер тональных оппозиций, я исследовал ведийское первичное именное словообразование. Согласно тональной теории, все морфемы могут быть разбиты на просодические классы таким образом, что место ударения выводится по общим фонологическим правилам. Если эта теория верна, можно ожидать, что корни и суффиксы со сходными консонантными структурами будут принадлежать к одному и тому же просодическому классу.

Имена с надежной и.е. этимологией (т. е. засвидетельствованные в отдельных языках) и акцентуацией немногочисленны. В связи с этим я проанализировал акцентные модели ведийского первичного именного словообразования, исходя из предположения о том, что эти модели восходят в праиндоевропейскому.

3.2. Результаты нашего исследования могут быть суммированы следующим образом:

(1) Материал основ на *-i-*, *-n-* и на ларингал недостаточен для того, чтобы сделать какие-либо выводы о праиндоевропейском акцентном распределении. Таким образом, мы можем опираться только на *-i-*, *-u-* и *-a-* основы.

(2) Слова, содержащие суффиксы на *-i-* и *-u-*, подчиняются сходным правилам акцентного распределения корневых морфем; то же справедливо для слов, содержащих суффиксы на *-a-*. Это означает, что все суффиксы на *-i-* и *-u-* принадлежат к одному просодическому классу, а все суффиксы на *-a-* — к другому.

(3) Основы на *-i-* и *-u-*, образованные от корней с конечным или средним ларингалом, всегда окситонированы благодаря передвижению ударения в индоиранском (см. 1.1.1 и сл.). Таким образом, эти слова не наследуют праиндоевропейскую акцентуацию.

(4) Просодический класс корневых морфем определяется их консонантной структурой. По всей видимости, главная демаркационная линия проходит между смычными и всеми остальными согласными: смычные оказывают воздействие на акцентуацию, а все остальные согласные — нет. Просодическое воздействие D аналогично воздействию D^h , но отлично от воздействия T .

(5) Между структурой корня и акцентуацией существует следующая зависимость:

— Если корень не содержит смычных или смычный не является смежным со слоговым ядром, акцентуация определяется степенью чередования корня: полная ступень ударна, нулевая — безударна. То же, по-видимому, справедливо и для тех случаев, когда воздействию смычных препятствует начальный ларингал. Отсюда следует, что общепринятая «морфологическая» теория праиндоевропейской акцентуации (ср. 0.1) отчасти соответствует нашему правилу распределения.

— Если корень содержит смычный, смежный со слоговым ядром ак-

центуация определяется типом смычного: корень находится под ударением, если смычный является глухим (*T*) и суффикс оканчивается на *-o-*, а также если смычный является звонким (*D/D^h*) и суффикс оканчивается на *-i-* или *-u-*; в противном случае корень безударен. Существенно, что ступень чередования корня, содержащего смежный смычный, не оказывает никакого влияния на акцентуацию.

3.3. Поскольку факты греческого и германского в основном подтверждают зафиксированную в санскрите корреляцию между структурой корня и акцентуацией имени [1, с. 120 и сл.], описанная корреляция должна относиться к общепалеоевропейскому состоянию, из чего следует, что в праиндоевропейском акцентуация имени могла быть предсказана на основании просодических характеристик корня и суффикса. Просодический класс корня определялся его консонантной структурой; просодический класс суффикса определялся типом основы (на *-i/-u-* vs. *-o-*). Из предыдущего раздела явствует, что существует четыре просодических класса корневых морфем и два просодических класса суффиксальных морфем:

		Основы на <i>-i-</i> и <i>-u-</i>	Основы на <i>-o-</i>
(a)	I. Нулевая ступень (Кат. 1, 3A)	безударны	безударны
	II. Полная ступень (Кат. 1, 3A)	ударны	ударны
	III. <i>T</i> -корни (Кат. 2A)	безударны	ударны
	IV. <i>D^(h)</i> -корни (Кат. 2A)	ударны	безударны

Интерпретация просодических классов, которая будет обсуждаться ниже, в некоторых отношениях неясна, однако, с моей точки зрения, само по себе существование просодических классов и факт влияния смычных на акцентуацию достаточны для доказательства тонового характера и.-е. праязыка. По-видимому, невозможно последовательно описать все эти факты, не предполагая, что на некоторой стадии развития праиндоевропейский был тоновым языком.

3.4. Каковы были фонетические свойства просодических классов [см. табл. (a)]? Как было указано во Введении, данные, подтверждающие гипотезу о тоновых оппозициях в праиндоевропейском, делают правдоподобным предположение о двух уровнях высоты тона — высоком (H) и низком (L). С типологической точки зрения можно ожидать, что высокий тон будет коррелировать с глухими согласными, а низкий — со звонкими [8, с. 229]. В связи с этим естественно было бы предположить, что класс III на таблице (a) относится к типу H, а класс IV — к типу L. Более того, поскольку полная ступень (класс II) всегда ударна, а нулевая (класс I) — всегда безударна, следует сделать вывод, что класс II относится к типу H, а класс I — к типу L.

Что касается суффиксальных морфем, я предполагаю, что суффиксы основ на *-o-* относятся к типу H, поскольку они представлены полной ступенью. Праи.-е. основы на *-i-* и *-u-* характеризуются чередованием по аблауту в окончаниях, так что суффикс может относиться либо к типу H, либо к типу L (согласный суффикса, по-видимому, не оказывает на это никакого влияния; относительно возможных объяснений этого факта см. примеч. 14). Заполняя предложенными тональными характеристиками таблицу (a), получаем следующую картину:

	-i/-и-основы (H)	-o-основы (H)
	(H : L)	
(b) I. Нулевая ступень (L)	LH : LL	LH
II. Полная ступень (H)	HH : HL	HH
III. T-корни (H)	HH : HL	HH
IV. D ^(h) -корни (L)	LH : LL	LH

Если применить правило Дыбо о приписывании ударения (ударение приписывается первой H-морфеме слова или, если в слове нет ни одной H-морфемы, — начальной L-морфеме; ср. 0.1), можно ожидать следующую акцентуацию:

	-i/-и-основы (H)	-o-основы (H)
	(H : L)	
(c) I. Нулевая ступень (L)	LḢ : LL	LḢ
II. Полная ступень (H)	ḢH : ḢL	ḢH
III. T-корни (H)	ḢH : ḢL	ḢH
IV. D ^(h) -корни (L)	LḢ : LL	LḢ

Если теперь сопоставить с таблицей (c) реально засвидетельствованную акцентуацию, представленную в таблице (a), обнаружится, что для *o*-основ предсказание оказывается верным: морфемы классов I и IV действительно безударны, а морфемы классов II и III — ударны.

С основами на *-i-* и *-и-* дело обстоит сложнее. Акцентуация классов I и II объяснима: большинство основ на *-i-* и *-и-* относились в праиндоевропейском к подвижному типу и имели только одну полную ступень чередования в словоформе (см. следующий раздел) — либо в корне (ḢL), либо в окончании (LḢ). Если одна из ступеней чередования была обобщена на всю парадигму (так в большинстве случаев и происходило в отдельных языках), то ее акцентуация также обобщалась.

Проблемы возникают, однако, в связи с акцентуацией классов III и IV. Для класса IV приходится предположить, что обобщена была акцентуация падежей с нулевой ступенью окончания (например, номинатива и аккузатива протеродинамического словоизменительного типа). Что же касается морфем класса III, то можно было бы ожидать, что они всегда будут безударными. Однако в действительности все обстоит как раз наоборот. Такая акцентуация неправдоподобна с фонетической точки зрения, что заставляет в данном случае искать морфологическое объяснение. Особую акцентуацию класса III можно связать с утратой статического словоизменительного типа. Прежде чем перейти к обсуждению этого вопроса, следует вкратце обсудить праин.-е. чередование по аблауту и словоизменительные типы.

3.5. В праиндоевропейском зафиксировано два типа аблаута: *e, o/ø* и *e/o*, что, вероятно, было связано с ударением. Эти два различных результата воздействия ударения считались взаимоисключающими, но недавно Бекес предложил рассматривать их как две различные хронологические стадии [51, с. 156 и сл.]. После редукции гласных под воздействием ударения были введены новые полные ступени, которые затем изменились в *o*. Бекес реконструирует три стадии фонетических изменений, связанных с ударением: AI, когда все безударные гласные редуцировались до нуля; AII, когда введенный по аналогии безударный гласный превратился в *o*;

АIII, когда акцентная редукция перестала действовать и в безударной позиции стала возможна любая гласная:

	AI	$\acute{e}, \acute{o} - \emptyset$	нулевая стадия
	AII	$\acute{e}, \acute{o} - o$	o-стадия (возможно безударное o)
(d)	AIII	$\acute{e}, \acute{o} - e, o$	e-стадия (возможно также безударное e)

В той же своей работе Бекес приходит к следующему выводу: все зафиксированные и.-е. словоизменительные типы восходят к статическому и подвижному типам [51, с. 202]. В статическом типе ударение было фиксировано на корне; в подвижном типе в некоторых формах ударение падало на корень, а в некоторых — на окончание. Релевантными для решения нашей задачи являются номинатив, генитив, датив и локатив. Указанные два типа могут быть представлены следующим образом (см. [51, с. 207] о типе IV):

		Статический тип	Динамический тип
	Ном.	$C\acute{e}C-u-s$	$C\acute{e}C-u-s$
(e)	Ген.	$C\acute{e}C-u-s$	$CC-u-\acute{o}s$
	Дат.	$C\acute{e}C-u-i$	$CC-u-\acute{e}i$
	Лок.	$C\acute{e}C-u-i$	$CC-\acute{e}u-i$

Недостатком статического типа было формальное совпадение номинатива и генитива — с одной стороны, и датива и локатива — с другой. Очевидно, в связи с этим весь тип был утрачен.

3.6. Теперь можно обратиться к тонам [в этом разделе я буду обозначать через \acute{a} гласный с высоким тоном и через \grave{a} — гласный с низким тоном; место ударения будет указываться вертикальной чертой (\acute{a})]. Согласно Кортландту, в праиндоевропейском существовала система тонов двух уровней — высокого и низкого — и только два типа смычных: глухие (T) и глоттализированные ($T' = D$) [6]. На определенной стадии развития глухие смычные превратились в звонкие придыхательные в соседстве с низким тоном ($\acute{T} > \acute{D}^h$) и остались глухими в прочих случаях. Эта теория позволяет объяснить праин.-е. ограничения на структуру корня, а именно то, что T и D^h не встречаются одновременно в пределах одного корня ($T\acute{V}T > T\acute{V}T$; $T\acute{V}T > D^h\acute{V}D^h$), а также двойное маркирование праин.-е. звонких придыхательных. Поскольку глоттализированные имеют те же просодические характеристики, что и D^h , следует предположить, что они образовывали корреляцию с низким тоном. Обозначая через T морфемы, содержащие глухие смычные, через D — морфемы, содержащие звонкие придыхательные и глоттализированные, через R — морфемы, состоящие из сонантов, ларингалов или s , можно представить существовавшее на этой стадии соответствие между консонантными типами и тонами следующим образом: \acute{T} , \acute{D} , \acute{R} и \acute{R} , т. е. T имело высокий тон, D — низкий, R могло иметь либо высокий, либо низкий тон.

Реконструкция системы тонов для раннеиндоевропейского праязыка позволяет объяснить возникновение чередования по аблауту и подвижный характер ударения. В системе тонов двух уровней существует четыре возможных комбинации из двух морфем: $\acute{N}\acute{N}$, $\acute{N}\acute{L}$, $\acute{L}\acute{N}$ и $\acute{L}\acute{L}$. В соответствии с правилом Дыбо можно ожидать, что ударение будет расставляться следующим образом: $\acute{N}\acute{N}$, $\acute{N}\acute{L}$, $\acute{L}\acute{N}$, $\acute{L}\acute{L}$. Допуская теперь, что безударные гласные редуцировались до нуля [стадия AI, см. табл. (d)], а ударные гласные

превращались в *e* или *o* (Кортландт полагает, что \dot{a} переходило в *e* в открытом слоге и в *o* — в закрытом, устное сообщение), можно объяснить праи.-е. аблаут следующим образом.

$$(f) \begin{array}{l} \text{Н} - \text{Н} = \dot{a} - \dot{a} > \dot{a} - \dot{a} > e, o - \emptyset \\ \text{Н} - \text{Л} = \dot{a} - \dot{a} > \dot{a} - \dot{a} > e, o - \emptyset \\ \text{Л} - \text{Н} = \dot{a} - \dot{a} > \dot{a} - \dot{a} > \emptyset - e, o \\ \text{Л} - \text{Л} = \dot{a} - \dot{a} > \dot{a} - \dot{a} > e, o - \emptyset \end{array}$$

Такой подход позволяет свести два словоизменительных типа — статический и динамический — к одному: слова с высоким тоном в корне образовывали статическую парадигму, а слова с низким тоном в корне — динамическую, ср. например:

	Статический тип	Динамический тип
(g) Ном.	$C\dot{a}C-\dot{a}s > C\acute{e}C = s$	$C\grave{a}C-\dot{a}s > C\acute{e}C-s$
Ген.	$C\dot{a}C-\dot{a}s > C\acute{e}C = s$	$C\grave{a}C-\dot{a}s > CC-bs$
Дат.	$C\dot{a}C-\dot{a}i > C\acute{e}C = i$	$C\grave{a}C-\dot{a}i > CC-\dot{e}i$
Лок.	$C\dot{a}C-\dot{a}i > C\acute{e}C = i$	$C\grave{a}C-\dot{a}i > C\acute{e}C-i$

Следовательно, слова с \dot{T} -корнями и \dot{R} -корнями относятся к статическому словоизменительному типу, а слова с \grave{D} -корнями и \grave{R} -корнями — к динамическому¹⁴. Как было показано выше (3.5), некоторые формы в статическом типе оказались недостаточно четко противопоставленными друг другу, в связи с чем указанный тип был утрачен. Этот процесс происходил по-разному для \dot{R} -корней и \dot{T} -корней и осуществлялся в несколько этапов.

Некоторые проблемы связаны с преобразованием \dot{R} -корней. Наряду с этими корнями существовали аналогичные \grave{R} -корни, так что \dot{R} -корни могли попасть в динамический словоизменительный тип, характерный для основ с \dot{R} -корнями. Слова с \dot{T} -корнями не могли, однако, попасть на этой стадии (AI) в динамический тип, поскольку для них не существовало «парных» корней с другим типом акцентуации: все слова с \dot{T} -корнями имели статическую парадигму. Этот процесс не мог осуществляться и на стадии AII, поскольку акцентное правило превратило бы *e* в составе окончания в *o*, создав тем самым новый словоизменительный тип. Таким образом, *o*-основы, возникшие на этой стадии, являются баритонированными, если содержат \dot{T} -корни [ср. табл. (d)].

Вероятно, лишь на стадии AIII слова с \dot{T} -корнями могли попасть в подвижный тип путем присоединения ударных окончаний. Затем акцентуация слабых падежей была обобщена, что привело к окситонезе основ на *-i*- и *-u*-, образованных от \dot{T} -корней. То, что обобщены были именно слабые падежи, подтверждается тем фактом, что 12 из 14 основ на *-i*- и *-u*-, образованных от \dot{T} -корней, имеют нулевую ступень в корне (см. 1.3).

3.7. Следует признать, что предложенное морфологическое объяснение акцентуации \dot{T} -корней не является ключом к решению всех проблем.

¹⁴ В этом, вероятно, заключается причина того, что суффиксальное *T* не оказывало никакого влияния на акцентуацию (ср. 3.4). Благодаря наличию *T* окончание попадало в тип Н и таким образом воздействовало на акцентную модель динамического словоизменения. Я думаю, что эта модель была впоследствии восстановлена, и воздействие *T* стало незаметным.

Например, неясно, почему *D*-корни обобщили акцентуацию сильных падежей (см. 3.4), а с *R*-корнями этого не произошло. Неясно также, как можно объяснить нулевую ступень *T*-корней (в таких случаях, как **uik^w-o*). Тем не менее изложенные здесь соображения могут оказаться полезными, т. к. они позволяют определить направление, в котором следует искать ответы на нерешенные вопросы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Lubotsky A.* The system of nominal accentuation in Sanskrit and Proto-Indo-European. Leiden, 1988.
2. *Burrow T.* The Sanskrit language. L., 1973. P. 119.
3. *Дыбо В. А.* Акцентология и словообразование в славянском // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов: Докл. советской делегации М., 1968.
4. *Дыбо В. А.* Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента: Тез. // Кузнецовские чтения: История славянских языков и письменности. М., 1973.
5. *Дыбо В. А.* Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента / Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980.
6. *Kortlandt F. H. H.* Proto-Indo-European tones? // JIES. 1986. V. 14. № 1—2.
7. *Кузнецов П. С.* К вопросу о фонологии ударения // Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. М., 1970.
8. *Hyman L. M.* Phonology: Theory and analysis. N. Y., 1975.
9. *McCawley J. D.* Notes on the history of accent in Japanese / Recent developments in historical phonology / Ed. by Fisiak J. The Hague, 1978. P. 301.
10. *Bradshaw J.* Obstruent harmony and tonogenesis in Jabêm // Lingua. 1979. V. 49.
11. *Kiparsky P.* A compositional approach to Vedic word accent // Amṛtadhārā: Professor R. N. Dandekar felicitation volume / Ed. by Joshi S. D. Delhi, 1984.
12. *Grassmann H.* Wörterbuch zum Rig-veda. 5. Aufl. Wiesbaden, 1976.
13. *Mayrhofer M.* Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd 1—4. Heidelberg, 1956—1980.
14. *Gamkrelidze T., Ivanov V.* Sprachtypologie und die Rekonstruktion der gemein indogermanischen Verschlüsse // Phonetica. 1973. Bd 27.
15. *Кортландт Ф. Х. Х.* Праиндоевропейские глоттализированные смычные (сравнительно-исторические данные) // ВЯ. 1985. № 4.
16. *Steenland L.* Die Distribution der urindogermanischen sogenannten Gutt. rale. Uppsala, 1973.
17. *Lubotsky A.* Against a PIE phoneme **a* / The new sound of Indo-European: Essays in phonological reconstruction / Ed. by Venneman Th. B.; N. Y., 1989.
18. *Meillet A.* Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes. P., 1937. P. 173 ff.
19. *Benveniste É.* Origines de la formation des noms en indo-européen. I. P., 1935. P. 149.
20. *Lehmann W. P.* The distribution of Proto-Indo-European *r* // Language. 1951. V. 27.
21. *Палич-Свитыч В. М.* Именная акцентуация в балтийском и славянском: Судьба акцентуационных парадигм. М., 1963.
22. *Lühr R.* Die germanischen Wörter für «seit» und Verwandtes // Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 1978. Hf. 37.
23. *Lubotsky A.* Gr. *pégnumi*: Skr. *pajrá-* and loss of laryngeals before mediae in Indo-Iranian / Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 1981. Hf. 40.
24. *Polomé É.* Reflexes of laryngeals in Indo-Iranian with special reference to the problem of the voiceless aspirates // Saga og språk. Festschrift L. M. Hollander. Austin, 1972. P. 244.
25. *Kortlandt F. H. H.* Posttonic *w* in Old Irish // Ériu. 1986. V. 37.
26. *Kortlandt F. H. H.* Archaic ablaut patterns in the Vedic verb // Festschrift H. Hoenigswald. Tübingen, 1987.
27. *Beekes R. S. P.* The neuter plural and the vocalization of the laryngeals in Avestan // IJ. 1981. V. 23. № 4.
28. *Lubotsky A.* La loi de Brugmann et **H_{3e}* // Publications de la Faculté de philosophie et lettres de L'Université de Liège. Liège; Paris, 1990.
29. *Wackernagel J.* Kleine Schriften. Bd 1—3, Göttingen, 1969—1979. S. 1108 ff.

30. Kortlandt F. H. H. Notes on Armenian historical phonology. III: *h-//* // *Studia Caucasica*. 1983. T. 5. P. 12.
31. Schlerath B. Altindisch *asu-*, awestisch *ahu-* und ähnlich klingende Wörter // *Pratidānam. Indian, Iranian and Indo-European studies presented to F. B. J. Kuiper on his 60-th birthday* // Ed. by Heesterman J. C. The Hague; Paris, 1968. P. 142 ff.
32. Renou L. *Études védiques et pāṇinéennes*. T. XIII. P., 1964. P. 145 ff.
33. Der Rig-Veda / Aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt und mit einem laufenden Kommentar versehen von Geldner K. F. 1—4. Cambridge (Mass.), 1951—1957.
34. Kuiper F. B. J. The three Sanskrit roots *añc-/añj-* // *Vāk*. 1952. V. 2.
35. Kortlandt F. H. H. Three problems of Balto-Slavic phonology // *Zbornik za filologiju i lingvistiku*. 1979. T. 22, № 2. P. 60 ff.
36. Kuiper F. B. J. *Νόσοι χαλλκῶ* // *Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde*, 1952. T. 14. № 5. P. 224.
37. Дыбо В. А. Славянская акцентология. М., 1981. С. 105.
38. Thieme P. *Der Fremdling im Rgveda*. Leipzig, 1938. S. 103.
39. Debrunner A. *Indoiranisches* // *IF*. 1938. Bd 56. P. 171 ff.
40. Weise O. *Ist anlautendes γ vor λ abgefallen?* // *Beiträge zur Kunde der indo-germanischen Sprachen*. 1881. Bd. 6.
41. Wackernagel J. *Altindische Grammatik. Einleitung zur Wortlehre. Nominalkomposition*. 2. Aufl. / Nachträge von Debrunner A. Göttingen, 1957.
42. Wackernagel J. *Altindische Grammatik. Nominalsuffixe* / Hrsg. von Debrunner A. Göttingen, 1954.
43. Kortlandt F. H. H. *Sur l'accentuation des noms postverbaux en slave* // *Dutch contributions to the 8-th International Congress of slavists*. Lisse, 1979.
44. Collinder B. *Zur indo-uralischen Frage* // *Språkvetenskapliga Sällskapet's i Uppsala förhandlingar*. 1954. T. 10 (1952—1954). †
45. Forssman B. *Vedisch āyavasa-* // *Festschrift H. Hoenigswald*. Tübingen, 1987.
46. Kortlandt F. H. H. *Slavic accentuation. A study in relative chronology*. Lisse, 1975. P. 3.
47. Kortlandt F. H. H. *More evidence for Italo-Celtic* // *Ériu*. 1981. V. 32. P. 15.
48. Meillet A. *Sur les suffixes verbaux secondaires en indo-européen* // *MSLP*. 1900. T. XI. P. 297.
49. Gotō T. *Altindisch śāndhra-* und uridg. **lendh-* // *Münchener Studien zur Sprachwissenschaft*. 1985. Hf. 44. S. 80.
50. Kortlandt F. H. H. *I.-E. palatovelars before resonants in Balto-Slavic* // *Recent developments in historical phonology* / Ed. by Fisiak J. The Hague, 1978.
51. Beekes R. S. P. *The origins of the Indo-European nominal inflection*. Innsbruck, 1985.

Перевел с английского Куликов Л. И.

ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

© 1991 г.

КУЛАГИНА О. С.

ОБ АСПЕКТЕ МЕРЫ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЗНАНИИ

1. Введение. В настоящей работе рассматривается аспект меры (или, иными словами, аспект измерения, количества, упорядочения по количественным критериям) в лингвистическом знании. Основная идея, которая развивается в дальнейшем изложении, состоит в следующем: знания носителей естественного языка (ЕЯ) о языке имеют не только качественный аспект, в них есть также аспект меры, порядка, который несколько условно можно назвать количественным. Первый обеспечивает широкий круг возможностей для выражения некоторой мысли (это знание «как можно сказать»). Второй регулирует выбор из этих возможностей наилучшего решения там, где выбор не детерминируется никакими другими более жесткими факторами (это знание «как лучше сказать»).

Мы будем рассматривать аспект, названный нами количественным, в связи с проблемой представления лингвистического знания для автоматизации работы с текстами на естественных языках. При этом речь будет идти не о форме представления, т. е. не о том, как представить лингвистическое знание в ЭВМ, а о его содержании, т. е. о том, какие сведения входят в состав знаний о ЕЯ у носителей языка и, соответственно, должны быть отражены в системах автоматической обработки текстов.

Практически с момента появления первых ЭВМ они начали использоваться не только как средство проведения вычислений, но и как средство переработки символической информации, в том числе текстов, написанных на естественных языках. Со временем объем обработки символической информации чрезвычайно возрос. В рамках данной работы представляют интерес те виды обработки текстов, где текст подвергается нетривиальным содержательным преобразованиям (в отличие от разного вида программ-редакторов). Иными словами, говоря об автоматизации работы с текстами, мы имеем в виду лингвистические процессоры.

Лингвистический процессор (ЛП) — это система, реализованная на ЭВМ, которая способна, по крайней мере, проводить анализ или синтез текстов на ЕЯ. Анализ — это переход от текста на ЕЯ к его представлению на некотором внутреннем языке, отражающему все существенные для решаемой задачи аспекты содержания и строения входного текста. Синтез — это обратный переход: от внутреннего представления — к тексту на ЕЯ. В ряде систем, относимых к ЛП, кроме анализа и синтеза происходит также преобразования внутренних представлений (поэтому выше и сделана оговорка «по крайней мере»).

Внутреннее представление, которое строит анализирующий ЛП, может быть вырожденным или полным. Под полным представлением мы имеем в виду такое, в котором никакая существенная информация не утрачивается, так что по нему в идеале можно восстановить исходный текст с точностью до синонимического преобразования. Примером такого представления может служить синтаксическая структура предложения в виде дерева зависимостей, в узлах которого стоят лексемы входного текста. Такое дерево позволяет восстановить фразу с точностью до порядка слов.

Вырожденное представление — это представление, в котором значительная часть информации утрачена (примером может служить поисковый образ документа в виде списка ключевых слов). Мы будем иметь в виду в дальнейшем только полные представления.

ЛП включает в себя три вида обеспечения: лингвистическое, математико-алгоритмическое и программное. Математико-алгоритмическое обеспечение — это формальные языки представления данных в ЭВМ и алгоритмы переработки этих данных, а программное обеспечение — набор программ, реализующих алгоритмы. На этих двух видах обеспечения мы останавливаться не будем, речь будет идти только о лингвистическом обеспечении ЛП, которое включает в себя словари и грамматические правила.

ЕЯ обладают рядом характерных особенностей, затрудняющих содание для них достаточно подробных описаний. К этим особенностям относятся сложность, неоднородность, недетерминированность и нечеткость. Поясним очень коротко, что имеется в виду.

Сложность проявляется в наличии очень большого числа очень разнородных элементов, способных вступать в большое число разнообразных отношений. Неоднородность проявляется в том, что при любых способах классификации этих элементов разброс в величине классов очень велик. Недетерминированность выражается в том, что все отображения в ЕЯ многозначны, в том числе переход от текста к смыслу, и, особенно, от смысла к тексту. Нечеткость проявляется и в нечеткости областей значений лексем и выражений, и в нечеткости границ синтаксической правильности выражений на ЕЯ. Совокупность этих особенностей создает богатство и гибкость естественных языков, но она же определяет тот факт, что проблема построения полного описания ЕЯ для систем автоматической обработки текстов столь трудна.

Системы грамматических правил, которые используются в ЛП, строятся, естественно, на основе тех грамматик, которые создавались в свое время для использования людьми. Но уже с самого начала исследований по автоматизации обработки текстов выяснилось, что для целей создания ЛП существующие грамматики мало пригодны. Прежде всего бросалось в глаза то обстоятельство, что многие правила в них не формализуемы или трудно формализуемы: они апеллируют к человеческой интуиции, к пониманию содержания соответствующего текста и т. д. Менее ясно осознавалась трудность, связанная с неполнотой лингвистических описаний. Позднее других выяснилось то обстоятельство, что существующие грамматики практически совершенно не отражают один из аспектов знания, которым располагает носитель языка. Именно об этом аспекте пойдет речь в настоящей работе.

Грамматические правила обычно формулируются в виде правил разрешающих, предписывающих или запрещающих определенные грамматические конструкции. При этом в них не находит отражения то обстоятельство, что человек, владеющий некоторым ЕЯ, не только умеет совершать

переход от текста к его смыслу и от смысла к тексту, но и ранжировать разные результаты всех переходов по определенной шкале правильности, нормативности, естественности выражения данной мысли на этом языке. Видимо, именно отсутствие владения этим аспектом лингвистического знания является причиной того, почему на иностранном языке человек может формировать фразы вполне правильные с точки зрения всех норм, но неестественные для носителя языка. Дело, по-видимому, не только в лексической идиоматичности, но и в различии в представлениях о норме для более глубоких уровней.

Аспект лингвистического знания, названный нами количественным, может проявляться очень по-разному. Прежде чем переходить к разбору его различных проявлений, сделаем одну оговорку. Для многих «количество» в применении к лингвистике ассоциируется в первую очередь с лингвистической статистикой. Как будет показано ниже, рассматриваемый аспект не сводится только к частотным характеристикам, хотя многие из показателей, о которых идет речь, действительно проявляются в частоте. Наряду с этим, рассматриваемый аспект проявляется и в размере классов при тех или иных классификациях; и в упорядоченности в круге альтернатив по степени их естественности или нормативности и, соответственно, предпочтительности одних перед другими; и в представлении о близости элементов языка, с точки зрения их значений и т. д.

2. Уровень морфологии. На уровне морфологии аспект меры в знании о ЕЯ проявляется в наиболее явной и простой форме, а именно в виде знания о количестве лексем, обладающих теми или иными морфологическими свойствами. Как мы уже отмечали выше, для ЕЯ характерен большой разброс в размере классов слов с одинаковыми морфологическими свойствами, будь то свойство иметь одинаковые окончания или свойство иметь одинаковые чередования в основах и т. д.

Например, в русском языке классы слов с полностью совпадающими окончаниями (т. е. классы более мелкие, чем обычные склонения и спряжения) могут насчитывать от нескольких тысяч единиц до одной единственной (известно, что слово *путь* не имеет аналогов). Как правило, в словарях и справочниках, описывающих словоизменительные возможности языка, сведения о числе элементов в соответствующих классах не приводятся.

В ЛП сведения о размерах морфологических классов могут быть полезны при решении вопроса о том, как наиболее эффективно составить словарь и правила для обработки слов на морфологическом уровне. В качестве примера можно предложить несколько разных способов для описания русского словоизменения.

Способ, наиболее близкий к принятому в обычных словарях, состоит в том, что для каждого слова в словарь включается одна основа, а в правила работы вводятся операции чередования (наборы окончаний при этом обычные). Второй способ состоит в том, что для слов, имеющих чередования в основах, в словарь включаются все разновидности основ; наборы окончаний при этом те же, что и в первом случае. Третий способ состоит в том, что в словарь включаются некоторые необычные «основы»: для каждого слова берется его графически неизменяемая часть, а все остальное, включая элементы чередования, присоединяется к окончанию. В результате получаются новые наборы окончаний и число разных наборов возрастает. Можно предложить и другие подходы. Каждый из указанных способов, выигрывая в одних показателях, проигрывает в других. При втором способе размер словаря является максимальным, но меньше наборов окончаний и работа по расчленению словоформ проще, чем при других способах.

При первом и третьем способах объем словаря меньше, но либо сложнее обработка (при первом способе), либо увеличиваются в объеме таблицы окончаний (при третьем). Легко понять, что нахождение эффективного описания словоизменения требует знания количественных оценок: насколько возрастет словарь при допущении нескольких основ для одного слова, как много новых наборов окончаний может возникнуть при введении квазиоснов и т. д. Кроме того, на работе этапов морфологического анализа и синтеза может сказаться и такая чисто количественная характеристика, как частота распределения словоформ в текстах. Так, если допускается чередование, то частота появления в текстах словоформ с чередованием может сказаться на скорости работы.

Таким образом, на уровне морфологии неоднородность ЕЯ проявляется в самой простой и явной форме: в величине классов и частоте появления их элементов в текстах. Так что в данном случае можно при желании оба эти проявления интерпретировать как частоту: частоту использования той или иной словоизменительной модели в пределах словарного запаса (которая и дает объем классов) и частоту использования той или иной словоизменительной модели в текстах. Аналогично можно говорить о неравномерности употребления словообразовательных моделей. При этом в лингвистической литературе, даже если и сообщается о различной продуктивности разных моделей, какие бы то ни было количественные оценки практически всегда отсутствуют. При создании описаний ЕЯ для построения ЛП эти сведения, как уже было отмечено, сказываются на компактности и эффективности системы. Однако это не слишком интересный случай, поскольку на результаты морфологического анализа или синтеза они не влияют.

Что касается неоднозначности переходов, то на уровне морфологии она проявляется, с одной стороны, в наличии нескольких разложений для одной словоформы (т. е. в омонимии) и, с другой стороны, в возможности нескольких словоформ для одной лексемы при одних и тех же морфологических характеристиках. Таковы, например, случаи типа *чай/чаю* для родительного падежа единственного числа слова *чай* или *лесу/лесе* для предложного падежа слова *лес*. Но последняя ситуация сравнительно редка.

3. Уровень синтаксиса. При переходе от морфологии к синтаксису свойственные ЕЯ неоднородность и неоднозначность переходов, отмеченные в п. 1, встречаются чаще. Как и в морфологии, имеется неоднородность и по величине классов слов с одинаковыми синтаксическими признаками, и по частоте употребления тех или иных синтаксических конструкций. Под синтаксическими признаками мы здесь имеем в виду и модели управления, и возможности появления определенных управляющих и др. Выражение «синтаксическая конструкция» здесь тоже употреблено в широком смысле: имеется в виду комбинация представителей определенных синтаксических классов (с заданными синтаксическими признаками и морфологическими характеристиками), связанных определенными синтаксическими отношениями.

В качестве примера рассмотрим способы оформления в русском языке подлежащего, или, в иных терминах, те конструкции, которые используются для оформления предикативного отношения. Подлежащим может быть имя (существительное, местоимение, числительное, субстантивированное прилагательное) в именительном или родительном падеже, глагол в неопределенной форме, придаточное предложение и др. Тут можно отметить разные проявления того, что мы назвали неоднородностью. С од-

ной стороны, далеко не каждый глагол допускает все эти способы. С другой стороны, очевидно и другое проявление неоднородности, именно то, что перечисленные случаи явно неравноправны с точки зрения употребимости. В грамматиках только указывается их допустимость, но сведения о частоте употребления или об их ранжировании по степени естественности отсутствуют.

Кроме разнообразия в способах оформления того или иного синтаксического отношения, русский язык предоставляет пользователю еще свободу в выборе порядка слов. Известно, что русское подлежащее может стоять как впереди, так и позади сказуемого. Однако хотя оба эти расположения возможны, они явно неравноправны: в большинстве случаев порядок прямой.

Вопроса о том, какими свойствами строения текста в целом определяется естественность выбора, мы касаться не будем. Для нас представляет интерес тот факт, что знания носителей языка о данной конструкции включают в себя если не точные оценки, то, во всяком случае, некоторую ранжированность этих возможностей по степени естественности, нормативности. Так, случай подлежащего, выраженного существительным в именительном падеже, является наиболее естественным, глагол в инфинитиве употребляется в роли подлежащего реже, чем местоимение, и т. п. Причины выбора одного из вариантов, который определяется, конечно, далеко не только естественностью, разнообразны. Для целей нашего изложения важно сейчас только следующее. В тех случаях, когда для выражения некоторого синтаксического отношения в ЕЯ имеется некоторый круг альтернативных возможностей, эти альтернативы неравноправны по употребимости; однако сведения о предпочтительности одних перед другими, которые в какой-то форме имеются у носителей языка, не зафиксированы в традиционных лингвистических описаниях, хотя для построения ЛП они нужны.

Вообще говоря, выбор одной из альтернатив при создании некоторого текста определяется целым рядом причин, например, стремлением избежать повторов, сократить текст и т. п. Это ведет к употреблению местоимения вместо существительного или вместо целой именной группы и т. д. Однако такого рода условия не детерминируют синтез полностью, у говорящего всегда есть некоторая свобода выбора, в пределах которой он решает вопрос не по строгим правилам, а на основе некоторых предпочтений. Можно предположить, что в пределах так называемой деловой прозы, где естественно считать априорными стремление к простоте и ясности изложения, автор обычно выбирает наиболее естественный нормативный вариант. Если мы сумеем отразить в системе автоматической обработки текста это представление о ранжированности по мере естественности и нормативности, то мы получим возможность улучшить результат работы системы.

Рассмотрим для начала, как проявляется отсутствие этого типа сведений.

До недавнего времени все алгоритмы синтаксического анализа базировались на понятии синтаксической правильности. Таковы и те алгоритмы, в основе которых лежат формальные грамматики Хомского, и алгоритмы фильтрового типа и другие. Нечеткость границ синтаксической правильности наряду с огромным разнообразием синтаксических конструкций, сочетаемость которых трудно проследить и описать, приводит к следующим трудностям.

Если круг синтаксических возможностей языка описан без всяких

сведений метрического характера, о которых шла речь выше, т. е. в вариантах ЛП альтернативы выступают как равноправные (самый стандартный случай описывается так же, как и редчайшая возможность), то при проведении анализа, основанного только на правильности, мы сталкиваемся с одной из двух неудачных ситуаций. В одном случае в числе учитываемых возможностей мы допускаем все то, что может встретиться в языке, и тогда возрастают переборы в процессе анализа, а при многовариантном подходе возрастает и число построенных вариантов (за счет того, что в простом по строению предложении перебираются все возможности вплоть до самых экзотических). В другом случае, если мы сужаем круг допустимых ситуаций до самых стандартных, то мы не получим части правильных синтаксических структур. Выход видится в том, чтобы приблизить знания о ЕЯ, включенные в ЛП, к тем, которыми располагает носитель языка, учитывая в них не только качественный аспект, но и разбираемый нами аспект меры. При этом, основываясь на постулатах общения, можно предположить, что мы сможем наилучшим образом имитировать человеческое понимание, если для каждого входного предложения сумеем построить самый естественный из правильных вариантов.

На уровне синтаксического анализа это приводит к необходимости построения такой системы правил, в которой альтернативные возможности снабжены некоторыми показателями степени нормативности или естественности, а алгоритм обеспечивает построение синтаксического представления, которое является не только правильным, но и наилучшим с точки зрения этих показателей.

4. Пример использования аспекта меры при автоматическом синтаксическом анализе. Алгоритм синтаксического анализа (САН) для русских текстов, основанный на очерченном здесь подходе, построен в системе АРТ (Анализ Русских Текстов), разработанной в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша АН СССР, и описан в работах [1—4]. Этот подход является обобщением фильтрового подхода, подробное описание которого содержится в [5].

Напомним кратко основные моменты фильтрового метода САН. Целью САН является построение для анализируемого предложения одной или нескольких синтаксических структур в виде размеченных деревьев зависимости. Размеченное дерево зависимостей — это дерево, в узлах которого стоят текстовые единицы (ТЕ) входного предложения, снабженные наборами разнообразных признаков, а дуги соответствуют синтаксическим связям и снабжены пометами о типах связей. К ТЕ относятся словоформы, идиоматические словосочетания, выступающие в САН как единое целое, и знаки препинания.

Процесс построения синтаксической структуры такого вида состоит из следующих основных этапов. Сначала для анализируемого предложения строится некоторый, вообще говоря, избыточный набор синтаксических связей (ССв). При его построении учитывается только возможность двух ТЕ выступать компонентами некоторой ССв, но не учитывается ни контекст, ни сочетаемость ССв. Следующий этап состоит в сокращении исходного набора ССв путем учета ограничений на правильность сочетаний ССв. Ограничения сформулированы в виде правил, называемых фильтрами. Фильтры учитывают требования проективности, сочетаемость разных подчиненных элементов при общем управляющем и другие факторы.

Основной принцип отбрасывания лишних ССв — это принцип сохранения уникальных ССв. ССв называется уникальной, если она является

единственной, в которой ее подчиненный элемент выступает в качестве подчиненного. Поскольку мы стремимся построить связное дерево, для каждой словоформы, кроме корня дерева, надо найти ровно один управляющий элемент. Это значит, что уникальные ССв должны сохраняться при применении фильтров, а те ССв, которые с ними несовместимы, должны быть отброшены. Основываясь на этом, можно отбросить часть гипотетических ССв, но не всегда оставшийся набор оказывается единичным. Единичный набор ССв — это набор, в котором для каждой ТЕ есть ровно одна ССв и она уникальна в указанном выше смысле; но единичный набор может быть несвязным за счет наличия петель, т. е. еще не быть деревом.

Если в результате применения фильтров получился единичный набор, то это означает, что для данного предложения будет построен единственный правильный вариант анализа. Если же получен набор, который не является единичным и уже не поддается сокращениям при применении фильтров, то такой набор расщепляется на единичные, каждый из которых порождает свое дерево зависимостей.

Описанный подход имеет целый ряд положительных свойств: ясность и прозрачность, возможность лингвистически содержательного расчленения на этапы, устойчивость, застрахованность от зацикливания, ограничение переборов и т. д. (см. [5]). Однако, как уже было отмечено, его недостатком является то, что нередко правильный вариант оказывается не единственным и алгоритм строит правильные варианты, никак не ранжируя их по каким бы то ни было критериям.

Для названной выше системы АРТ разработано расширение фильтрового подхода. Расширение делается в нескольких направлениях, но здесь мы остановимся только на разбираемом нами аспекте меры (подробное описание САН в системе АРТ см. в [3, 4]).

Для учета предпочтений одних синтаксических конструкций по сравнению с другими вводится аппарат оценок ССв. Общая структура алгоритма выглядит при этом следующим образом. Как и раньше, сначала строится набор гипотетических синтаксических ССв, но при этом теперь они снабжаются некоторыми исходными оценками. Исходные оценки учитывают разнообразные факторы. Для актантных ССв, устанавливаемых по моделям управления, оценки учитывают степень необходимости заполнения данного места предиката, степень естественности каждого варианта заполнения и расположение связываемых ТЕ. Для циркулянтных ССв оценки учитывают прежде всего расположение связываемых ТЕ в анализируемом предложении: как их взаимный порядок, так и то, представителями каких синтаксических классов разделяются связываемые ТЕ.

Например, от существительного к согласованному с ним прилагательному будет устанавливаться гипотетическая определительная ССв, оценка которой будет тем ниже, чем больше ТЕ отделяют определяемое от определяющего; если эти две ТЕ соседствуют, оценка ССв будет максимальной. Таким образом, разрешенными оказываются определительные ССв и между соседними ТЕ (например, в таких сочетаниях, как *соседние слова, такой случай*), и между весьма далекими ТЕ, разделенными представителями разнообразных синтаксических классов, в том числе другими существительными (как, например, между *такой* и *случай* в сочетании *Такой ранее автором не рассматривавшийся случай*). Но при этом оценки они получают разные. В результате, если встретится сочетание *Такой случай автор называет...*, гипотетические определительные ССв к слову

такой пройдут и от случай, и от автор, но исходная оценка первой ССв будет выше.

Следующий этап состоит в пересчете оценок в зависимости от сочетания ССв. Если при чисто фильтровом подходе учет сочетаемости сводится к отбрасыванию каких-то ССв, то оценки дают более тонкие средства работы. Наряду с запрещением некоторых сочетаний, мы получаем возможность указать, что они допустимы, но нежелательны. Это выразится низкой оценкой данного сочетания; если наряду с ним возникнет другое, с более высокой оценкой, то нежелательное сочетание будет отброшено, а если лучшего не окажется, то оно войдет в результирующую структуру.

Здесь надо отметить, что мы описываем круг возможностей, которые при таком подходе предоставляются составителю системы правил в лингвистическом обеспечении некоторого ЛП для того, чтобы он мог отразить свои представления о степени допустимости того или иного сочетания, не предпринимая вопрос о том, каковы должны быть конкретные оценки. Эти оценки он может выбирать.

При пересчете оценок они могут как увеличиваться, так и уменьшаться. Так, например, если для некоторого места предиката нашелся только один претендент на заполнение, то оценка связывающей их ССв повышается в зависимости от степени необходимости заполнения данного места, а оценки ССв, соединяющих другие ТЕ с той же ТЕ как подчиненной, соответственно понижаются. Снижение оценки до нуля означает отбрасывание данной ССв.

После пересчета оценок ССв для каждой ТЕ анализируемого предложения выбираются те (или та) ССв, которые получили в результате максимальные оценки. Если таких ССв оказывается несколько, то из них выбирается «наиболее естественная», например, учитывается направление ССв: так, для определения в русском языке естественнее препозиция: существительное в косвенном падеже, напротив, чаще стоит после своего управляющего, чем предшествует ему. В результате последнего выбора получаем единичный набор ССв, на основе которого строится дерево зависимостей, которому естественно приписать в качестве оценки сумму оценок вошедших в него ССв.

В исследовательских целях можно строить все варианты синтаксической структуры с соответствующими оценками. В частности, в применении к известному примеру *Мать любит дочь* обычный фильтровый метод выдаст два равноправных варианта анализа, на основе описанного подхода либо будет построено два варианта, но с разными оценками, либо, если будет дана установка на получение только наилучшего, будет выдан тот из них, где первое существительное является субъектом, а второе — объектом.

На одном простом примере хочется предостеречь от упрощенного использования при автоматическом САН того понятия меры, о котором идет речь. При построении синтаксической структуры чаще всего истинным управляющим для ТЕ является тот из них, который является ближайшим. Естественно, что возникает искушение строить синтаксическую структуру из кратчайших ССв, тем более, что легко количественно оценить расстояния и потом минимизировать сумму длин ССв. Однако можно показать на примерах, что выбор управляющего зависит не только от расстояния.

Рассмотрим предложение: *Он взял ближайший из примеров*. К предлогу *из* пройдут две гипотетические ССв: от глагола *взял* и от прилагательного *ближайший*. Управляющим в данном случае является прилагательное,

которое здесь соседствует с предлогом. Однако и при другой расстановке слов ССв должна идти к предлогу от прилагательного. Так, в предложении *Он взял из примеров ближайший* хотя глагол и соседствует с предлогом, все равно управляющим для предлога является прилагательное. Причем дело отнюдь не в том, что по каким-то причинам глагол *взял* не должен управлять сочетанием *из примеров*: в предложении *Он взял много интересного из примеров* предлогом *из* управляет *взял*. Дело именно в сочетании силы требований на наличие данного подчиненного: глагол *взял* может выступить в роли управляющего для предлога *из*, но если появится более сильный претендент, он уступает эту роль ему.

Представляется, что этот пример достаточно явственно показывает, что нельзя ограничиваться выбором ближайшего из претендентов на роль управляющего. Заметим, что в рассмотренном примере требование проективности не помогает решить вопрос, определяющим является соотношение именно в силе требований на заполнение соответствующего места со стороны глагола и прилагательного.

Если пытаться обособовать выбор на чисто качественном уровне, то придется формулировать сложный набор условий, учитывающих различные возможные сочетания претендентов на роль управляющего для предлога, и указать, какое из них надо выбирать в том или ином сочетании. Представляется, что проще унифицировать этот процесс, введя в качестве средства аппарат оценок, присваиваемых ССв, как это было очерчено выше.

5. Уровень семантики. Очень коротко коснемся проявлений аспекта количества и меры при описании семантики. Здесь соображения можно высказать в основном в виде пожеланий относительно представления семантических сведений. Если мы хотим проводить семантический анализ сообщений, который позволил бы делать определенные выводы из содержания, то мы должны уметь строить соответствующие семантические структуры. В них словам должны соответствовать толкования, из которых на основе синтаксической структуры и специальных правил комбинирования толкований должно получаться толкование целого высказывания.

На уровне синтаксиса основной классифицирующий принцип — это принцип эквивалентности: синтаксические правила в основном формулируются применительно к классам слов, эквивалентных по своим синтаксическим свойствам.

В семантике полная эквивалентность (полная синонимия) практически отсутствует. На уровне семантики главным организующим принципом становится близость, а не совпадение. Соответственно желательно, чтобы семантические представления имели встроенные средства явного указания семантической близости и упорядоченности по степени близости. В семантических сетях, концептуализациях, семантических формулах и других распространенных семантических представлениях таких встроенных средств нет.

Один из возможных способов получения толкований, пригодных для явного указания наличия семантической близости, состоит в приписывании группе семантически близких слов некоторого общего набора параметров с разными значениями, определенным образом упорядоченными (это могут быть числовые значения либо значения, задаваемые словами, но с понятной упорядоченностью; в качестве примера укажем такой ряд значений: «никогда, очень редко, редко, нередко, часто, очень часто, всегда»).

Тривиальные примеры дают такие группы глаголов: группа *шептать*,

говорить, кричать естественным образом упорядочивается по громкости; группа *ползти, плестись, идти, бежать, нестись, мчаться* — по скорости; группа *уговорить, упросить, умолить* по степени трудности реализации и т. д. Параметрическое описание такого типа для группы ментальных предикатов дано в работе [6].

Представляется также, что существенными семантическими характеристиками глаголов должны быть такие, как характерная длительность, четкость границ по длительности, наличие естественного завершения, сохраняемость результата, возможность повторения без антидействия, кратность, стандартность/заурядность соответствующего действия. Каждый из этих признаков характеризуется своей шкалой значений.

Разберем в качестве примера одну из названных семантических характеристик, интересную в данном контексте проявлением количественных отношений. Речь пойдет о характерной длительности. Представляется, что для ряда действий и состояний в нашем представлении есть определенная стандартная длительность, определяемая либо самим действием, либо иногда его актантами. Она измеряется такими интервалами времени, как мгновения, минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы и т. д. Иногда в характерной длительности объединяются несколько таких интервалов: например, для *умыться* стандартная длительность — минуты, для *болеть* — дни или недели, для *учиться в школе* — годы, для *писать записку* — минуты, *писать письмо* — минуты или часы, *писать роман* — недели, месяцы или годы. Наряду с видом глагола представление о характерном времени протекания некоторого действия и сочетании этого характерного времени с тем временным интервалом, который указан при данном действии, влияет на понимание того, достигло ли это действие завершения. Так, если временной интервал существенно больше, чем характерная длительность действия, то содержащее их высказывание даже при несовершенном виде глагола воспринимается так: в указанный интервал времени субъект начал некоторое действие, произвел его и завершил.

Рассмотрим например, высказывание: *Вчера А читал доклад*. Поскольку *вчера* — задает временной интервал длительностью в один день, а для *читать доклад* нормальное время — минуты или часы, то это высказывание понимается так же, как высказывание *Вчера А прочитал доклад*, т. е. «начал читать, читал и прочитал доклад». Для высказывания *Вчера А читал повесть* вопрос о завершенности остается открытым, а высказывание *Вчера А читал роман* воспринимается как сообщение о действии чтения, которое не было закончено, поскольку тут интервал, задаваемый словом *вчера*, меньше характерного времени действия. Других источников информации о завершении действия, кроме знания характерного для него времени, в этих высказываниях нет.

Соотношение характерного времени протекания действия и указанного в явном виде временного интервала может иногда быть источником информации о кратности действия. Сравним, например, высказывания *На прошлой неделе А ездил в Ленинград*, *В прошлом году А ездил в Ленинград*, *В молодости А ездил в Ленинград*. Хотя никаких явных указаний о кратности нет, первое мы воспримем скорее как указание на однократное действие, второе неопределенно с точки зрения кратности, а третье — воспринимается скорее как сообщение о многократном действии.

Заметим, что решение о завершенности или кратности действия на основе соотношения временного интервала и характерной длительности

действия происходит не абсолютно, а на уровне предпочтений. Это соотношение позволяет дополнить явно заданную информацию и выбрать наиболее естественное понимание из возможных.

Представляется, что к рассматриваемому аспекту относятся также положения о неравноправии тех или иных сочетаний слов (выражающиеся в предпочтительности одних по сравнению с другими), которые разобраны в известной работе Уилкса [7].

6. О схеме модели для описания естественных языков. В работе [8] приведена общая схема модели для описания естественных языков, в которой систематически проведена идея использования аппарата оценок для операций и конструкций ЕЯ.

Предлагается строить модель ЕЯ в виде многоуровневой лингвистической системы (МЛС), состоящей из одноуровневых лингвистических систем (ОЛС).

Каждая ОЛС — это иерархическая система, где каждый ранг иерархии включает в себя объекты, отношения трех видов (классифицирующие, структурные и ограничительные), оценочные функции и операции. Объекты нижнего уровня — атомы; они разбиты на классы классифицирующими отношениями. Атомы объединяются в неатомарные объекты при помощи структурных отношений, при этом учитываются классифицирующие отношения. Для составных объектов должны выполняться ограничительные отношения. Неатомарные объекты конструируются из простых или разлагаются на простые при помощи операций, которые делятся на объединяющие, разъединяющие и заменяющие. Применение операций влечет за собой вычисление оценок для построенных с ее помощью объектов. Благодаря этому параллельно с процессом анализа (разложения на более элементарные) или синтеза некоторого объекта идет процесс получения оценки результата в зависимости от того, какая последовательность операций была при этом применена и каковы были оценки операндов.

Различные ОЛС в пределах МЛС связаны между собой преобразующими операциями, для которых также определено вычисление оценок результата на основе оценок операндов.

Например, ОЛС, соответствующая морфологическому уровню, описывает построение словоформы из морфем с помощью объединяющих операций, разбиение словоформы на морфемы с помощью разъединяющих операций, чередование с помощью заменяющих операций.

ОЛС другого уровня служит для описания синтаксиса. Здесь атомарные объекты — это представления словоформ. Классифицирующие отношения задают деление на классы в соответствии с наличием определенных синтаксических признаков. Структурные отношения связывают словоформы в синтаксические конструкции, затем объединяют их в синтаксическую структуру всего предложения (в ней могут быть части, соответствующие простым предложениям, группам слов и т. п., а также части, соответствующие теме и реме). Ограничительные отношения, или условия, регулируют применимость операций и тем самым направляют процесс анализа или синтеза текста. Альтернативные результаты анализа получают при этом оценки в зависимости от того, каким путем (т. е. при помощи какой последовательности операций) они были получены, и, соответственно, на какие более простые объекты был разложен анализируемый.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кулагина О. С. Морфологический анализ русских глаголов. Препринт ИПМ им. М. В. Келдыша АН СССР, 1985, № 195.
2. Кулагина О. С. Морфологический анализ русских именных словоформ. Препринт ИПМ им. М. В. Келдыша АН СССР, 1986, № 10.
3. Кулагина О. С. Об автоматическом синтаксическом анализе русских текстов /. Препринт ИПМ им. М. В. Келдыша АН СССР, 1987, № 205.
4. Кулагина О. С. О синтаксическом анализе на основе предпочтений. Препринт ИПМ им. М. В. Келдыша АН СССР, 1990, № 3.
5. Кулагина О. С. Исследования по машинному переводу. М., 1979.
6. Кулагина О. С. О параметрическом представлении смысла некоторых ментальных предикатов / Препринт ИПМ им. М. В. Келдыша АН СССР, 1990, № 3.
7. Wilks Y. Preference semantics. Stanford A. I. Lab. Memo AIM-206, Stanford, 1973.
8. Кулагина О. С. О моделировании естественных языков. Препринт ИПМ им. М. В. Келдыша АН СССР, 1981, № 138.

© 1991 г.

КИБРИК А. А.

О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ЗНАНИЙ В МОДЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА*

О. Введение. Попытки моделирования процессов построения естественного дискурса приводят к убеждению, что наиболее существенный компонент синтеза — это мыслительный компонент, предшествующий собственно вербальной деятельности. В частности, в качестве исходной точки синтеза необходимо рассматривать не семантический, а когнитивный уровень, включающий множество процессов в сознании коммуникантов, в том числе операции со знаниями. Можно привести бесчисленное число примеров того, как некоторое ментальное задание способно трансформироваться в целый набор совершенно несинонимичных (в смысле семантического состава) высказываний. Так, легко представить себе ситуацию, в которой высказывания *Давай обедать! Что то у меня живот подвело, Когда мы наконец сядем за стол?* выполняют совершенно идентичную коммуникативную функцию и при этом имеют весьма различные семантические представления. Очевидно, что лингвистическая модель должна включать глубинный уровень, на котором функциональное сходство подобных высказываний получит естественное отражение. Это и есть когнитивный уровень, в качестве единиц которого выступают различные виды знаний и операции над ними.

Целью данной работы является типологизация знаний, работающих на этапе когнитивного синтеза дискурса. Поскольку лингвистического опыта в описании когнитивного уровня пока накоплено очень мало, ниже следующее изложение будет весьма неформальным, особенно в части описания субъективных, оценочных компонентов знаний (некоторые примеры современных систем формального представления знания см. в [1, 2]).

1. Материал. Данная работа основана на исследовании реальных телевизионных диалогов-интервью, записывавшихся на магнитофон и затем расшифровывавшихся, а также газетных интервью.

Необходимо указать характеристики интервью, составляющие специфику этого жанра диалога [3]. В интервью обязательно участвуют три лица: Интервьюер, Респондент и Аудитория. Наиболее инициативный участник интервью — *И н т е р в ь ю е р* (И-р). Общая структура интервью, как правило, задается именно И-ром, той последовательностью вопросов, которая заранее им запланирована. *Р е с п о н д е н т* (Р-т)

* Настоящий доклад представляет собой часть более обширного исследования по моделированию диалога, выполняемого по заказу московской фирмы «Интеллектуальная технология». Проблематика данного доклада обсуждалась на рабочем семинаре, постоянные члены которого своими замечаниями позволили прояснить ряд положений. Автор выражает свою признательность участникам семинара, и в первую очередь Н. Андреевой, А. Н. Баранову, С. В. Кодзасову, Г. Е. Крейдлину, П. Б. Паршину. Разумеется, вся ответственность за высказанные здесь мысли лежит целиком на авторе.

может быть и совершенно безынициативным, а может и в значительной степени навязывать свою волю и сценарий развития диалога И-ру.

Кардинальная особенность интервью — ингерентное наличие третьего участника — А у д и т о р и и (А-ии). А-ия физически не присутствует при взятии интервью, однако ее существование с необходимостью учитывается и И-ром, и Р-нтом, если они хотят успеха своей коммуникации. Что касается И-ра, то он в своем поведении моделирует усредненный интерес А-ии. Р-нт также должен ориентироваться в своих репликах на А-ию (в телеинтервью это проявляется, в частности, в том, что неопытный Р-нт постоянно смотрит лишь на И-ра, а опытный часто смотрит в телекамеру).

С точки зрения исследования когнитивного синтеза интервью обладает рядом преимуществ перед другими жанрами диалога. Во-первых, интервью — это формализованный жанр: один участник всегда спрашивает, а другой отвечает¹. Во-вторых, интервью — это планируемый диалог, в нем большую роль играет изначальный план И-ра; интервью — это наименее многофакторный диалог, его форма в большой степени зависит от одного фактора — коммуникативного намерения И-ра. В-третьих, это диалог с относительно короткими репликами: реплики И-ра — вопросы; они не могут быть чрезмерно длинными, а объем реплики Р-нта априори ограничен объемом вопроса².

Недостатком, точнее, трудностью в изучении интервью является наличие третьего участника, А-ии. Однако представление о социальных стереотипах А-ии может и помогать при моделировании сознания И-ра.

2. Типология когнитивных сущностей. Здесь был бы неуместен обзор всего пространства когнитивных сущностей, выделяемых в сознании человека. Это огромное пространство рефлектируется в естественном языке посредством лексических полей ментальных глаголов, абстрактных концептов, обозначающих состояния сознания и т. п. Интервью принадлежит к подклассу и н ф о р м а ц и о н н ы х жанров диалога, поэтому в нем первостепенную роль играет такой тип когнитивных единиц, как з н а н и я. Знания выступают в качестве некоей предметной когнитивной субстанции, в качестве «наполнителя» когнитивных операций и процедур, которых также чрезвычайно важны. Поскольку целью данной работы является типологизация самих значений, я ограничусь лишь упоминанием тех о п е р а ц и й, п р о ц е д у р и других сущностей, которые наиболее непосредственно участвуют в когнитивном синтезе интервью.

Интервью направлено на приобретение знаний. Когнитивная процедура, позволяющая И-ру достичь этой цели при развертывании интервью, основана на механизме к о м м у н и к а т и в н о г о н а м е р е н и я (см. ниже). В ходе приобретения знаний очень важны различные связи между знаниями — установление эквивалентности и различия между

¹ Нарушение этого принципа может использоваться для достижения комического эффекта. Режиссер Э. Рязанов в конце одного интервью сказал И-ру: «А теперь я спрошу вас. Какого черта вы задаете все эти дурацкие вопросы?»

² Все указанные здесь особенности интервью характеризуют прототипические образцы этого жанра диалога. Отступления от прототипа могут быть весьма значительными, но здесь их рассмотрение несущественно. В качестве примера такого отступления можно заметить, что существует корреляция между социальной ролью участника интервью и длиной реплики. Высокопоставленные Р-нты любят пространственные ответы, содержательно выходящие за пределы вопроса И-ра. С другой стороны, известные журналисты в процессе интервью часто перебегают вопросы с собственными рассуждениями; также интервью граничат с другим распространенным жанром диалога — так называемой «беседой».

ними, естественный логический вывод, правила аргументации и т. д. Имеется также ряд когнитивных сущностей другого рода, которые в перспективе должны быть включены в общую типологию. К ним относятся, в частности, типовые сценарии диалогов, ролевые установки и различные цели коммуникантов. Все эти значимые, но внешние по отношению к теме данной работы сущности в нижеследующем изложении обсуждаться не будут.

Как уже отмечалось, интервью — это целенаправленная деятельность, регулируемая в первую очередь коммуникативным намерением И-ра. Поэтому ниже в целях упрощения задачи будут рассматриваться лишь когнитивные единицы И-ра.

3. Коммуникативные намерения. Коммуникативное намерение (КН) — это полужормальный аналог мысли, стимулирующей начало и продолжение взаимодействия, предшествующей диалогу и руководящей речевым поведением коммуниканта в течение всего диалога.

Физически в интервью участвуют лишь два коммуниканта — И-р и Р-нт. Однако кроме их коммуникативных намерений (КН/И и КН/Р) в полной когнитивной модели интервью должны учитываться еще по крайней мере следующие рефлексивные КН:

КН/А/И — КН А-ии в представлении И-ра;

КН/А/Р — КН А-ии в представлении Р-нта;

КН/И/Р — КН И-ра в представлении Р-нта;

КН/Р/И — КН Р-нта в представлении И-ра.

Поскольку данная работа ограничивается рассмотрением когнитивных единиц И-ра, ниже «КН» всюду следует читать как «КН/И». Нужно при этом иметь в виду, что И-р является в интервью представителем А-ии и в норме стремится максимально приблизить свое КН к КН/А/И.

Необходимо различать несколько разновидностей КН. Так, есть исходное, глобальное КН всего интервью (ср., например, понятие макроструктуры в [4]), и есть более мелкие КН, соответствующие составляющим диалога. Как будет показано ниже, важнейший компонент глобального КН — заполнение пустых слотов некоего исходного фрейма, связанного с Р-нтом. В соответствии со слотовой структурой этого фрейма глобальное КН дробится на более мелкие КН, которые в конечном счете определяют последовательность вопросов И-ра.

Для полноты изложения следует заметить, что наряду с запланированными КН, выводимыми из глобального КН, в реальных интервью очень часто проявляются незапланированные, или спонтанные, КН. Они вызываются возмущающими факторами, среди которых на первом месте стоят реплики Р-нта, содержащие неожиданные, противоречивые или неясные знания. Ниже, однако, будет рассматриваться лишь идеализированная схема интервью, не содержащая спонтанных КН.

4. Знания. Введем несколько разграничений между видами знаний, релевантных для когнитивных процессов И-ра.

1) Различие с точки зрения предмета знания. Для И-ра существует три важнейших объекта знания: мир (предметная область), Р-нт и А-ия. Дальнейшие различия характеризуют лишь знания о мире.

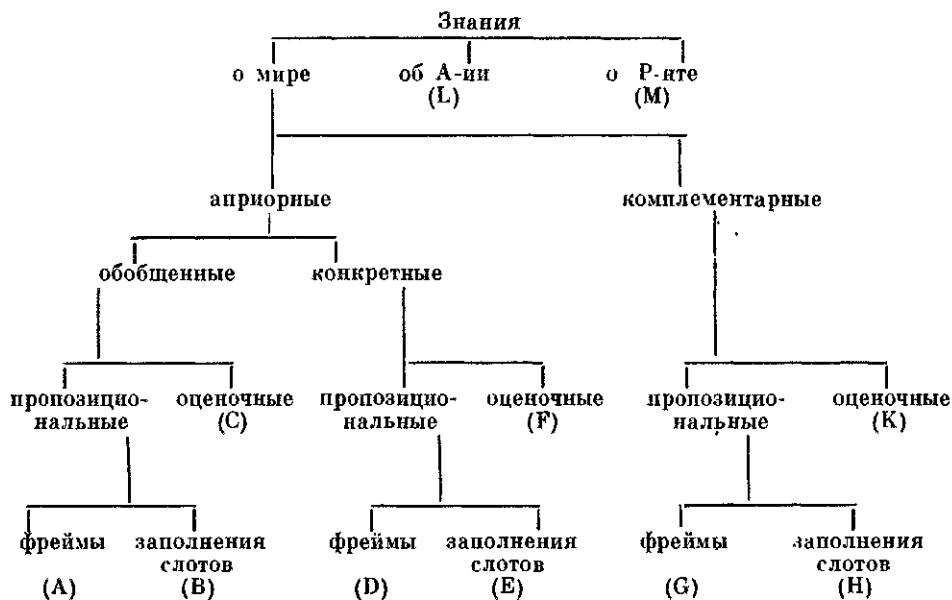
2) Различие с точки зрения времени приобретения знания. Имеет смысл различать априорные и комплементарные знания. Априорные — это знания, которыми И-р располагает до начала интервью и неполнота которых служит стимулом взятия интервью. Комплементарные — это знания, которые дополняют априорные знания, заполняют лакуны в них, приобретаются в процессе интервью.

3) Различие с точки зрения конкретности знаний. Следует различать обобщенные и конкретные знания. Обобщенными являются знания о стандартных структурах и схемах предметной области, конкретными — об индивидуальных ее элементах. Априорные знания бывают как обобщенными, так и конкретными. Комплементарные знания, как правило, конкретны.

4) Различие с точки зрения объективности/субъективности знаний. Два вида знаний, которые явно противопоставлены в когнитивной деятельности И-ров — это пропозициональные и оценочные знания. Пропозициональные — это объективные знания, знания *par excellence*, знания о ситуациях и объектах действительности. Функционирование пропозициональных знаний при когнитивном синтезе интервью хорошо описывается при помощи фреймового представления (о фреймовом представлении см., например [5, 6]). Фреймы, содержащие знания о ситуациях и объектах, — это первый подвид пропозициональных знаний. Второй подвид — заполнения слотов этих фреймов.

Оценочные знания субъективны, это оценки, в первую очередь, шкалы «хорошо — плохо», приписываемые отдельным квантам пропозициональных знаний. Принадлежность оценок к категории знаний — спорный вопрос. Возможно, оценки следует рассматривать как особый вид когнитивных сущностей, которые могут классифицироваться по тем же основаниям, что и знания. Здесь оценки условно считаются подклассом знаний.

Перечисленные виды знаний могут быть сведены воедино в виде следующей древовидной схемы.



Эта типология, разумеется, неполна. Она не охватывает некоторых — и даже многих — параметров, по которым могут классифицироваться знания. Так, в ней не упомянуты известные противопоставления по актуализованности знаний (ср. близкое противопоставление априорных и комплементарных знаний), по способу приобретения знаний (вербальный/перцептивный), не затронуты такие формы организации знаний, как,

например, тезаурусы. Однако приведенные здесь параметры оказались наиболее существенными для описания когнитивного синтеза интервью. Проиллюстрируем функционирование всех выделенных видов знаний в процессе когнитивного синтеза интервью И-ром.

5. Этапы когнитивного синтеза интервью. Первый, предварительный, этап когнитивного синтеза интервью — появление глобального КН И-ра. Стимулом для взятия всякого интервью является убеждение И-ра в том, что:

- 1) в сознании А-ии имеется фрейм, связанный с некоторым объектом или ситуацией, в котором есть незаполненные слоты;
- 2) заполнение этих слотов представляет интерес для А-ии;
- 3) доступен Р-нт, при чьей помощи можно получить знания, способные заполнить эти слоты.

При этих условиях у И-ра может появиться соответствующее глобальное КН. Формулируя перечисленные условия в терминах вышеприведенной типологии знаний, можно утверждать, что на предварительном этапе когнитивного синтеза работают следующие виды знаний: знания об А-ии (L), о Р-нте (M) и априорный конкретный фрейм (D). В этом конкретном фрейме обычно часть слотов заполнены (E), им присвоены оценки (F). Конкретный фрейм со всеми его незаполненными и заполненными слотами и их оценками может строиться только по образцу стандартного обобщенного фрейма (A) и на основании же знаний, касающихся возможных заполнений его слотов (B) и их оценок (C).

Например, как показывает анализ многочисленных интервью новоизбранных депутатов, обобщенный фрейм **НОВЫЙ НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ** имеет в общественном сознании А-ии и, соответственно, профессиональных И-ров три основных слота:

1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
2. СФЕРА ИНТЕРЕСОВ
3. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

Первый из этих слотов имеет внутреннюю структуру, т. е. также включает ряд слотов и является фреймом. Его стандартные слоты:

- 1.1. МЕСТО
- 1.2. КОНКУРЕНТЫ
- 1.3. СЦЕНАРИЙ

На базе стандартного обобщенного фрейма И-р заводит для каждого индивидуального депутата конкретный фрейм, некоторые слоты которого обычно бывают априорно заполнены. Для незаполненных слотов заранее известны варианты их заполнения, допустим, различные географические регионы для слота 1.1. Наилучшим Р-нтом интервью о незаполненных слотах такого конкретного фрейма является, конечно, сам соответствующий депутат.

Затем И-р переходит ко второму, основному этапу когнитивного синтеза — заполнению пустых слотов исходного фрейма. В интервью, взятом в июне 1989 г. у новоизбранного народного депутата СССР Е. Гаер, априорный конкретный фрейм выглядел следующим образом:

(1) **НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ ГАЕР:**

1. **ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ:**

1.1. **МЕСТО:** Дальний Восток

1.2. **КОНКУРЕНТЫ:**

1.3. **СЦЕНАРИЙ:**

2. **СФЕРА ИНТЕРЕСОВ:** жизнь коренных народов Севера.

В соответствии с КН заполнялись пустующие слоты 1.2. и 1.3., первые два вопроса И-ра имели следующий вид:

(2) И-р: *Кто был вашим соперником в предвыборной борьбе?*

Гаер: *Командующий Дальневосточного военного округа Виктор Иванович Новожилов*

И-р: *Каким оружием вы его победили?*

В интервью, взятом в сентябре 1990 г. у новоизбранного депутата О. Калугина, априорный конкретный фрейм выглядел так:

(3) НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ КАЛУГИН:

1. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ:

1.1. МЕСТО: Кубань

1.2. КОНКУРЕНТЫ: председатель Краснодарского облисполкома

1.3. СЦЕНАРИЙ:

2. СФЕРА ИНТЕРЕСОВ: Функционирование КГБ

3. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ:

Первый вопрос И-ра был таков:

(4) *Как вы расцениваете свою победу?*

Здесь мы наблюдаем более сложный случай: вопрос касается непосредственно оценки заполнения слота 1.3. Р-нтом. Согласно стандартной когнитивной конвенции, вопросы об оценках всегда подразумевают просьбу обосновать данную оценку, что и было сделано Р-нтом Калугиным.

Эти примеры показывают, как И-р извлекает комплементарные пропозициональные знания — заполнения пустых слотов (Н), а также опечные знания (К), сопутствующие конкретным заполнениям слотов³.

6. Последовательность действий Интервьюера на этапе заполнения пустых слотов исходного фрейма. Основной принцип, которым руководствуется И-р при развертывании интервью, состоит в следующем. И-р движется по исходному фрейму и, находя незаполненный слот, стремится его заполнить. Некоторые обобщенные фреймы (например, новый народный депутат) имеют достаточно стабильную структуру, и приоритетный порядок вопросов варьируется мало. Если фрейм упорядочен менее жестко, действует прагматический принцип «приоритетно наиболее интересное для А-ии».

Каждый слот исходного фрейма задает составляющую диалога, которую можно назвать ц и к л о м, или тактом, диалога. Цикл включает одну или несколько вопросно-ответных пар и заканчивается в тот момент, когда пустовавший слот оказывается заполненным. Набор пустых слотов в значительной степени предопределяет набор циклов в интервью. В упомянутом интервью Калугина второй, и последний, вопрос И-ра касается слота 3. исходного фрейма (5) и имеет следующий вид:

(5) *Каковы будут Ваши первые действия в Верховном Совете СССР?*

Если пустой слот в исходном фрейме имеет внутреннюю структуру, т. е. сам является фреймом, цикл включает несколько реплик И-ра — ср. вопросы, соответствующие слотам 1.2. и 1.3. фрейма (1) в рамках одного цикла в примере (2). X

7. Типы фреймов. Существует определенная типология интервью, соответствующая типам исходных фреймов, лежащих в основе интервью. Один тип интервью — это получение знаний, доступных Р-нту. В этом случае исходный фрейм — это некоторая ситуация или событие. Одно из рассмотренных интервью такого типа было взято в августе 1990 г.

³ По-видимому, выделение вида знаний (G) «комплементарные фреймы» не имеет смысла.

параллельно у начальника Вильнюсского гарнизона Советской армии и у генерального директора охраны края при правительстве Литовской республики. Исходный фрейм этого интервью, который может быть обозначен как **ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛИТОВЦЕВ И РУССКИХ В ЛИТВЕ**, включал слоты: **ЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ**; **ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ**; **ВЛАСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ**; **ВОЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ**, а целью И р было продемонстрировать, насколько противоположны оценки заполнения каждого из слотов у двух Р-нтов. Другое интервью было взято у заведующего отделом секретариата Верховного Совета СССР по случаю возвращения гражданства двадцати трем опальным деятелям культуры и науки. Это интервью имело два взаимосвязанных исходных фрейма **ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА** и **ВОЗВРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА** и преследовало цели проинформировать о заполнении некоторых слотов этих фреймов (например, **ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИШЕННЫХ ГРАЖДАНСТВА**), а также внушить А и негативные оценки прошлых действий властей и позитивные оценки действий нынешних.

В интервью второго типа И р извлекает знания о самом Р нте. При этом Р нт может выступать как представитель некоторого класса либо как индивидуальность. Первый случай может быть проиллюстрирован интервью с профессиональным спекулянтом, где важны не личные, а социальные характеристики Р-нта. В этом интервью конкретный фрейм **ЖИЗНЬ СПЕКУЛЯНТА** строится на базе стандартного фрейма **ЖИЗНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ**, имеющего слоты: **СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**; **ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**; **ДОХОДЫ**; **УСЛОВИЯ ЖИЗНИ**; **СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ**. Последовательность циклов этого интервью жестко следует слотам исходного фрейма. И р пытается не только получить пропозициональные знания о жизни спекулянтов, но и приписать негативные оценки заполнения слотов исходного фрейма.

В случае, если Р-нт выступает как индивидуальность, исходный фрейм интервью может соответствовать разным аспектам его индивидуальности, например, личным качествам (интервью с послом США в СССР Дж. Мэтлоком), биографии (интервью с академиком Сахаровым), текущей деятельности (многочисленные интервью с политиками).

В настоящем кратком изложении нет возможности затронуть такие важные вопросы, как структура фреймового представления, связи между фреймами, пути появления фреймов в оперативной памяти и события изменения фреймов.

8. Заключение. Как было показано, при когнитивном синтезе естественных диалогов-интервью исключительно важную конструктивную роль играют различные виды знаний коммуникантов, в частности, Интервьюера. Среди знаний Интервьюера необходимо различать знания о мире, знания о Респонденте и знания об Аудитории. Знания о мире могут быть разделены на априорные (существующие до начала интервью) и комплементарные (дополняющие априорные знания в ходе интервью). Среди априорных знаний различаются обобщенные и конкретные знания. Комплементарные знания обычно носят конкретный характер. На эти противопоставления накладывается практически независимое различие между пропозициональными, объективными знаниями о действительности, и оценочными, субъективными знаниями. Две категории пропозициональных знаний — фреймы, характеризующие объекты и ситуации действительности, и заполнения слотов этих фреймов.

Знания являются субстанцией,¹ материалом различных когнитивных операций и процедур. Для когнитивного синтеза интервью особо важную роль играют коммуникативные намерения Интервьюера по приобретению знаний.

В докладе были затронуты лишь некоторые, наиболее релевантные когнитивные сущности и виды знаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Лемарт В., Дайер М. Г., Джонсон П. Н., Янг К. Дж., Харли С.* BORIS — экспериментальная система глубинного понимания повествовательных текстов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIV. М., 1989.
2. *Dahlgren K., McDowell J., Stabler E. P.* Knowledge representation for common-sense reasoning with text // Computational linguistics. 1989. V. 15. № 3.
3. *Jucker A. H.* News interviews: A pragmalinguistic analysis. Amsterdam, 1986.
4. *Dijk T. van.* Structures of news in the press // Discourse and communication / Ed. by van Dijk T. V., 1985.
5. *Чарняк Ю.* Умозаключения и знания. Ч. II // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983. С. 303—312.
6. *Селфридж М.* Интегральная обработка обеспечивает надежное понимание // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIV. М., 1989. С. 178.

© 1991 г.

БОГУСЛАВСКИЙ И. М.

**ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР И ЛОКАТИВНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

Если говорить о том, чего ждет от лингвистики наше стремительно компьютеризирующееся общество, то, возможно, в первую очередь следовало бы назвать проблему общения с компьютером на естественном языке. Не случайно решение этой задачи составляет одну из основных целей, выдвинутых в Японии в рамках проекта построения компьютера пятого поколения.

Один из ближайших этапов на этом пути — обеспечение полноценного общения в рамках прикладной системы, работающей в определенной предметной области и решающей определенную информационную задачу. Предметная область должна быть достаточно узкой для того, чтобы описание ее семантики было обозримым, а информационная задача — достаточно богатой, чтобы это описание было лингвистически интересным.

В лаборатории компьютерной лингвистики ИПИ АН СССР (руководитель работ — Ю. Д. Апресян) разрабатываются две системы, моделирующие языковые способности человека — система машинного перевода с английского языка на русский и с русского на английский (ЭТАП-3) и система общения с базами данных, или лингвистический процессор (ЛП). Мы сосредоточимся на второй из этих систем.

Говоря огубно, база данных — это определенным образом организованная совокупность сведений о некоторой области. Специальная система управления базой данных (СУБД) обеспечивает, в частности, введение, хранение и модификацию информации в базе данных, а также ее поиск по запросам пользователей. Рассмотрим пример реляционной базы данных, поставляемой в качестве демонстрационной при СУБД ORACLE. Она содержит сведения о структуре некоторой условной фирмы и ее сотрудниках. Эти сведения размещаются в нескольких таблицах, каждая из которых описывает значения определенных атрибутов. Например, таблица служащих (EM) содержит такие атрибуты, как фамилия служащего (ENAME), номер отдела (DEPTNO), в котором он работает, его должность (JOB), зарплата (SAL), дата поступления на работу (DATE), фамилия непосредственного начальника (MGR) и др. В таблице отделов (DP) помимо сведений о номере отдела (DEPTNO) указывается его название (DNAME) и город (LOC), в котором он расположен. Таблица городов (CT) сообщает данные о названии города (CITY) и о названии штата, к которому он относится (SNAME).

Для того чтобы СУБД могла отвечать на вопросы пользователя, касающиеся содержащихся в базе данных сведений, эти вопросы должны быть сформулированы на специальном формальном языке запросов, по-

нятном машине. Чем больше разнообразие допустимых запросов, тем сложнее и богаче должен быть этот язык.

В настоящее время все большую популярность у разработчиков и пользователей СУБД приобретает формальный язык SQL (Structured Query Language), который не только позволяет формулировать весьма разнообразные и сложные запросы, но и служит для пополнения и коррекции данных в базе, а также постепенно превращается в язык манипулирования данными в операционных системах. Для лингвистов же он интересен тем, что он достаточно близок к языку исчисления предикатов первого порядка, давно и прочно вошедшему в арсенал средств, используемых в лингвистике для записи семантической информации. Приведем для примера запись одного запроса на языке SQL:

(1) *Кто из клерков отдела сбыта получает максимальную зарплату?*

```
SELECT ENAME  
FROM EM, DP  
WHERE EM.JOB «клерк» AND DP.DNAME = «сбыт» AND  
EM.DEPTNO =  
DP.DEPTNO AND (EM.SAL = SELECT MAX(SAL)  
FROM EM B, DP C  
WHERE (B.JOB = «клерк» AND  
C.DNAME = «сбыт» AND  
C.DEPTNO = B.DEPTNO))
```

Этот пример ясно показывает, насколько далеко отстоит SQL от естественного (в частности, русского) языка. Вполне очевидно, что для того, чтобы сделать базы данных непосредственно доступными для широкого круга пользователей, незнакомых ни с формальным языком запросов, ни со способом организации данных в базе, необходимо предоставить пользователям возможность формулировать запросы на свободном естественном языке.

Именно эту цель и преследует разрабатываемый нами лингвистический процессор. Его задача — обеспечить перевод запросов к базе данных, сформулированных на (практически) неограниченном русском языке, на язык запросов SQL. Ясно, что такая постановка задачи очень близка к задаче машинного перевода: в обоих случаях речь идет о переводе с одного — естественного языка на другой — естественный или искусственный. Однако имеется и очень существенная разница, касающаяся представления в этих системах знаний о языке и знаний о мире.

В системе ЭТАП-3, как и в большинстве других систем машинного перевода, эти два типа знаний слиты вместе и записаны на одном и том же формальном языке.

Как известно, сочетаемость слов управляется с двух сторон. Те или иные слова могут не сочетаться друг с другом, во-первых, потому, что им этого не позволяют их языковые свойства морфологические, синтаксические, семантические или сочетаемостные. Во-вторых, они могут не сочетаться из-за того, что они обозначают такие объекты, свойства, процессы и т. д., которые не сочетаются в реальном мире. Хотя эти два типа ограничений в отдельных случаях бывает трудно четко разграничить, их принципиальное различие не вызывает сомнений.

В системах машинного перевода знания о предметной области учтены обычно в той мере, в какой их удается лексикографировать. Введение в систему новых знаний о предметной области представляет собой детализацию знаний о сочетаемости слов или классов слов.

В системах типа ЛПЗ знания о предметной области в значительной мере отделены от знаний о языке. Языковые знания представлены в виде

грамматики и словаря, а знания о предметной области в виде таблиц базы данных. Связь между этими двумя массивами информации обеспечивает семантический компонент ЛП, задача которого — истолковать все элементы естественного языка в терминах элементарных объектов предметной области и связей между ними. Еще одно отличие ЛП от систем машинного перевода состоит в том, что в нем естественные языковые выражения анализируются на большую глубину. Как известно, глубина анализа при переводе определяется тем, насколько велико структурное различие между входным и выходным языком. Русский и английский языки, с которыми работает переводческая система ЭТАП-3, как и другие европейские языки, обнаруживают достаточную степень подобия для того, чтобы ограничиться при анализе предложения уровнем глубинно-синтаксических (или, иначе, нормализованных) структур [1]. Этот уровень представления позволяет снять различия между языками до такой степени, что этого вполне достаточно для контроля смысла и тем самым для обеспечения хорошего качества перевода.

Иначе обстоит дело с ЛП. Русский язык (или любой другой естественный язык), с одной стороны, и язык SQL, с другой стороны, как это видно уже из примера (1), имеют настолько разную структуру, что для преодоления этого различия необходимо увеличить глубину анализа. Поэтому ЛП имеет еще один уровень представления — уровень семантических структур. Единицы этого уровня — семантические элементы, соответствующие объектам и отношениям предметной области и не зависящие от естественного языка. В соответствии с этим ЛП должен иметь еще один компонент — семантический. Задача этого компонента — интерпретировать все элементы естественного языка в терминах семантических элементов. По существу, это та же самая задача, которая стоит перед семантикой и в «академической» лингвистике. Она также должна истолковать все значимые единицы естественного языка с помощью некоторого семантического метаязыка.

«Компьютерная» постановка задачи описания семантики одновременно и облегчает, и усложняет работу лингвиста. Облегчает потому, что в ЛП требуется семантически освоить весьма ограниченный фрагмент естественного языка. Трудность же связана с тем, что мы лишаемся свободы выбора метаязыка описания и степени глубины семантического анализа: все релевантное семантическое содержание запроса должно быть выражено с помощью независимых от нашего выбора элементарных единиц, с которыми работает база данных.

Вторая трудность состоит в том, что компьютерная парадигма навязывает лингвисту целостный, интегральный подход к описанию языка. Мы не можем ограничиться описанием лишь части языковых явлений, точно так же, как нельзя допустить, чтобы описание одних единиц было не вполне точно согласовано с описанием других. В этом случае компьютерная система просто не будет работать.

Все это делает семантическое описание, выполняемое в рамках ЛП, удобным исследовательским полигоном для «академической» семантики.

Семантический компонент ЛП, как и общее строение этой системы, подробно обсуждается в работе [2]. Здесь же мы хотели бы — для того, чтобы дать лингвистам представление о характере возникающих семантических задач, — остановиться лишь на одной частной проблеме, имеющей, впрочем, самостоятельный лингвистический интерес.

Явление, на которое мы натолкнулись при разработке семантического компонента ЛП и которое хотим сейчас обсудить, связано с обстоятельством

венными конструкциями. В целом для запросов по нашей предметной области обстоятельственные выражения нетипичны. Мир информации, хранящейся в отделе кадров нашей условной фирмы, статичен. В нем нет ни причин, ни следствий, ни условий, ни способов совершения действия, ни даже самих действий. Достаточно распространенными являются, пожалуй, лишь локативные обстоятельства, которые можно проиллюстрировать запросами (2) к базе данных:

(2а) *В каком отделе все клерки получают больше 1000 долларов?*

(2б) *В каком подразделении количество служащих равно десяти?*

Подобные обстоятельства, как оказалось, во многом отличаются от типичных локативных обстоятельств типа

(3а) *Во дворе играли дети.*

(3б) *В каком городе ты познакомился с профессором Лазаром?*

и требуют особой трактовки в рамках ЛП. В чем же состоит их специфика?

Обстоятельства, выступающие в предложениях (3), — их можно назвать собственно локативными обстоятельствами — задают чисто пространственные координаты. Они фиксируют точку или область физического пространства, в которой локализуется некоторая ситуация и/или ее участники. В каноническом случае речь идет не только об участниках ситуации, но и о ситуации в целом. В предложении (3а), например, говорится, что во дворе находились не только дети, но и сама ситуация игры разворачивалась именно там. Ситуации, которые нельзя мыслить как разворачивающиеся в физическом пространстве, не допускают подобных обстоятельств. Таковы, например, постоянные свойства, отношения, так называемые устойчивые состояния и др. Предикаты, обозначающие такие ситуации, включают слова типа *беспокоить*, *верить*, *владеть*, *желать*, *знать*, *ненавидеть* [3, с. 92—93].

В некоторых случаях, впрочем, локативное обстоятельство ничего не утверждает о самой ситуации, обозначенной глаголом, а характеризует лишь местоположение ее участников. При глаголах восприятия, например, локативное обстоятельство относится лишь к воспринимаемому объекту:

(4) *Вдали я увидел парус <услышал раскаты грома>.*

В этом предложении вдали располагается не ситуация восприятия и не воспринимающий субъект, а лишь воспринимаемый парус или раскаты грома.

Другой тип локативных обстоятельств, к которому относятся предложения (2) и к которому мы хотели бы привлечь особое внимание, мы будем условно называть миропорождающими обстоятельствами. Различие между собственно локативными и (локативно-) миропорождающими обстоятельствами удобно проиллюстрировать примером, который допускает обе интерпретации:

(5) *Здесь солнце не заходит.*

В первой интерпретации — собственно локативной — слово *здесь* фиксирует ту часть небосвода, в которой заходящее солнце уходит за горизонт. В этой интерпретации предложение (5) может быть продолжено, например, так: *Здесь солнце не заходит, оно заходит левее, за лесом.*

При второй интерпретации речь идет не о местонахождении солнца в момент захода, а о мире, в котором имеет или не имеет места ситуация захода солнца. Возможное продолжение (5) в этом случае может быть, например, таким: *Здесь солнце не заходит — мы ведь за полярным кругом.*

Еще один пример: в диалоге

(6) — *Где буфет?*

— В этом здании

локативные выражения *где* и *в этом здании* заполняют одну и ту же семантическую валентность предиката местонахождения. Между тем в вопросе

(7) *Где в этом здании буфет?*

присутствуют оба эти выражения, но конфликта между ними не возникает, поскольку эти слова «бьют по разным целям»: *где* заполняет ту же валентность и имеет тем самым собственно локативную интерпретацию, а сочетание *в этом здании* к этой валентности отношения не имеет. Оно лишь фиксирует мир, в рамках которого мыслится вопрос.

Соотношение между собственно локативным и миропорождающим значением в значительной мере определяется различием между понятием физического пространства и более общим понятием мира, которое включает физическое пространство в качестве одного из компонентов. Семантика миропорождающих обстоятельств двойственна, это не может не сказываться на том, к каким пропозициям они могут применяться.

С одной стороны, в значении этих обстоятельств сильна локативная компонента. Пропозиция, которую определяет обстоятельство, должна мыслиться в рамках данного мира. Поэтому невозможно присоединение такого обстоятельства к пропозиции, которая локализуется в пространстве, не входящем в состав данного мира: ср. пару (8a)–(8б):

(8a) *В нашем городе школьники по субботам не учатся.*

(8б) **В нашем городе школьники провели лето в Крыму.*

Предложение (8б) неправильно, поскольку ситуация «проведение лета» локализована в Крыму, что несовместимо с миром нашего города.

С другой стороны, поскольку понятие мира шире, чем понятие физического пространства, миропорождающие обстоятельства могут присоединяться к абстрактным суждениям, для которых нормальная пространственная локализация не имеет смысла:

(9a) *В Индии корова — священное животное.*

(9б) *В нашем городе дважды два не всегда равно четырем.*

Одно из отличий собственно локативных и миропорождающих обстоятельств состоит в их разной сочетаемости с глаголами. Выше мы уже упоминали некоторые классы глаголов, несовместимых с собственно локативными обстоятельствами. Все эти глаголы легко сочетаются с миропорождающими обстоятельствами:

(10a) **Он ненавидит в саду.*

(10б) *В нашем городе все ненавидят жару.*

(11a) **Он знает в транспорте.*

(11б) *Здесь знают немецкий язык.*

В силу самого характера миропорождающего значения естественно предположить, что сочетаемость этих обстоятельств с глаголами вряд ли может быть чем-то ограничена.

Следующая особенность миропорождающих обстоятельств также связана с характером выражаемого ими значения. Задавая мир, в котором рассматривается ситуация в целом, эти обстоятельства могут одновременно воздействовать на именные группы, входящие в их сферу действия. Это воздействие заключается в том, что утверждается принадлежность референтов этих именных групп к данному миру. В зависимости от характера именной группы конкретная форма этого воздействия может быть разной.

Для именных групп, экстенционал которых в принципе выходит за пределы данного мира, происходит сужение экстенционала (или, в терми-

нал А. Д. Шмелева, ограничение релевантного денотативного пространства). В самом деле, если в предложении

(12) *Средняя зарплата клерков составляет 1000 долларов в месяц* экстенционал имени *клерки* никак не специфицирован, то в предложении

(13) *В десятом отделе (в Чикаго) средняя зарплата клерков составляет 1000 долларов в месяц*

он ограничен десятым отделом или городом Чикаго.

Именные группы, характеризующиеся референционной определенностью, не допускают сужения экстенционала. Имена собственные, например, отсылают к конкретному индивидуализированному объекту. В этом случае, не оказывая воздействия на экстенционал, миропорождающее обстоятельство вносит дополнительное значение: оно сообщает, что референт именной группы принадлежит данному миру. Проиллюстрируем это утверждение примером: предложение

(14) *В нашем отделе наградили только Смита* допускает две интерпретации. Первая — собственно локативная: «в нашем отделе состоялось награждение одного Смита; остальные награждения происходили в других местах». Здесь ничего не говорится о том, относится ли Смит к нашему отделу или нет. При этой интерпретации речь идет о локализации того же типа, какая представлена, например, в предложении *Смита награждали на фирме, а Джоунзу награду вручали в ратуше*.

Вторая интерпретация — миропорождающая: «из всех сотрудников нашего отдела наградили одного Смита». В этом случае предложение включает информацию о том, что Смит принадлежит нашему отделу, но ничего не сообщает о том, где происходило награждение — в нашем отделе или нет.

Различие в интерпретации имени *Смит* в этих осмыслениях связано не с объемом его экстенционала (он в обоих случаях состоит из одного лица), а лишь с конкретизацией принадлежности этого лица миру нашего отдела.

Два указанных свойства — локативное значение и способность оказывать семантическое воздействие на именную группу (в частности, на ее экстенционал) — логически не зависят друг от друга. С одной стороны, локативное обстоятельство может оставлять экстенционал имени в неприкосновенности. Это хорошо видно на примере предложений, допускающих обе возможности:

(15) *В нашем городе школьники имеют право посещать музеи бесплатно*.

В этом предложении существительное *школьники* может иметь референцию либо к школьникам нашего города — и в этом случае налицо ограничение экстенционала со стороны обстоятельства, — либо к любым школьникам, в том числе и к тем, что приехали из других мест.

С другой стороны, выражения, ограничивающие экстенционал именной группы, не обязаны иметь значение локализации ситуации в целом и вообще могут не быть обстоятельствами. Таковы, например, атрибуты (и дополнения) именных групп. Сравним предложения (16) и (17):

(16) *Школьники нашего города по субботам не учатся*.

(17) *В нашем городе школьники по субботам не учатся*.

Синонимия этих предложений показывает, что если миропорождающее обстоятельство ограничивает экстенционал именной группы, то это обстоятельство можно превратить в атрибут этой именной группы. Так же

обстоит дело и с предложениями (2), в которых обстоятельство тоже эквивалентно атрибуту:

(18а) *Все клерки какого отдела получают больше 1000 долларов?*

(18б) *Количество служащих какого подразделения равно десяти?*

Это наталкивает на мысль о том, что здесь мы имеем дело просто с разными синтаксическими воплощениями одного и того же значения, или, иными словами, — что предложения типа (16) соотносятся с предложением типа (17) посредством синонимического синтаксического преобразования. До некоторой степени аналогией может служить отрицание в парах типа:

(19) *Пришел не Иван.*

(20) *Неверно, что пришел Иван.*

Как в паре (16)—(17), так и в паре (19)—(20) перед нами предложение, обладающие следующими свойствами. В одном из предложений выступает некоторый элемент (*в нашем городе, неверно, что*), имеющий в качестве синтаксической сферы действия все остальное предложение, а во втором предложении этот элемент (а точнее, выражение с очень близким значением, но другими синтаксическими свойствами — *нашего города, не*) относится лишь к одному из слов, входящих в предложение. При выполнении некоторых условий эти предложения синонимичны. В случае (19)—(20) для синонимии требуется, чтобы в (20) значение «пришел» входило в тему, а значение «Иван» — в рему. В случае же (16)—(17), как мы уже говорили, требуется локализация ситуации «школьники по субботам не учатся» в нашем городе.

Эта аналогия, однако, неполна. Ситуация в предложениях типа (16)—(17) сложнее за счет того, что между атрибутом и обстоятельством в общем случае имеется смысловое различие, которого нет между словами *неверно* и *не*: обстоятельство локализует в некотором мире [в случае (17) — в мире нашего города] целую ситуацию, а атрибут — только объект, к которому он относится. Отсюда вытекает, что у обстоятельства гораздо более широкая сфера действия, а это, в свою очередь, приводит к тому, что воздействие, которое обстоятельство оказывает на экстенционал, может затрагивать одновременно более одной именной группы. Например, предложение

(21) *В нашем городе школьники отдыхают меньше, чем студенты* может пониматься в том смысле, что школьники и студенты живут в одном и том же городе. Если при этой интерпретации пытаться превратить обстоятельство в атрибут при именной группе, то придется ввести два атрибута:

(22) *Школьники нашего города отдыхают меньше, чем студенты нашего города.*

Выше мы отмечали, что пропозиция, составляющая сферу действия миропорождающего обстоятельства, должна мыслиться в составе мира, обозначенного этим обстоятельством. Что касается именных групп, входящих в эту пропозицию, то они могут соотноситься с миром по-разному. На одном полюсе находятся именные группы, референты которых являются полноправными элементами данного мира — ср. предложение (17) — *В нашем городе школьники по субботам не учатся*. На другом полюсе располагаются именные группы, референты которых находятся вне данного мира, например:

(23) *В нашем отделе премьер-министр пользуется всеобщей симпатией.*

Премьер-министр не входит в мир нашего отдела, а связан с ним лишь постольку, поскольку вся пропозиция локализована в этом мире.

Примеры, которые мы приводили выше, позволяют думать, что соотношение референтов именных групп с миром, обозначенным обстоятельством, регулируется чисто ситуационными факторами. Например, в предложении (21) нам легко интерпретировать именную группу *студенты* в смысле «студенты нашего города» потому, что существование такого класса студентов представляется нам естественным. Достаточно заменить в (21) слово *студенты* таким существительным, для которого наш город, по сугубо прагматическим причинам, не был бы релевантным денотативным пространством, — например, словом *космонавты*, — и ничто не заставило бы обстоятельство *в нашем городе* ограничивать экстенционал этого существительного:

(24) *В нашем городе школьники отдыхают меньше, чем космонавты.*

Между тем существуют и чисто языковые ограничения, регулирующие возможность вхождения именной группы в мир, введенный обстоятельством. Здесь в игру вступают актуальное членение предложения и референциальный статус именной группы. Рассмотрим предложения (25):

(25a) *В Чикаго меньше двадцати тысяч долларов получают многие.*

(25б) *В Чикаго многие получают меньше двадцати тысяч долларов.*

Они показывают, что неопределенная дискрипция (типа *многие*) как в рематической, так и в тематической позиции легко сужает свой экстенционал: в обоих предложениях именная группа интерпретируется в значении «многие из Чикаго». Заменяем эту именную группу на определенную:

(26a) *В Чикаго меньше двадцати тысяч долларов получает Смит.*

(26б) **В Чикаго Смит получает меньше двадцати тысяч долларов.*

Как мы говорили выше, для определенных именных групп воздействие миропорождающего обстоятельства проявляется в том, что референт этой именной группы воспринимается как принадлежащий данному миру. В (26a) именная группа *Смит* легко интерпретируется именно таким образом — «Смит из Чикаго». Предложение (26б) относительно такой интерпретации неправильно. Оно допустимо только в ситуации, когда Смит работает в разных городах: в Чикаго Смит получает одну сумму, в Нью-Йорке — другую, в Далласе — третью. Однако в этом случае Смита нельзя считать «Смитом из Чикаго» и тем самым интерпретировать как элемент мира Чикаго. Таким образом, референт определенной именной группы, стоящей в тематической позиции, не может принадлежать миру, вводимому обстоятельством.

Следует подчеркнуть, что релевантной здесь оказывается именно коммуникативная функция именной группы, а не ее линейная позиция, поскольку предложение (26в), в котором именная группа стоит в начальной позиции, но содержит в своем составе рематизатор *только*, ведет себя так же, как (26a):

(26a) *В Чикаго только Смит получает меньше двадцати тысяч долларов.*

Любопытно, что указанное ограничение теряет силу, если обстоятельное выражение заполняет семантическую валентность какого-нибудь предиката внутри пропозиции. Так, предложение (27a) в соответствии с этим ограничением неправильно, а предложение (27б) вполне допустимо:

(27a) **В нашей школе Джон очень сильный.*

(27б) *В нашей школе Джон самый сильный.*

Приемлемость предложения (27б) обусловлена тем, что выражение *в нашей школе* играет в нем другую роль: превосходная степень вводит валентность множества, в котором выбирается самый сильный человек.

Говоря выше о соотношении именных групп с миропорождающими обстоятельствами, мы отметили две возможности: референт именной группы является или не является элементом данного мира. Существует, однако, и третья возможность, с которой мы сталкиваемся, рассматривая парадоксальное, на первый взгляд, различие в правильности предложений (28):

(28a) *В нашем отделе коммивояжеры зарабатывают столько же, сколько премьер-министр.*

(28б) **В нашем отделе премьер-министр зарабатывает столько же, сколько коммивояжеры.*

[Предложение (28б) неправильно относительно наиболее естественной интерпретации, при которой премьер-министр не имеет никакого отношения к нашему отделу. В противном случае предложение становится допустимым — см. выше комментарий к примеру (26б)].

Казалось бы, сигнификативно тождественные пропозиции вида *A зарабатывает столько же, сколько B и B зарабатывает столько же, сколько A* не должны иметь разную сочетаемость с обстоятельством. Объяснение различия (28a)—(28б) состоит в том, что именная группа *премьер-министр* в предложении (28б) не входит в сферу действия обстоятельства *в нашем отделе*.

В самом деле, значение предложения (28б) можно более эксплицитно представить следующим образом: «сумма, которую зарабатывают коммивояжеры в нашем отделе, равна той, которую получает премьер-министр». При таком представлении наглядно видно, что обстоятельство *в нашем отделе* характеризует только пропозицию с коммивояжерами. Переходя от предложения (28a) к (28б), мы насильно помещаем именную группу *премьер-министр* в сферу действия обстоятельства и тем самым существенно меняем смысл всего предложения.

Таким образом, для именной группы в предложении с миропорождающим обстоятельством имеются следующие альтернативы. Она может входить в состав пропозиции, образующей сферу действия обстоятельства, и тогда а) принадлежать или б) не принадлежать данному миру, или же в) она может вообще находиться вне сферы действия обстоятельства.

Различие между собственно локативными и миропорождающими обстоятельствами проявляется не всегда. Способность определять нелокализуемые в пространстве пропозиции и семантически воздействовать на именные группы указанным выше образом свойственна только миропорождающим обстоятельствам. Если же пропозиция обозначает конкретную локализуемую ситуацию, а ее участники не подвергаются семантическому воздействию обстоятельства, то противопоставление этих двух видов обстоятельств нейтрализуется. В предложении

(29) *В Австралии растут эвкалипты*

противопоставление Австралии как области пространства и как фрагмента мира лишается смысла.

Задача анализа миропорождающих обстоятельств не могла быть решена полностью в рамках настоящей статьи. Многие вопросы, связанные с этими обстоятельствами, остались для нас неясными. Впрочем, даже высказанные выше наблюдения не могут быть в полном объеме представлены в виде системы правил, предназначенных для компьютерной системы. Между теоретической и формальной лингвистикой всегда есть своего рода зазор: прикладные задачи ставят вопросы, на которые теория (пока) не знает ответа, а та, в свою очередь, обладает такими знаниями, которые (пока) невозможно воплотить в формальном описании. В нашем случае,

однако, положение облегчается тем, что в текстах той предметной области, с которой работает ЛП, практически нет чисто локативных обстоятельств, и тем самым не возникает необходимости в отграничении их от обстоятельств миропорождающего типа. Что же касается семантических правил ЛП, работающих с этими последними, то они ориентированы на то, чтобы отнести референты именных групп, находящихся в сфере действия обстоятельства, к соответствующему миру. Иначе говоря, предложения типа (2) сводятся к предложениям типа (18). Благодаря этому задача описания миропорождающих обстоятельств в рамках ЛП получила вполне удовлетворительное решение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д., Богуславский И. М., Иондин Л. Л. и др. Лингвистическое обеспечение системы ЭТАП-2. М., 1989.
2. Богуславский И. М., Цинман Л. Л. Семантический компонент лингвистического процессора // Семантика и информатика. Вып. 30. М., 1990.
3. Рагилина Е. В. Семантика локативных вопросов (вопросы со словом где). Вопросы кибернетики. Проблемы разработки формальной модели языка. М., 1988.

© 1991 г.

БЕЛОВА А. Г.

СТРУКТУРА СЕМИТСКОГО КОРНЯ И СЕМИТСКАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Одним из основных типологических признаков грамматической системы семитских языков считается консонантный корень. По количеству согласных доминирующей структурой семитского корня является трехсогласная структура.

Трехсогласный корень доминирует в семитском корнеслове и традиционной семитской лексикографии не только количественно. Вся система грамматических способов регулярного словообразования и словоизменения, основанная на апофонии (чередовании) гласных или на сочетании апофонии с аффиксацией (так называемые деривационные и словоизменительные «модели»), «настроена» на трехсогласный корень.

Наиболее очевидно «настрой» трехсогласной грамматической системы проявляется в словообразовании и словоизменении: а) четырехсогласных корней, которые «укладываются» в модель, производную от трехсогласного корня, ср., например: четырехсогласный глагол *yu-zalzil-u* (<zlzl> «содрогается») укладывается в производную модель интенсификации (так называемой II породы) от трехсогласного, например: *qcb* > *yu-qarrib-u* «приближает» и т. п.; б) двусогласных корней, которые «подтягиваются» до трехсогласных¹ (об этом см. ниже).

Вопрос о формировании семитского корня — традиционная проблема исторического семитского языкознания и ставится по существу в двух аспектах.

Первым аспектом этого вопроса является структурно-количественный: был ли семитский корень исконно трехсогласным или же это результат развития из меньшего количества согласных — так называемых «двусогласных корневых ячеек»?

Вторым аспектом этого вопроса является проблема корневого вокализма и его места в процессе формирования семитского корня известного нам периода.

Консонантная часть слова, устойчивая семантически и фонетически (за некоторыми исключениями, которые также являются регулярными), сохраняющаяся при всех операциях словоизменения и словообразования, была, по видимому, достаточно очевидной, чтобы оказаться в поле зрения изобретателей консонантных семитских алфавитов². Не осталась

¹ В работе использованы следующие сокращения; С — согласный, цифра под С обозначает его позицию в корне; У — гласный, Ү — долгий гласный; С — geminirovанный согласный. Названия языков: акк. — аккадский; др.-евр. — древнееврейский; арам. — арамейский; араб. — арабский; эфиосемитские: геэз; тна. — тиграй (тигринья); ЭЮА — эпиграфические южноаравийские; СЮА — современные южноаравийские; САД — современные арабские диалекты; сем. — прасемитский; саф.-сафский (эпиграфический североаравийский); сир. — сирийский (арамейский).

² Однако недостаточность чисто консонантных семитских алфавитов в конечном счете приводила к усовершенствованию и дополнению их различными системами знаков, указывающих на качество и количество гласного.

она вне поля зрения и у первых арабских филологов, строивших лексикографию на основе выделенного консонантного корня.

Одновременно в результате эмпирических наблюдений арабские филологи средневековья обнаруживают в арабском языке целые группы синонимичных (или близких по значению) трехсогласных корней, различающихся только одним согласным.

В европейской семитологии XIX — начала XX в. на основе изучения известных к этому периоду семитских языков также принимается идея консонантного корня (см., например [1, с. 285—287; 2, с. 125—134; 3, с. 71—72]). Понятие консонантного корня (если рассматривать корень как одну из морфем) теоретически допустимо, как допустимы деривационные и словоизменительные консонантные морфемы. Однако это допущение может быть ограничено лишь наиболее короткими односогласными элементами. Консонантный корень в семитологии понимается не столько в историческом, сколько в синхронно-операциональном смысле (см. также [4, с. 88—90]). В синхронной типологии и морфологии консонантный корень является членом морфологической системы наряду с другими морфемами и рассматривается как типологический признак грамматических систем семитских языков.

Однако и в пределах условной операциональной трактовки семитского корня как консонантного он становится объектом исторического изучения, целью которого является проблема количества составляющих его согласных.

Упомянутые выше результаты эмпирических наблюдений арабских филологов послужили основой для развития в западном языкознании гипотезы об исходном двусогласном корне, развивающемся в результате сращения с формантами различного происхождения до трехсогласного (а также — четырехсогласного). Упрощенная схематизация этого гипотетического исторического процесса вызвала резкую критику со стороны автора одного из фундаментальных трудов по сравнительному семитскому языкознанию начала XX в. К. Брокельмана [1, с. 285—287, 605—608].

Признавая наличие ограниченной группы исконных двусогласных корней в семитских языках (главным образом — термины родства и названия некоторых частей тела), он выступил как сторонник гипотезы исконного трехсогласного семитского корня, объясняя все отклонения от этой структуры причинами фонетического и просодического характера³.

Отечественная семитология первой половины XX в. также не обошла вниманием эту проблему. Гипотеза о развитии трехсогласного корня в семитских языках из более древней двусогласной ячейки за счет сращения с дополнительным консонантным элементом лексико-грамматического происхождения наиболее последовательно и всесторонне разработана в 30—40-е годы XX в. в трудах Н. В. Юшманова, большая часть которых еще ждет своей публикации. Вкратце эта гипотеза изложена в его грамматике арабского языка [5, с. 42].

Гипотеза трехсогласной структуры семитского корня опиралась, несомненно, и на регулярную грамматическую систему, наиболее полно представленную в системе классического арабского языка.

Однако длительный процесс «выравнивания по аналогии» под давле-

³ В настоящее время подвергнуты критике некоторые более поздние гипотезы «двусогласия» в работе Р. Фогта [6]. Вместе с тем автор этой работы подчеркивает, что он рассматривает структуру трехсогласного корня в синхронном плане [6, с. 162], допуская возможность исторического «двусогласия» для некоторых групп корней, в частности, — со вторым геминированным согласным структуры C₁YC₂ [6, с. 209].

нием «трехсогласной» грамматической системы даже в арабском языке не является настолько тотальным, чтобы не сохранить ряд форм, которые не соответствуют трехсогласной морфологии и могут получить новую интерпретацию.

Новый этап в развитии исторического семитского языкознания начинается на основе первых результатов сравнительно-исторического изучения афразийской (семито-хамитской) семьи языков. Первые реконструкции общеафразийского корнеслова [7—9] позволяют сделать предварительные выводы, открывающие путь для конкретных исследований: а) реконструкция консонантно-вокалического афразийского корня принципиально возможна ⁴; б) афразийская реконструкция свидетельствует о существовании в праафразийском как большого количества двусогласных, так и трехсогласных корней ⁵; в) структура и состав праафразийского корня определялись законами структуры слога и древнейшей аффиксальной морфологией [11, 12; 13, с. 42—43, 46, 50].

Глубокая афразийская реконструкция создает предпосылки для нового подхода к традиционной проблеме формирования семитского корня и его консонантно-вокалической структуры. При этом необходимо подчеркнуть, что афразийская реконструкция большого пласта исходных двусогласных корней, как именных, так и глагольных, фактически снимает спорную проблему семитологии: «двусогласные ячейки» отодвигаются по шкале времени в период афразийской общности. Период общесемитской общности представляет уже трехсогласный корень — как ведущую структуру семитской морфологии ⁶. Ср., например, сем. **birk* «колено»; **nhr* «ноздря, нос»; **šmš* «солнце», **kalb* «собака» [15, с. 194—195], также **pVrVs* «лошадь» [16, № 9], **hrt* «возделывать землю» [16, № 1.10], **qbr* «копать, рыть» [17] и др.

Вместе с тем сравнительные исследования семитологов и афразистов последних лет свидетельствуют о том, что устойчивый семитский трехсогласный корнеслов сохраняет ряд древних некорневых формантов, которые выделяются на основе метода внутриязыковых и межъязыковых сопоставлений корней, идентичных по двум согласным и по семантике [18—21].

Согласно упомянутой гипотезе Н. В. Юшманова, часть именных трехсогласных корней сложилась за счет сращения исходной основы с классными показателями (см. также [22]); часть трехсогласных глагольных корней образовалась в результате сращения с глагольными морфологическими формантами [18—21] ⁷. В структурном отношении классные показатели и форманты занимают внешнюю (первую или последнюю) позицию в трехсогласном корне.

⁴ Большое количество афразийских корней, омонимичных по консонантному составу, корней, получаемых в результате реконструкции, может также служить косвенным свидетельством их семантического различия на афразийском уровне за счет различия гласных.

⁵ См., например, афразийские трехсогласные: **ptš* «открывать, создавать» [7, № 2]; **prš* «плод; отпрыск» [7, № 31]; **spš* «острие, шип» [9, № 7]; **šVnVç/*šš* «строить, укреплять» [10, с. 149, № 39], и некоторые другие, именные и глагольные корни.

⁶ Наиболее показательным исследованием в этой области является работа отечественного востоковеда С. С. Майзеля, представляющая оригинальную гипотезу о структуре семитского корня, построенную на явлениях амлотеизма и метатезы, характерных для семитских языков [14].

⁷ Специальное исследование по некорневым компонентам на сравнительном афразийском материале подготовлено нами для будущей публикации «Комплементы и структура корня в афразийском».

Формы	Языки				
	Акк.	Др.-евр.	Арам.	Араб	
Префиксальные основы	3 л. м. р. ед. ч.	$i-C_1C_2VC_3$	$yl-C_1C_2VC_3$	$yi-C_1C_2VC_3$	$ya-C_1C_2VC_3-u$
	-w-	$i-tūr$	$ya-qūm$	$yə-qūm$	$ya-qūm-u$
	-y-	$i-šim$	$ya-šim$	$yə-sim$	$ya-sir-u$
Суффиксальные основы	3 л. м. р. ед. ч.	$C_1VC_2VC_3$	$C_1VC_2VC_3$	$C_1əC_2VC_3$	$C_1VC_2VC_3-a$
	-w-	$kīn$	$qām$	$qām$	$qām-a$
	-y-	$šim$	$šēm$	$sām$	$sār-a$
	2 л. м. р. ед. ч.	$C_1VC_2C_3-āta$	$C_1VC_2VC_3-ta$	$C_1əC_2VC_3-t$	$C_1VC_2VC_3-ta$
	-w-	$kīn-āta$	$qam-ta$	$qām t$	$qum-ta$
	-y-	$šim-āta$	$šam-ta$	$sām-t$	$sir-ta$
Апфонические основы (+ аффиксация)	Имя действия	$C_1VC_2\bar{V}C_3-u(m)$	$C_1əC_2\bar{V}C_3$	$C_1əC_2\bar{V}C_3r$ $mi-C_1C_2VC_3$	$C_1VC_2C_3-u(n)$
	-w-	$kān-u(m)$	$qōm$		$qawm-u(n)$
	-y-	$šām-u(m)$	$šim$	$mə-hāk$	$sayr-u(n)$
Апфонические основы (+ аффиксация)	Причастие действ. залога	$C_1āC_2iC_3-u(m)$	$C_1āC_2ēC_3$	$C_1āC_2iC_3$	$C_1āC_2iC_3-u(n)$
	-w-	$kā'in-u(m)$	$qām$	$qāym, qā'em$	$qā'im-u(n)$
	-y-	$šim-u(m)$		$sā'em$	$sā'ir-u(n)$

Примечания 1) Для данной и последующих таблиц материалы почерпнуты из [26—45] соответственно расположению языков, а также из [5]. 2) Сем. **qwm* «стоять, вставать», **kyp* «быть» (акк. — «быть прочным»); акк. **šir* «поворачиваться, возвращаться»; ЭЮА **hwr* «посетиться»; геэз — «идти, возвращаться»; СЮА **zw* «посещать», акк. **šim* «назначать; устанавливать», евр. *šim*, араб. *sim*, геэз, ЭЮА *šum* «ставить, класть»; араб., СЮА, САД *šur* «идти»; араб. *malāk* «идти» (инф.); СЮА *mōyū* «умирающий», (<**mwl*), тва **šur* «нести»; СЮА *kw* «любить».

Гипотезу формирования группы трехсогласных корней за счет указанных формантов можно было бы условно назвать «морфологической».

Объяснению происхождения другой группы трехсогласных корней с сонорными и ларингалами может способствовать «фонетическая» гипотеза о слогаобразующих элементах афразийского корня — сонантах, переходящих в консонантные неслогообразующие составляющие корня [11, с. 42, 46], и — ларингалах, подвергшихся также процессу консонантизации и спирантизации [23, 24], процессу, который распространился также на переход таких полугласных, как **u/i*, в согласные *w/y*.⁸ Однако

⁸ Функция ларингалов и сонантов как слогаобразующих элементов древней корневой основы восходит к афразийскому периоду. В семитских языках сонорные и ларингалы выступают как их консонантные рефлексы в центральной или конечной позициях трехсогласного корня и являются членами консонантной фонетической системы семитских языков. В афразийский период сонанты и ларингалы в некоторых позициях могли также выступать в консонантной функции.

где $C_2 = \omega/\gamma (< *V)$

Языки				
Геэз	Тна	ЭЮА	СЮА	САД
$y\partial-C_1C_2VC_3,$ $y\partial-C_1VC_2C_2VC_3$	$y\partial-C_1C_2VC_3,$ $y\partial-C_1VC_2C_2VC_3$	$y-C_1C_2C_3$	$yi-C_1\partial C_2VC_3$	$yV-C_1C_2VC_3$
$y\partial-q\ddot{u}m,$ $y\partial-hawwer$ $y\partial-\ddot{s}im,$ $y\partial-\ddot{s}ayem$	$e-k\ddot{o}n, e-kewwen$ $y\partial-\ddot{s}im$	$y-br, y-ḥwr$ $y-\ddot{s}m$	$y\partial-z\ddot{u}r, y\partial-kw\ddot{o}r$ $y\partial-sy\ddot{u}r$	$y(i)-q\ddot{u}m$ $y(i)-s\ddot{i}r$
$C_1VC_2(V)C_3-a$	$C_1VC_2VC_3-a$	$C_1C_2C_3$	$C_1VC_2VC_3$	$C_1VC_2VC_3$
$q\ddot{o}m-a$ $\ddot{s}em-a$	$\ddot{s}or-a, sawar-a$ $\ddot{s}em-a, \ddot{s}ayam-a$	qm, qwm $\ddot{s}m, \ddot{s}ym$	$z\ddot{o}r, k\ddot{a}n$ $s\ddot{a}y\ddot{u}r$	qam $s\ddot{a}r$
$C_1VC_2VC_3-ka$	$C_1VC_2VC_3-ka$	$*C_1C_2C_3-k$	$C_1VC_2VC_3-ak$	$C_1VC_2VC_3-t$
$qom-ka$ $\ddot{s}em-ka$	$kon-ka$ $\ddot{s}em-ka$		$zar-k, kawr-ek$ $s\ddot{e}y\ddot{e}r-k$	$qum-t$ $sir-t$
$C_1VC_2\ddot{V}C_3$	$m\partial-C_1C_2VC_3$	$C_1C_2C_3$	$C_1VC_2C_3,$ $C_1VC_2VC_3$	$C_1VC_2\partial C_3$
$qaw\ddot{i}m$ $\ddot{s}ay\ddot{i}m$	$m\partial-kw\ddot{a}n$	$\ḥwr$ $\ddot{s}ym$	$ziw\ddot{o}r-et$ $m\partial-s\ddot{i}r$	$qoum, q\ddot{o}m$ $seyr, s\ddot{e}r$
$C_1\ddot{a}C_2iC_3-(ot)$	$C_1\partial C_2\partial C_3 i$	$C_1C_2C_3$	$C_1\partial C_2C_3-ona$	$C_1\ddot{a}C_2iC_3$
$q\ddot{a}w\ddot{e}m$ $\ddot{s}aw\ddot{e}m$	$koy\ddot{n}-\ddot{e}, m\ddot{a}wat-i$		$m\ddot{o}y\ddot{i}t, m\ddot{a}t-\delta na$ $s\ddot{i}r-\delta na$	$q\ddot{a}y\ddot{i}m$ $s\ddot{a}y\ddot{i}r$

сращение двусогласной «ячейки» с лексико-грамматическим формантом, процесс консонантизации слогаобразующих сонантов, глайдов и ларингалов, а также показанный ниже процесс разложения долгого гласного основы или геминации второго согласного основы (табл. 1, 2) являются лишь определенными способами «триконсонантизации» семитского корня. Сам процесс «триконсонантизации» должен быть обусловлен более общим и тотальным фактором. Предполагаем, что таким фактором может быть развитие морфологической системы: от аффиксальной — к аффиксально-апофонической.

Формирование трехслогового семитского корня сопровождалось формированием морфологической системы: наряду с аффиксальной системой, индифферентной по отношению к количественному составу консонантного корня и к слоговому составу корневой основы, складывается апофоническая система, основанная на чередовании гласных $\ddot{Y}/Y/\emptyset$ и, в ряде случаев, на чередовании C/\ddot{C} по определенным моделям. Действие новых апо-

Формы		Языки			
		Аkk.	Др.-евр.	Арам.	Араб.
Префиксальные основы	3 л. м. р. ед. ч.	$i-C_1V_2VC_3$	$yi-C_1C_2VC_3$	$yi-C_1C_2VC_3$	$ya-C_1C_2VC_3-u$
		<i>i-ḥrir</i>	<i>ya-sob</i>	<i>y-ʿl, nā-bbōz</i> (сир.)	<i>ya-firr-u, ya-frir-u</i>
	3 л. м. р. мн. ч.	$i-C_1C_2VC_3-ū$	$yi-C_1C_2VC_3-ū$	$yā-C_1C_2VC_3-ū(n)$	$ya-C_1C_2VC_3-ūna$
		<i>i-ḥrir-ū</i>	<i>ya-sobb-ū</i>	<i>y-ʿl-w</i>	<i>ya-firr-ūna</i>
Суффиксальные основы	3 л. м. р. ед. ч.	$C_1VC_2VC_3$	$C_1VC_2VC_3$	$C_1əC_2VC_3$	$C_1VC_2VC_3-a$
		<i>ḥarer</i>	<i>mar, saḥāb</i>	<i>ʿal</i>	<i>farr-a</i>
	2 л. м. р. ед. ч.	$C_1VC_2C_3-āta$	$C_1VC_2VC_3-ta$	$C_1əC_2VC_3-t(ā)$	$C_1VC_2VC_3-ta$
		<i>ḥarr-ēta</i>	<i>saḥb-ōta, sāḥab-ta</i>	<i>ʿl-t, ʿlal-tā</i>	<i>farr-ta</i>
	3 л. м. р. мн. ч.	$C_1VC_2C_3-ū$	$C_1VC_2əC_3-ū$	$C_1əC_2VC_3-ū$	$C_1VC_2VC_3-ū$
		<i>ḥarr-ū</i>	<i>sabb-ū, saḥab-ū</i>	<i>ʿall-ū</i>	<i>farr-ū</i>
Апофонические основы (+ аффиксация)	Имя действия	$C_1aC_2āC_3-u(m)$	$C_1aC_2ōC_3$	$-C_1əC_2ōC_3$	$C_1aC_2C_3-u(n)$
		<i>ḥarār-u(m)</i>	<i>-sob, saḥōb</i>	<i>mn-ʿl</i>	<i>farr-u(n)</i>
	Причастие действ. залога м. р. ед. ч.	$C_1āC_2iC_3-u(m)$	$C_1ōC_2ēC_3$	$C_1ōC_2eC_3$	$C_1āC_2iC_3-u(n)$
		<i>ḥārer</i>	<i>sobēb</i>	<i>ʿāʿel, ʿālel</i>	<i>fārr-u(n)</i>
м. р. мн. ч.	<i>ḥarr-ū</i>	<i>sobēb-īm</i>	<i>ʿāʿl-īn, ʿall-īn, ʿl-īn</i>	<i>fārr-ūna</i>	

Примечания. 1) Акк. *ḥrt* «копать»; др.-евр. *sbb* «окружать»; **mrr* «быть горьким»; араб. *ʿl* «входить, приходить»; араб. сир. **bzz* «ограбить»; араб. *frr* «бежать, убежать»; геэз *ndd* «гореть; сжигать»; *ḥḥḥ* «искать», *ḥbb* «быть мудрым»; тиа. *qll* «быть легким»; ЭЮА **gll* «покидать»; **kll* «оборудовать, завершать»; *dll* «служить проводником, указывать»; **hgg* «совершать паломничество»; СЮА *hmt* «мочь», *dll* «говорить»; *fgg* «расширить отверстие»; САД *md* «протгивать»; 2) В некоторых диалектах Имена геминация в ауслауте не отмечается (ср. [46]).

фонических моделей (производные глагольные основы, производные отглагольные имена; модели мн. числа имен «внутреннего образования» — «ломаное множественное») могло реализоваться только на базе трехсогласной основы. Примеру исконных трехсогласных имен последовали двусогласные именные основы с третьим согласным — бывшим формантом лексико-грамматического происхождения (например, — классный показатель) и двусогласные глагольные основы с третьим согласным — показателем-модификатором глагольного значения (некоторые из этих показате-

где $C_2 = \bar{C}_2$

Языки			
Гезз, Тна.	ЭЮА	СЮА	САД
$y\bar{a}-C_1C_2VC_3,$ $y\bar{a}-C_1VC_2C_2VC_3$	$y-C_1C_2C_3$	$yi-C_1C_2\bar{V}C_3$	$y(i)-C_1C_2VC_3$
$y\bar{a}-\check{h}\check{s}\check{e}\check{s}$	$y-\check{g}l$	$ye-dl\bar{u}l, ya-hm\bar{u}m$	$(\bar{a})y-mid(d)$
$y\bar{a}-C_1VC_2C_3-\bar{u},$ $y\bar{a}-C_1C_2VC_3-\bar{u}$	$y-C_1C_2C_3-w(n, -nn)$	$yV-C_1C_2\bar{V}C_3-(am)$	$y(\bar{a})-C_1C_2VC_3-\bar{u}(n)$
$y\bar{a}-nadd-\bar{u}, y\bar{a}-nad\acute{e}d-\bar{u},$ $y\bar{a}-\check{h}\check{s}\check{e}\check{s}-\bar{u}$	$y-\check{g}l-n$	$ye-dlawl,$ $ya-hm\bar{i}m-em$	$(\bar{a})y-midd-\bar{u}(n)$
$C_1VC_2(V)C_3-a$	$C_1C_2C_3$	$C_1VC_2VC_3$	$C_1VC_2VC_3$
$\check{t}abb-a, \check{h}a\check{s}a\check{s}-a$	kl	$hum(m)$	$mad(d)$
$C_1VC_2VC_3-ka$	$*C_1C_2C_3-k$	$C_1VC_2VC_3-Vk$	$C_1VC_2VC_3-t$
$\check{h}a\check{s}a\check{s}-ka$		$hum-m-ok$	$madd-\acute{e}t, maddey-t$
$C_1VC_2VC_3-\bar{u}$	$C_1C_2C_3-w$	$C_1VC_2VC_3-em$	$C_1VC_2(V)C_3-\bar{u}, -aw$
$\check{t}abb-\bar{u}, \check{h}\check{e}\check{s}\check{s}-\bar{u}, \check{h}\check{e}\check{s}\check{e}\check{s}-\bar{u}$	$dll-w$	$hum-m-em$	$m\bar{o}dd-\bar{a}, madd-aw$
$C_1VC_2C_3(-)$	$C_1C_2C_3$		
$\check{h}a\check{s}\check{s}-at, q\bar{o}ll$	dll, bg	$fegg-in$	$mad\bar{u}d$
$C_1aC_2iC_3$	$C_1C_2C_3$	$C_1\bar{a}C_2C_3-\bar{o}na$	$C_1\bar{a}C_2iC_3$
$\check{t}abib, qalil$			$m\bar{o}ded$
$\check{t}abib-\bar{a}n$	$C_1C_2C_3-n$		$m\bar{a}dd-in$

телей типа $n- / s- / h- / t-$ и т. п. остаются элементами морфологических систем современных семитских языков).

Давление трехсогласной морфологии привело также к фонетическому переразложению древнейшей группы корневых основ со слогаобразующими сонантами и ларингалами. Процесс переразложения этих основ сопровождался «консонантизацией» сонантов и ларингалов [23, с. 107—108].

Ниже мы рассматриваем две группы семитских двусогласных корней, сохраняющих в благоприятных условиях исходные структуры $C_1\bar{Y}C_2$ и

$C_1\bar{Y}C_2$ °. В соответствующих моделях эти структуры подвергаются три консонантизации по правилам трехгласной морфологии.

Следует подчеркнуть, что в этом исследовании мы опираемся на ре конструкцию системы кратких и долгих гласных общесемитского периода, для которого принята фонологическая система **a* : **i* : **u* и **ā* : **ī* : **ū** [З, с. 46—47; 15, с. 189]. Реконструкция афразийского вокализма и слоговой структуры корней может иметь другое решение.

Табл. 1 и 2 представляют двусогласные глагольные корни в основных семитских языках, в группах близкородственных семитских языков (ЭЮА, СЮА) или диалектов (САД), имеющих для всей группы сходные структурные модели личных глагольных форм и отглагольных имен. В этих таблицах рассмотрены наиболее характерные случаи сохранения или изменения двусогласного корня в зависимости от его позиции в словоизменительном или словообразовательном ряду форм.

Личные глагольные формы разделены условно на префиксальные и суффиксальные (их категориальные значения и названия в разных языках расходятся, однако структура остается общей). В префиксальном ряду имеются также примеры сочетания префиксальной основы с суффиксами или гласными окончаниями. Однако последние на исходную структуру не влияют. Об этом свидетельствует свободное варьирование форм в арабском и эфиосемитских языках (геэз, тна.) в табл. 2.

Каждому горизонтальному ряду конкретных форм предшествует горизонтальный ряд соответствующих трехгласных моделей. Качественный вокализм моделей различается по языкам, поэтому в моделях показана лишь общая слоговая структура.

Качественный вокализм модели отмечен для форм апофонического ряда и в некоторых других случаях, в которых качественная мена гласных морфологически релевантна.

Следует сразу же подчеркнуть, что общее различие префиксальной и суффиксальной основ также основано на апофонии гласных. Однако сохранение двусогласного состава как в префиксальной, так и в суффиксальной основах большинства языков свидетельствует о том, что действие апофонии в оппозиции «префиксальная : суффиксальная основы» может не затрагивать двусогласную структуру этих основ¹⁰.

Новообразования на базе трехгласной модели с геминированным C_2 в эфиосемитских языках обуславливают вторичные трехгласные формы (табл. 1): *yə hawwer* (< **hVr*), *e kewwen* (< **kVn*), возможно также и в ЭЮА, ср. две формы *y hr* и *y-hur*, где вторая отражает геминацию C_2 .

Изменение апофонической модели в префиксальной модели геэза (табл. 1) обуславливает вторичные трехгласные формы: *yə šayet* (< **sVm*); в СЮА: *yə-kwōr*, *yə-syūr* (< **kVr*, **sVr*).

Апофонические двусложные модели инфинитива, имен действия и причастия в южносемитских языках также обуславливают расширение корня до трехгласного. Однако некоторые префиксальные модели сохраняют двусогласный корень, ср. СЮА *mā-sir* и араб. *mā-ḥāk*.

В САД вторичный дифтонг в закрытом слоге создает вторичные формы $C_1\bar{Y}C_2$: *qōm* < **qawm*; *sēr* < **sayr*.

° Относительно группы исходных двусогласных корней, где $C_3 = w/y$, см. аналогичный анализ и сходную точку зрения в [25].

¹⁰ Сама по себе апофония гласных не связана с трехгласием и может действовать на базе более коротких корневых консонантных структур (ср., например, в некоторых кушитских языках оппозицию личных глагольных форм или оппозицию именных форм по числу [48]).

Табл. 2 показывает, что «триконсонантизация» корня $C_1Y\bar{C}_2$ за счет геминации $C_2 > \bar{C}_2$ является тотальной: \bar{C}_2 отмечается даже в самых благоприятных позициях, где префиксально-суффиксальная модель не связана обязательным трехсогласием; ср., например, 3 л. м. р. ед. ч. араб. *ya-firr u*, *farr a* и т. п., геэз *tabb-a*. *yə nadd-ū*. Диалектные формы САД *mad(d)*, СЮА *hum(m)* и подобные, а также др.-евр. *ya sob*, *mar* обусловлены позицией и являются вторичными.

Тот факт, что $\bar{C}_2 = C_2 + \bar{C}_2$, отражается далее в разложении \bar{C}_2 на два идентичных согласных в позициях, где возникает стечение более двух согласных за счет присоединения суффикса, начинающегося с согласного, ср. араб. 2 л. м. р. ед. ч. *farar-ta* (< **farr-ta*), геэз *ḥašaš-ku* (< **ḥašš ka*). Вместе с тем \bar{C}_2 сохраняется без «раздвоения» в аналогичных моделях 2 л. м. р. ед. ч. акк. *ḥarr-ēta*, где суффикс начинается с гласного, др.-евр. *sabb ōta* (наряду с *sābab-ta*, как и в араб. *l t / ʿalal-ta*), СЮА *hum-ok* и в других моделях с соответствующими суффиксами.

Большинство апофонических двусложных моделей инфинитива и частей также обусловило разложение $\bar{C}_2 = C_2 + \bar{C}_2$.

Свободные варианты типа араб. 3 л. м. р. ед. ч. *ya-firr-ū/ya-frir ū* или 3 л. м. р. мн. ч. геэз *yə-nadd u/ya-nadéd-ū*; *hešš ū/ḥešeš-ū*; др.-евр. *sabb-ū/ṣabab-ū* и подобные свидетельствуют об определенном периоде усиления воздействия трехсогласной морфологии и выравнивании по аналогии. Однако в САД «триконсонантизация» корня $C_1Y\bar{C}_2$ в некоторых суффиксальных основах происходит за счет «наращения» $C_3 = w/y$ и, соответственно, — за счет переразложения простой основы в основу II породы (интенсив) с морфологической геминацией C_2 , т. е. $C_1Y\bar{C}_2 > C_1Y\bar{C}_2Y (w/y)$, ср. формы 2 л. м. р. ед. ч. *madd ēt / maddey-t* 3 л. м. р. мн. ч. *maddaw* и др.

Напротив, в сирийско-арамейском форма 3 л. м. р. ед. ч. находят способ «триконсонантизация» за счет геминации C_1 : *nə-bbōz* (< **bVz*).

В СЮА апофоническая модель префиксальной основы с долгим гласным между C_2 и C_3 также обуславливает разложение \bar{C}_2 , ср. СЮА, 3 л. м. р. ед. ч. *yə-dlūl*, *ya-hmīm*, апофоническая модель формы 3 л. м. р. мн. ч. приводит к образованию вторичного дифтонга *yə-dlāwl* и т. п.

Табл. 3 и 4 представляют формы ед. и мн. числа именных основ от двусогласных корней * $C_1Y\bar{C}_2$ и * $C_1Y\bar{C}_2$.

Первичные основы * $C_1Y\bar{C}_2$ (табл. 3) отражены в акк. *šūr-u(m)*, *bīt-u(m)*, где гласное окончание не отражается на структуре основы. Вторичные основы араб. *bēt*, геэз, тна. *sōr*, *biēt*, СЮА *lōh*, ЭЮА *bt*, САД *tōr* обусловлены отсутствием гласных окончаний. Однако их предыдущая трехсогласная структура восстанавливается в апофонических моделях мн. числа (в др. евр. и араб. — также за счет геминации C_2 : др. евр. *batt im* < *bauyit*; араб. *batt-īn* < *bēt / bayt*).

Первичные именные основы * $C_1Y\bar{C}_2$ (как и глагольные) более устойчивы и сохраняют C_2 в большинстве позиций. Однако (как и в глагольных формах ряда языков) отсутствие геминации в некоторых позициях компенсируется удлинением гласного основы: ср. СЮА *šēb*, др.-евр. *šēn*, араб. *lēb-ō*, однако геминированный \bar{C}_2 восстанавливается в формах суффиксального множественного и, более того, разлагается на $C_2 + \bar{C}_2$ в апофонических моделях множественного: СЮА *he-šbōb*, др.-евр. *lābāb-ōt*.

Материал, рассмотренный в табл. 1 и 3, позволяет наметить реконструкцию процесса «триконсонантизации» для основ C_1wC_2 : < * $C_1\bar{w}C_2 / *C_1\bar{o}C_2$; для основ C_1yC_2 < * $C_1\bar{i}C_2 / *C_1\bar{e}C_2$. Основа * $C_1\bar{a}C_2$ могла дать оба рефлекса

Именной корень, где $C_2 = w/y$

Формы	Наяки								
	Акк.	Др.-евр.	Арам.	Араб.	Гезз	Тна.	ЭЮА	СЮА	САД
Ед. число	$C_1VC_2C_3-u(m)$	$C_1VC_2(V)C_3$	$C_1VC_2VC_3$, $C_1VC_2C_3-ā$	$C_1VC_2C_3-u(n)$	$C_1VC_2C_3$	$C_1VC_2C_3-i$	$C_1C_2C_3$	$C_1VC_2C_3$	$C_1VC_2(ə)C_3$
	<i>šūr-u(m)</i> <i>bīt-u(m)</i>	<i>šōr</i> <i>bayyit</i>	<i>tawr-ā</i> <i>bēt, bayt-ā</i>	<i>šawr-u(n)</i> <i>bayt-u(n)</i>	<i>šōr</i> <i>bayt</i>	<i>sor</i> <i>biēt</i>	<i>šwr</i> <i>bt, byt</i>	<i>lōh, lāwab</i> <i>hayr</i>	<i>šōr, šawr</i> <i>bēt, beyt</i>
Мн. число	<i>šūr-ū</i> <i>bīt-ū</i>	<i>šōr-īm</i> <i>batt-īm</i>	<i>tawr-īn</i> <i>batt-īn</i>	<i>šawar-at-</i> , <i>šiyār-</i> <i>'abyāt-</i> , <i>biyyūt-</i>	<i>aswār</i> <i>abyāt</i>	<i>aswār</i> <i>abyāt</i>	<i>'šwr</i> <i>'byt</i>	<i>ha-lwāh</i> <i>biyēr</i>	<i>ašwār, šūr-ān</i> <i>b(u)yūt</i>

Примечания. 1) Сем. *šwr «быть»; *byt «дом»; СЮА *lōh, lāwab* «доска» (араб. *lawh-*); *hayr* «осел»; 2) в ряде диалектов в непаузальной позиции отмечена структура *bayt, 'beyt* [47].

Именной корень, где $C_2 = \bar{C}_2$

Формы	Наяки								
	Акк.	Др.-евр.	Арам.	Араб.	Гезз	Тна.	ЭЮА	СЮА	САД
Ед. число	$C_1VC_2C_3-u(m)$	$C_1VC_2(V)C_3$	$C_1VC_2VC_3$, $C_1VC_2C_3-ā$	$C_1VC_2C_3-u(n)$	$C_1VC_2C_3$	$C_1VC_2C_3-i$	$C_1C_2C_3$	$C_1VC_2C_3$	$C_1VC_2(ə)C_3$
	<i>libb-u(m)</i> <i>šinn-u(m)</i>	<i>leb</i> <i>šēn</i>	<i>lib, libb-ā</i> <i>šēnn-ā</i>	<i>lubb-u(n)</i> <i>sinn-u(n)</i>	<i>leb</i>	<i>labb-i</i> <i>sənn-i</i>	<i>lb</i>	<i>he-lbēb</i> <i>šēb</i>	<i>ham(m)</i> <i>sinn</i>
Мн. число	<i>šarr-ū</i> <i>šinn-ūt</i>	<i>libb-ōt</i> , <i>labbāb-ōt</i>	<i>lebb-āwāt</i> <i>šinn-āyim</i>	<i>'albāb-ū(n)</i> <i>'asnān-</i> , <i>'asunn-</i>	<i>albab</i> <i>asnon</i>	<i>albab</i> <i>asnon</i>	<i>'lbb</i>	<i>he-lābb-et</i> <i>he-šbēb</i>	<i>h(ə)mūm</i> <i>asnān</i> , <i>s(ə)nūn</i>
Прилагательное				<i>'a-šall-u</i> , <i>'a-šlal</i> (саф.)					

Примечание. Сем. *lib «сердце», *šin «зуб»; араб., саф. *'ašall-* «сухорукий»; СЮА *šēb* «моноша» (араб. *šabb-*); САД *ham* «забота, печаль»; акк. *šarr-ū* «цари» (ед. ч. *šarr-*).

C_1wC_2 / C_1yC_2 . В целом реконструкция $*\bar{a}$ как корневого гласного требует дальнейшего исследования.

Материал, рассмотренный в табл. 2 и 4, позволяет наметить реконструкцию процесса «триконсонантизации» основ: $C_1Y\bar{C}_2 < *C_1YC_2$, где $*Y = *a / i / u$.

Способ триконсонантизации за счет w или y в табл. 1 и 3 обусловлен исходным вокализмом корневой основы. Вокализм долгих гласных является более устойчивым и сохраняет свое качество во всех благоприятных позициях или сохраняется в консонантных рефlekсах w / y .

Способ триконсонантизации в табл. 2 и 4 за счет геминации C_2 основан только на консонантизме и не обусловлен корневым вокализмом¹¹.

В соответствии с рассмотренным материалом центром, или очагом, наиболее активного процесса «триконсонантизации» является группа южносемитских языков. В арабской морфологической системе представлены некоторые переходные формы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Brockelmann C.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. Bd I. В., 1908.
2. *Гранде Б. М.* Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1972. С. 125—134.
3. *Moscatti S., Spittaler A., Ullendorf E., Soden W. von.* Comparative grammar of the Semitic languages. Wiesbaden, 1964.
4. *Cohen D.* A propos d'un dictionnaire des racines sémitiques // Atti del Secondo congresso internazionale di linguistica Camito-Semitaica. Firenze, 1978.
5. *Юшманов Н. В.* Грамматика литературного арабского языка. 3-е изд. М., 1985.
6. *Voigt R. M.* Die infirmen Verbaltypen des Arabischen und das Biradikalismusproblem. Stuttgart, 1988.
7. Сравнительно-исторический словарь афразийских языков. Вып. 1 // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Ч. IV. М., 1981.
8. Сравнительно-исторический словарь афразийских языков. Вып. 2 // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Ч. III. М., 1982.
9. Сравнительно-исторический словарь афразийских языков. Вып. 3 // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Ч. III. М., 1986.
10. *Militarev A. Yu., Orel V. E., Stolbova O. V.* Hamito-Semitic word-stock 1. Dwelling // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Ч. 1, М., 1989.
11. *Diakonoff I. M.* Problems of root-structure in Proto-Semitic // АО. 1970. V. 38. 4.
12. *Дьяконов И. М., Поргомоцкий В. Я.* О принципах афразийской реконструкции // Balcanaica. Лингвистические исследования. М., 1979.
13. *Diakonoff I. M.* Afrasian languages. М., 1988.
14. *Майзель С. С.* Пути развития корневого фонда семитских языков / Под ред. и с предисл. Милитарева А. Ю. М., 1983.
15. *Дьяконов И. М.* Языки древней Передней Азии. М., 1967.
16. *Милитарев А. Ю., Старостин С. А.* Общая афразийско-северокавказская культурная лексика // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Ч. 3. М., 1984.
17. *Милитарев А. Ю., Шнирельман В. А.* К проблеме локализации древнейших афразийцев // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Ч. 2. М., 1984. С. 36.
18. *Soden W. von.* als Wurzelaugment im Semitischen // Studia Orientalia. In memoriam C. Brockelmann. Halle, 1968.
19. *Zaborski A.* Biconsonantal Verbal Roots in Semitic // Zesz. nauk. Univ. Jagellonskiego. CCLXIX: Prace jezykoznawcze. 1971. 35.

¹¹ Процесс разложения гемината на два идентичных согласных распространяется в САД и на афофонические (морфологические) геминированные корневые согласные, ср. например, в восточноаравийских диалектах форму ед. ч. — *fallāh* «крестьянин» и форму мн. ч. *falālih* (в литературном арабском форма мн. ч. — *fallāh-ūna*) по аналогии с четырехсогласными основами.

20. *Conti G.* Studi sul bilitterismo in Semitico e in Egiziano. I. Il tema verbale λ - 1212. Firenze, 1980.
21. *Белова А. Г.* Структура корня в древнеегипетском и семитских языках // *Languages of the Middle East and Africa*. Warszawa, 1987.
22. *Дьяконов И. М.* Общеафразийские именные категории // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Ч. III. М., 1986.
23. *Petráček K.* Sur le rôle des modalités sonantiques dans l'élaboration de la racine en sémitique Arabica. 1987. T. XXXIX.
24. *Zemánek P.* The importance of doublets for diachronic study of languages. The case of Arabic // *Asian and African linguistic studies. III: Studia orientalia Pragensia*. Praha. 1988.
25. *Diem W.* Wie war die ursprüngliche Bildung der Verba und Nomina tertiae infirmae im Semitischen? // XIX. Deutscher Orientalistentag. Wiesbaden, 1977.
26. *Brockelmann C.* Semitische Sprachwissenschaft. 2. Aufl. Leipzig, 1916.
27. *Дупин Л. А.* Аккадский язык. М., 1964.
28. *Riemschneider K. K.* Lehrbuch des Akkadischen. 2. Aufl. Leipzig, 1973.
29. *Koeler L., Baumgartner W.* Lexicon in veteris testamenti libris. Leiden, 1958.
30. *Steuernagel C.* Hebräische Grammatik. 15. Aufl. Leipzig, 1967.
31. *Церетели К. Г.* Арамейский язык. Тбилиси, 1982.
32. *Segert St.* Altaramäische Grammatik. Leipzig, 1975.
33. *Jean Ch. F., Hofstijzer J.* Dictionnaires inscriptions sémitiques de l'ouest. Livres I, II. Leiden, 1960.
34. *Старинин В. П.* Эфиопский язык. М., 1967.
35. *Dillmann A.* Grammatik der äthiopischen Sprache. 2. Aufl. Leipzig, 1899.
36. *Conti Rossini C.* Lingua Tigrina. Milano, 1940.
37. *Leslau W.* Documents tigrigna (Éthiopien septentrional). Grammaire et textes. P., 1941.
38. *Бауэр Г. М.* Язык южноаравийской письменности. М., 1966.
39. *Beeston A. F. L.* Sabaic Grammar. Manchester, 1984.
40. *Biella J. C.* Dictionary of Old South Arabic. Sabaean dialect. Chico, 1982.
41. *Jahn A.* Grammatik der Mehri-Sprache in Südarabien. Wien, 1905.
42. *Johnstone T. M.* Mehri lexicon and English Mehri lexicon. L., 1987.
43. *Эль-Масараки М., Сегаль В. С.* Арабско-русский словарь сирийского диалекта. М., 1978.
44. *Johnstone T. M.* Eastern Arabian dialect studies. L., 1967.
45. *Jastrow O.* Zum Vokalismus der Mundart von Jiblah (Nordjemen) XX. Deutscher Orientalistentag. Wiesbaden, 1980.
46. *Grotzfeld H.* Dialektgeographische Untersuchungen in der Biqā' XX. Deutscher Orientalistentag. Wiesbaden, 1980.
47. *Cohen D.* Alternances vocaliques dans le système verbal couchitique et chamito-sémitique // Actes du I-er Congrès des études chamito-sémitiques. P., 1974.
48. *Zaborski A.* The morphology of nominal plural in the Cushitic languages. Wien, 1986.

© 1991 г.

КАЛАКУЦКАЯ Л. П.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

(в связи с выходом в свет Русско-японского словаря)

Русско-японский словарь [1] является самым большим по объему русско-японским словарем среди опубликованных в Японии и один из самых больших двуязычных японских словарей вообще¹. Он содержит около 260 тыс. словарных единиц. Словарь издан компанией Кэнкюся, специализирующейся на публикации двуязычных словарей (ею, в частности, неоднократно издавались большие англо-японские словари). Словарь готовился к печати большим коллективом японских русистов, в большинстве сотрудников Токийского университета иностранных языков и христианского университета Дзёти в Токио. Главным организатором работы был видный японский русист, переводчик художественной литературы, бывший профессор Токийского университета иностранных языков Масанобу Того. Как указывает М. Того в Предисловии, работа над словарем началась еще осенью 1961 г., во многом в связи с ростом интереса к СССР после запуска первого искусственного спутника Земли и полета Ю. А. Гагарина. Однако впоследствии эта работа прерывалась и лишь в 1988 г. словарь увидел свет.

Словарь основан на материале большого количества словарей русско-го языка. Среди них 28 разного рода словарей, изданных в СССР в 30—80-е годы, а также ряд опубликованных в других странах русско-английских, русско-немецких, русско-китайских и русско-японских словарей. Кроме того, использованы некоторые лингвистические работы, в том числе двухтомная Русская грамматика (М., 1980) и фонетические исследования Р. И. Аванесова. Иллюстративный материал, приводимый без указания источников, отражает современное обиходное словоупотребление; все примеры просматривались живущими в Японии носителями русского языка.

Как указывает М. Того в Предисловии, авторы стремились сделать словарь пригодным для как можно более широкого круга пользователей, от обучающихся языку до специалистов. Поэтому в нем совмещены свойства словарей разных типов. Среди всего состава словарных статей около 7500 выделено звездочкой; это наиболее важные и частотные лексические единицы. Таким образом, словарь одновременно может использоваться как учебный словарь-минимум; данные словарные статьи наиболее детальны и обязательно снабжаются иллюстративным материалом. Словарь также имеет и характер энциклопедического словаря, включая многие научно-технические термины и собственные имена (совмещение в одном словаре функций толкового и энциклопедического и помещение в него собственных имен — вообще характерная черта японской лексикогра-

¹ В предлагаемой читателю статье вступительная часть, посвященная общей характеристике Русско-японского словаря, написана В. М. Алпатовым.

фии). См., например, одну из словарных статей (с. 1853): «Пушкин, Александр Сергеевич (1799—1837) (далее в русском переводе.— А. В.) Пушкин — поэт, писатель, заложил основы современного русского языка; дружеские отношения с декабристами; убит на дуэли; „Евгений Онегин“».

Помимо этого, словарь имеет и функции грамматического словаря. В словарных статьях даны указания на тип склонения или спряжения, нестандартные (в том числе в акцентуационном отношении) словоформы даны списком в пределах словарной статьи. На основе детально разработанной системы грамматических помет и приложенных к словарю таблиц словоизменения читатель может получить полную информацию о парадигме.

Наряду с основным корпусом словаря имеются словарь аббревиатур и сокращений (около 1500 единиц), составленный по материалам Словаря сокращений русского языка (М., 1983 г.), и словарь русских личных имен и фамилий (более 2000 единиц). К словарю приложен подробный очерк фонетики и акцентуации русского литературного языка.

*

В Начале было Слово. В начале каждой словарной статьи Русско-японского словаря дано русское слово. Таких слов, как сказано выше в этом словаре около 260 тысяч. Для сравнения — самый большой словарь русского языка (Словарь современного русского литературного языка в 17-ти томах, М.; Л., 1950—1965; далее — ССРЛЯ) включает 120 тыс. 480 слов². Приближающийся к нему по объему словника Орфографический словарь русского языка в разных изданиях имеет от 106 до 110 тыс. слов. Начатое в 1961 г. строительство моста между столь отдаленными языковыми континентами, какими являются русский и японский языки, было завершено в 1988 г. Каким же предстал с того берега русский язык?

Без преувеличения можно сказать, что открылась картина для русской лексикографии совершенно поразительная. И не только потому, что более чем в два раза был увеличен объем русских слов, представленных в о д н о м словаре, и не только потому, что в русской части Русско-японского словаря явился совершенно непривычный для русской лексикографии т и п словаря, но и, может быть, прежде всего потому, что русское слово в этом словаре, оказавшись в окружении японских толкований, как-то необычайно высветилось, словно мы увидели его через сильное увеличительное стекло. Русское слово в таком окружении оказалось в зоне особого (ясного) внимания, отчего достоинства и недостатки русской лексикографии, послужившей основой для рецензируемого словаря, предстали чрезвычайно высвеченными.

1. Словник. Наиболее непривычным для русской лексикографии моментом явилось включение в общий словник словаря собственных имен: топонимов, личных имен, фамилий деятелей мировой и русской культуры, названий художественных произведений, персонажей этих произведений. Разумеется, авторы и редактор Русско-японского словаря думали о японцах, которым в океане русского языка предстоит иметь дело в равной мере с апеллятивной, топонимической, антропонимической и разной прочей лексикой. Они хотели, чтобы созданный ими словарь оказался

² «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля включает «более двухсот тысяч слов» (М., 1978. с. VIII); словарь В. И. Даля не называется в ряду источников Русско-японского словаря (с. 2763), поскольку последний ориентирован на современные русские словари.

своеобразной лодией в этом плавании, и постарались максимально точно обозначить все рифы, мели и айсберги, которые с неизбежностью встретятся на пути каждого японца, бросившегося в океан русского языка. Это безусловно правильное решение авторского коллектива, и его можно только приветствовать.

Построенный таким образом словник позволяет объективно оценить нашу русскую традицию разделять словари на толковые (лексикографические) и энциклопедические и не нарушать чистоты жанра ни тех, ни других. Но так ли уж бесспорно это разделение? И идет ли оно во благо русскому языку и носителям русского языка, пользующимся этими разделенными изданиями? Ведь в языковом пространстве апеллятивы, топонимы и антропонимы встречаются и сосуществуют вместе. И вот имя *Наполеон* со всей сопутствующей ему (и им, поскольку *Наполеонов* несколько) информацией вы найдете только в энциклопедии, а образованные от него слова *наполеоновский*, *наполеонизм*, *наполеондор* (монета) — в толковых, *наполеон* «пирожное» — только в Орфографическом словаре, а модный в последние годы коньяк *наполеон* — нигде. То же касается королевского имени *Луи* и названия монеты *луидор*, имени императрицы *Екатерины* и названий монеты *екатериновка*, *екатеринка*, *катеринка* и *катенька* (впрочем, названия этой монеты можно найти только в Русско-японском словаре). Как, например, в русских словарях дается слово *бордо*? Оно имеет два значения: *бордо*¹ — вино и *бордо*² — цвет (по вину). Но в действительности здесь в первом значении отсутствует первоначальное слово, послужившее основой для названия, — вино названо по местности *Бордо* (*Bordeaux*), т. е. по месту произрастания винограда и производства вина. Для вин это один из основных способов их названия: *шампанское* — из *Шампани* (отсюда *советское шампанское* — т. е. не из *Шампани*), *цимлянское* — по названию станции *Цимлянская* на Дону. В толковых словарях (17-томном и 4-томном) приводится прилагательное *бальзаковский* (возраст) при естественно отсутствующей самостоятельной словарной статье *Бальзак*. При толковании вышивки *ришелье* говорится, что она имеет такие-то дырочки и пр. Но разве не существеннее было сказать, что эта вышивка получила свое название по имени кардинала *Ришелье*, который ввел в моду воротники, вышитые соответствующим образом.

Когда в толковых словарях приводятся слова *стол* — *столоваться* — *столоначальник* — *столяр*, то тем самым у носителей русского языка эти слова связываются в определенной последовательности и объясняются одни через другие даже без дополнительных толкований этимологического характера. Но мы нарушаем эту логику языковых связей для слов, образованных от имен собственных. Русско-японский словарь дает *Магомет* (*Мухаммед*) и *магометанин*, *магометанский*, *магометанство* самостоятельными словарными статьями. В наших же лингвистических словарях самостоятельной словарной статьи *Магомет*, разумеется, нет. В ряде случаев такой разрыв приводит к ошибкам: например, *буденовка* вошла в литературный язык с одним *н* (т. е. с орфографической ошибкой), хотя название этого головного убора произошло от фамилии *С. М. Буденного*, пишущейся с двумя *н*. Такое написание *буденовки* колеблет орфографию другого апеллятива, образованного от этой фамилии, — *буденновец* встречается в двойном написании, и с двойным и с одним *н* (например: ...репродукция картины, на которой намалеваны жолнежи Пилсудского, вонзающие штыки в *буденновцев*. — «Эхо планеты», 1989, № 20, с. 13).

Апеллятив *петрушка* и производные от него *петрушечник* и *петрушечный* и выражение *какая-то петрушка вышла* не связываются в созна-

нии носителей русского языка с именем *Петр*. Между тем такая же связь между именем и персонажем народного театра существует и во французском языке. Недавно, к столетию А. А. Вертинского, был поставлен спектакль «Мираж, или Дорога Пьеро», в котором Анастасия Вертинская исполняла роль отца. В афишах спектакля и в газете «Советская культура» (21 марта 1989 г.) *Пьеро* был написан с прописной буквы, между тем в данном случае речь идет не об имени *Пьеро* — а о персонаже народного театра, и здесь по смыслу должна быть строчная буква. Со строчной это слово дается и в Русско-японском словаре. Опять русская лексикографическая традиция разделять имена собственные и appellatives проявляется в подобных ошибочных написаниях, она мешает носителям языка сопоставлять в пределах одного словаря *Пьеро* — имя собственное и *пьеро* — персонажа народного театра, лишая их необходимых сведений, которые могли бы быть почерпнуты из обычного толкового словаря, и в результате приводит к орфографическим ошибкам.

При традиционно сложившемся разделении словарей на лексические (толковые) и энциклопедические культурно-языковые потери для носителей русского языка и для всей русской культуры оказываются весьма значительными. Так, даже в четырехтомный Словарь языка Пушкина (М., 1956—1961) не были включены (за редкими исключениями) собственные имена. Но какой же это язык Пушкина, лишенный собственных имен, это по крайней мере уполовиненный язык Пушкина. В результате даже в лучших изданиях Пушкина допускаются грубые анахронизмы. Так, в стихотворениях, при жизни Пушкина не издававшихся и никак у него не названных, появляются названия: *Ек. Н. Ушаковой* («Когда бывало в старину») и «В отдалении от вас»). Эти названия в собраниях сочинений не взяты в угловые скобки, которые являются знаком, что данный текст или даже часть слова не принадлежат Пушкину. В оглавлении такие стихотворения помечены * (звездочкой), но в самом тексте они неискушенным читателем (а их — большинство) могут рассматриваться как принадлежащие Пушкину. Между тем сам Пушкин (и его современники) форму личного имени *Екатерина* могли употреблять лишь по отношению к святой *Екатерине* или императрицам. Достаточно сравнить два пушкинских текста:

На день святой *Екатерины*...

и

Натали, Софьи, *Катерины*...

В такой же мере анахронизмом является название стихотворения, также не печатавшегося при жизни Пушкина — «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной» («Земли достигнув наконец»). Оставим в стороне правомерность появления в названии слова *акафист*, но дочь Карамзина и его жену Пушкин называл только *Катериной Николаевной* и *Катериной Андреевной* и не мог называть иначе в соответствии с языковой нормой своего времени (и в этом названии отсутствуют в тексте угловые скобки).

Казалось бы, что к стихотворениям, не печатавшимся при жизни Пушкина, у редакторов должно быть наиболее осторожное отношение и все непушкинское желательнее отмечать в тексте. Особенно это касается форм личных имен, склонения фамилий. Перерыв в языковой традиции привел к утере нормы, свойственной пушкинскому и более позднему (до начала революции) времени, в результате чего и стали возможными приведенные анахронизмы. Необходимо сказать, что в Русско-японском сло-

варе в списке собственных имен в конце словаря форма личного имени *Катерина* дается как самостоятельно существующая на своем алфавитном месте с отсылкой к форме *Екатерина*.

Анахронизмом для пушкинского времени является и несклоняемая форма фамилии *Хитрово* (несклоняемая форма у этой и подобных ей фамилий типа *Благово*, *Дурново* и др. стала возможной лишь в конце XIX в.) Свои письма Пушкин мог адресовать дочери Кутузова только как *Л. М. Хитровой*. Достаточно сравнить строку из его письма, ставшую названием для его музея — «В доме *Хитровой* на Арбате».

Разумеется, если бы собственные имена были включены в Словарь языка Пушкина, ономастическая норма языка его эпохи стала бы более очевидной, во всяком случае ее легче было бы извлечь из текстов самого Пушкина, собранных вокруг одного имени и разных форм этого имени, и анахронизмы, подобные вышеупомянутым (а также многие другие), не появились бы в собраниях сочинений Пушкина. Поистине — скупой платит дважды, а расплачивается русская культура и все мы вместе с нею.

Вернемся к анализу словника Русско-японского словаря. В нем наряду со словарной статьей *карамазовщина* приводится статья *Карамазовы* [Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы». Фёдор, Дмитрий, Иван, Алёша (Алексей)]. За статьей *Обломов* (И. А. Гончаров. «Обломов») следуют статьи *обломовец*, *обломовский* (обломовский тип, по обломовски), *обломовщина*. Следующий за этими статьями апеллатив *обломок* (обломки корабля, обломки старого поколения) делает для носителя русского языка ка попятным выбор фамилии для Ильи Ильича. В Русско японском словаре отсутствует *Обломовка*, которая в приведенном ряду была бы уместна, поскольку она имеет те же литературные, психологические и семантические коннотации, что и приведенные в словаре слова.

В Русско-японском словаре дается словарная статья *Ежов Николай Иванович* (1895—1939), за ним следует апеллатив *ежовщина* (1937—1939) — эта фамилия и этот апеллатив отсутствуют пока в наших энциклопедиях и в наших лингвистических словарях. За *ежовщиной* по алфавиту следует прилагательное *ежовый* с фразеологизмом *держат в ежовых рукавицах*. Образуемое семантическое микрополе является игрой жизни (и смерти) в отличие от вышеприведенной языковой ситуации с сознательным выбором И. А. Гончаровым фамилии для своего героя. Однако для носителей русского языка эта трагическая игра слов не прошла незамеченной: в 1937 г. появилось выражение *ежовы рукавицы* (Огонек, 1989, № 13) — рукавицы, связанные не с безобидным в сущности ежом, а непосредственно с Николаем Ивановичем Ежовым. Таким образом, русский язык наряду с *ежовщиной* обогатился еще одним образованием от этой фамилии (точнее, от личности, носящей эту фамилию, ведь фамилия ответственности за личность не несет).

Трудно даже представить, как много мы, русские, теряем, разделяя имена собственные и нарицательные (апеллативы) по разным ведомствам, и как много могли бы приобрести, имея их вместе хотя бы в одном большом словаре. Ведь словарь это не только слова, следующие один за другим в алфавитном порядке, но и целый мир, особая ноосфера, которая заключена, например, в «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля. Даль, очевидно, не боролся за чистоту принципа, не делил русские слова на овец и козлищ. Есть в его словаре и словарная статья на имя *Иван*: «Самое обиходное у нас имя», — пишет он и приводит поговорку. — «Иванов, что грибов поганых». В наших же толковых словарях приво-

дятся лишь апеллятивы от этого имени, например, название растения *иван-да-марья*; но о чем может говорить это слово, когда нет в словарях ни *Ивана*, ни *Марьи*. А этот распространенный цветок, даже и в наше гиблое для всякой растительности время, назван самыми распространенными в России именами. Приводится в толковых словарях *иван-чай*, но при отсутствующем в словарях имени *Иван* и это название лишается своих естественных языковых связей.

В Русско-японском словаре дается и *Иванушка*, и *Иванушка-дурачок*, занимающий, по словам В. И. Даля, «первые места в русских сказках». Это тот *Иванушка-дурачок*, который оказывается в конце концов самым мудрым. В русских толковых словарях, правда, приводится название игрушки *ванька-встанька*, но она имеет в них лишь чисто номинативное значение «куколка в виде круглой или овальной фигурки, которая встает, как бы ее ни положили» и лишена глубинных языковых связей, ненавязчиво проявляющихся в подобных названиях и реалиях национального самосознания (а *ванька-то* опять *встанька!*).

И оказываемся мы в своих словарях «Иванами, не помнящими родства», разрушающими естественную языковую связь слов, а носителей русского языка лишаящими тех основных смыслов, которые даются не в толкованиях лексикографов, а появляются сами из соседства слов и всего их окружения и вытекают не непосредственно из значений, а существуют как бы над нами, что и несет в себе сам язык и сохраняет в себе хорший словарь.

Включения собственных имен в словник Русско-японского словаря сделаны с большой тщательностью. В ряде случаев они содержат более правительные рекомендации, чем в источниках, из которых они могли быть извлечены. Например, мужское имя *Илларион* дается в тексте словаря только в написании с двойным *л*. В приводимом в конце словаря сводном списке антропонимов данное имя жирным шрифтом дается с двойным *л*, а светлым, в скобках — с одним. Эта рекомендация сама по себе удивительна, потому что она полностью соответствует распределению двух форм имени в литературном языке: именно нормативной литературной формой является написание с двумя *л*. Оно последовательно сохранялось у всех светских носителей этого имени на протяжении по крайней мере двух веков — XIX и XX (например, : *Михаил Илларионович Кутузов*, *Мария Илларионовна Твардовская* и мн. мн. другие), тем не менее рекомендованной всеми антропонимическими словарями («Словарь русских личных имен» Н. А. Петровского, М., 1966; Справочник личных имен народов РСФСР, М., 1979.) и антропонимическим списком в Орфографическом словаре русского языка была только форма *Иларион* — т. е. каноническая форма имени, принятая у духовных лиц (например, митрополит *Иларион* — автор «Слова о законе и благодати»). В Словаре Н. А. Петровского есть даже следующая загадочная рекомендация: *Иларион*, разг. (sic!) *Илларион* (как будто в этом далеком от ударения слогe можно произнести двойное *л*). Итак, Русско-японский словарь приводит абсолютно правильную рекомендацию для этого имени вопреки неправильным рекомендациям всех русских антропонимических словарей и списков.

Не менее удивительна и другая рекомендация Русско-японского словаря. Во всех советских энциклопедиях фамилия графов *Мусиных-Пушкиных* — Ал. Ив. (1744—1817) историка и археографа — издателя «Слова о полку Игореве» и «Русской правды» и Аполлоса Аполлосовича (1760—1805) — русского химика и минералога имеют ударение на первом слогe:

Мусин-Пушкин, как если бы эта фамилия произошла от диминутива *Муса*, а не от *Мусы* («Моисея») — от которого она была произведена в действительности. Происхождение фамилии графов Мусиных-Пушкиных описано в родословных книгах и в работе Н. А. Баскакова [2]. Но главное — произношение этой фамилии хорошо известно по «Моей родословной» А. С. Пушкина:

Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богат, не царедворец,
Я сам большой: я мещанин.

Неужели никому из участников работы над тремя изданиями БСЭ и несколькими изданиями однотомного энциклопедического словаря не пришли на память строки «Моей родословной»? Не пришли, хотя в этом же, однотомном энциклопедическом словаре (М., 1984) приводится фамилия *Мусин Рашид Мусинович* (р. 1927) — сов. гос. парт. деятель, а исторически известная фамилия графов *Мусиных-Пушкиных* по-прежнему сохраняет свое ударение *Мусины Пушкины*.

В Русско-японском словаре эта фамилия имеет соответствующее ее происхождению ударение *Мусин-Пушкин*. Она приводится в списке собственных имен в конце словаря на с. 2733. Приходится признать, что японцы лучше знают фамилии наших исторических лиц и лучше знают Пушкина.

Итак, пределы пространства русского языка в Русско-японском словаре сознательно раздвинуты. Представленные в алфавитном порядке 260 тыс. русских слов, апеллятивов и собственных имен составляют культурно-языковое поле невиданной для русской лексикографии силы и обладают высокой степенью толкования уже по одной простой причине, что в нем в одном ряду оказались слова, не находившиеся рядом друг с другом. Образовавшаяся «промежуточная зона» (или «ничейная территория», или «нейтральная полоса») обладает способностью заставить слова «сиять заново».

II. Распределение слов русского языка по ведомствам — лексикографическому и энциклопедическому — создало специфическую ситуацию: разные нормы, разные рекомендации, принятые в том и другом ведомстве. Энциклопедии объединяют вокруг себя специалистов самых разных областей знаний. Эти специалисты, толкуя слова и явления, в которых они хорошо разбираются, не склонны проверять себя по лингвистическим изданиям. Лексикографы, со своей стороны, игнорируют сложившиеся в энциклопедиях специфические нормы, полагая свое ведомство выше. Так к концу XX в. и сложились две, как правило, пересекающиеся, сферы языкового употребления в какой-то мере со своими особыми нормами.

В Русско-японском словаре эти две сферы пересеклись, поскольку среди источников (на с. 2763 указано тридцать семь наименований) названы Большая Советская энциклопедия (в тридцати томах); Советский энциклопедический словарь (изд. 4 е, М., 1986); А. Ф. Трешников, Географический энциклопедический словарь, географические названия (М., 1983); Ал. А. Федоров, Жизнь растений (в шести томах, М., 1974—1982) и др. Поэтому в этом словаре сведены две нормы — лексикографическая и энциклопедическая, — т. е. приводятся варианты слов, сосуществующие в современном русском литературном языке.

Приведем некоторые примеры. Так, слово *каббала* в значении «средневековое мистическое учение в иудаизме» во всех русских и советских

энциклопедиях, начиная с Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (двух изданий), и далее — в трех изданиях Большой Советской энциклопедии, в Советском энциклопедическом словаре (М., 1980), в энциклопедическом словаре Мифы народов мира (в двух томах, М., 1980), в Философском энциклопедическом словаре (М., 1983) приводится с двойным *б*. Двойное *б* последовательно дается не только во всем гнезде слов — *каббала*, *каббалистика*, *каббалист*, *каббалистический*, но и сохраняется во всем корпусе энциклопедий (например, БСЭ-3, т. 11, с. 95; т. 18, с. 348; Филос. энцикл. словарь, с. 238, 438 и т. д.).

Во всех изданиях Орфографического словаря, в Орфоэпическом словаре (М., 1983), во всех толковых словарях (кроме Словаря под ред. Д. Н. Ушакова и ССРЛЯ) это слово и его производные даются с одним *б*.

В Русско-японском словаре оба эти орфографических варианта даются на своем алфавитном месте: *кабала*² и *каббала* = *кабала*². Так же дается и слово *эпитимья* и *эпитимия* = *эпитимья* (следует отметить, что слово *эпитимья* дано в словаре с неправильным ударением; чаще это слово при таком написании имеет ударение *эпити́мья*).

Показательна судьба лексикографической фиксации слова *эпити́мья* (*эпитимья*). Слова с начальным греческим *επι...* имели в русской литературной традиции двойную транскрипцию — с *эпи...*: *эпигон*, *эпиграф*, *эпиграмма*, *эпилог*, *эпистолярный*, *эпиталама*, *эпитафия*, *эпитет* и т. д. и с *эпи...*: *епископ* (ср. *эписко́п* — прибор), *епархия*, *эпитрахиль* и др. *Эпитимья* (*эпитимья*) имела в литературном языке два основных варианта, связанных с двойкой транскрипцией начального греческого *επι...* В Словаре языка Пушкина приводится только вариант *эпити́мья* и сопровождается несколькими примерами. В трех изданиях БСЭ жирным шрифтом дается *эпити́мья* и в скобках светлым *эпитимья*. Во всех лингвистических словарях дается только одна форма — *эпитимья́* (кроме ССРЛЯ, в котором указываются оба варианта).

Приведенные примеры сосуществующих в литературном языке вариантов слов *кабала* — *каббала* и *эпитимья* — *эпитимия* представляют собой лишь часть из достаточно обширного ряда подобных вариантных форм слов. Но и они наглядно демонстрируют ригористический подход лингвистических словарей в вопросах нормативных рекомендаций. Этот подход может быть охарактеризован несколько видоизмененной формулой: «Другого не дано!». Признается правильным и рекомендуется всегда только один из сосуществующих в языке вариантов, что безусловно обедняет картину реального языкового мира³.

Что же остается за пределами рекомендаций лингвистических словарей? Для вариантов *эпитимья́* — *эпити́мья* только *эпити́мья* встречается у А. С. Пушкина («Капитанская дочка»), у В. А. Жуковского (Не пишу сам, потому что теперь на целый месяц наложил на себя *эпитимию* молчания. — Из письма), в разных рассказах А. П. Чехова (Ефрем стал объяснять Кузьме, что нужно сделать, чтобы загладить грех: нужно покаяться попу и наложить на себя *эпитимию*. — «Встреча», а также «Панихида» и др.), у В. Я. Брюсова (Врубель, смутясь, ответил, что на него наложена *эпитимья*. — «Последняя работа Врубеля») и мн. другие.

В отношении вариантов *кабала* — *каббала* см., например, у А. И. Герцена: «План войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона...; на все

³ Подобный упрощенный взгляд на язык непрямым образом связан с социальным сознанием. «Центральной характеристикой тоталитарного сознания представляется вера в простоту мира. Стереотипы могут быть позитивными или негативными, но они всегда представляют собой фатальное обеднение реального многообразия мира...» [3].

возражения он отвечал *каббалистическим* словом „Москва“; в Москве догадался и он» («Былое и думы»). В энциклопедическом словаре «Мифы народов мира» в статье «Иудаистическая мифология» о *каббале*, *каббалистах*, *каббалистической* литературе пишет С. С. Аверинцев, естественно, не справляясь о написании хорошо известного ему слова в Орфографическом словаре. Не выглядят ли в данном случае Орфографический словарь, Орфоэпический словарь (и следующие за ними толковые словари) как поручик Ромашов, который один идет в ногу? Представляется, что когда лингвистическими словарями — Орфографическим, Орфоэпическим, толковыми фиксируются слова типа *епитимья* — *эпитимия*, *кабала* — *кабала*, орфографическая и орфоэпическая нормы для них должны быть более гибкими. Письменный литературный язык имеет протяженность около двухсот лет, связанные с этой протяженностью во времени колебания в написании (и ударении) некоторых слов нельзя выровнять до примизны телеграфного столба, оставляя, таким образом, за чертой орфографической и орфоэпической норм высокие образцы литературного языка, имевшие и имеющие различающиеся написания и произношения, в каких бы жанрах они ни встречались — в художественной прозе, в художественном чтении или в энциклопедиях.

Русско-японский словарь, имея в числе своих источников и русские лингвистические словари и русские энциклопедии, строит на их фундаменте общий словник, и его рекомендации оказываются менее ригористичными и более адекватными языковому употреблению. Стоило бы воспользоваться опытом Русско-японского словаря.

Вообще следует отметить внимание Русско-японского словаря к реальному употреблению слов в языковой практике. Поразительно, но словарь отмечает варианты, игнорируемые русскими словарями. Так, например, ни в одном словаре нельзя найти написания *мэтр* для значения «учитель, наставник», в то время как в печати соотношение написаний *мэтр* и *метр* равняется примерно как девять к одному, т. е. практически во всей периодической печати (в газетах, журналах, книгах) слово в этом значении пишется через *э* — *мэтр* (рекомендации словарей, как видим, игнорируются), Русско-японский словарь на своем алфавитном месте приводит это написание.

Или давая при *Сан-Франциско* прилагательное, Русско-японский словарь приводит его в двух формах: *сан-францисский*, *сан-францискский*. Этого прилагательного нет ни в Орфографическом, ни в Орфоэпическом словаре — в энциклопедиях оно дается в одной форме — *Сан-Францискская* конференция, *Сан Францисский* мирный договор. Однако выбор из двух возможных прилагательных условен и безусловен, если всеми словарями даются параллельно прилагательные *дамасская сталь*, но *баскский язык*. Логично, что в языковой практике существует и второе прилагательное — *сан-францискский*; например: Думаю, пора бы посвятить полосу ... о. Иоанну *Сан-Францискскому*, урожденному князю Шаховскому (Андрей Вознесенский в Лит. газ. 6 сент. 1989 г.).

III. Словник Русско-японского словаря имеет еще одну непривычную для русской лексикографии характеристику: семь с половиной тысяч слов помечены в нем звездочкой (ею отмечается только аппеллятивная лексика) — так выделен в нем, если пользоваться терминологией известной сталинской статьи, «основной словарный фонд языка». Для русского читателя словаря остается неясным, почему были выделены именно эти слова, чем объясняется именно такое их количество и на основе каких источников они выделялись. Все это составляет тайну словаря. Но сама

эта тайна нисколько не мешает возможности получения разного рода абстрактных и конкретных лексикографических сведений о данном континенте слов и его соотношении со словарем в целом.

Прежде всего, естественно возникает вопрос, семь с половиной тысяч слов — это много или мало? Так, например, в статье Ген. Хохрякова «Мафия в СССР» (Юность, 1989, № 3) было сказано, что «среднестатистический современный человек употребляет в обиходе не более полутора тысяч слов». «Краткий толковый словарь» под ред. В. В. Розановой (М., 1985, изд. 4-е, стереотипное) содержит «примерно 5000 слов» (с. 4), а словарь под ред. Н. М. Шанского называется «4000 наиболее употребительных слов русского языка» (М., 1981, изд. 2-е). Эти два словаря представляют хороший материал для сравнения. Таким образом, семь с половиной тысяч слов, отмеченных звездочкой в Русско-японском словаре, — это в полтора раза больше, чем приводится в наших словарях употребительной лексики. Для наглядности сопоставим некоторые примеры из этих словарей, например, слово *добрый*, которое дается во всех трех словарях.

Словарь по ред. Шанского: *добрый* (-ая, -ое, -ые; кр. ф. добр, добра́, до́бро, до́бры и до́бры) *кач. прил.* 1. Добрый человек. Добрая женщина. Доброе сердце. Добрые глаза. Вы очень добры́ ко мне. Будьте добры́ закрыть за собой дверь. 2. Добрый день! Добрый вечер! Доброе утро! Желать доброго здоровья.

Словарь по ред. Розановой: до́бр'ый-, -ая, -ое, -ые: добр, добра́, до́бр'о. -ы и до́бры. Такой, который всегда готов сделать для других что-н. хорошее, полезное, который относится к людям с расположением, сочувствием; выражающий такое отношение; противоп. зло́й (в 1-м знач.). Добрый человек. Добрая улыбка. Добрые глаза. ◇ Доброе утро (с добрым утром), добрый день, добрый вечер — приветствия при встрече (утром, днем, вечером). Всего доброго, см. Весь. По доброй воле — добровольно, по своему желанию.

Русско-японск. словарь: до́брый, добр, добра́, до́бро, до́бры/до́бры. до́брее, до́брейший 1 а) (↔ зло́й). до́брый человек [друг, муж] / ~рое сердце / человек с ~рым характером / Он до́бр ко мне[со мной] / Она была так ~бра́, что обещала мне помочь в) / ~рое (до́бро¹ 1) с) с ~рым лицом матери / до́брый голос / ~рые глаза / ~рая улыбка. 2. До́брый совет / ~рое отношение / сделать кому ~рое дело / От него слова ~рого' не услышишь. 3 а) (благоприятный): ~рые известия / Добрый знак, Он принес нам ~рую весть / в ~рую минуту. 4. (близкий): мой до́брый знакомый / наши ~рые друзья / ~рые отношения / ~рое знакомство. 5. а) (отличный): до́брый ужин / ~рое вино / до́брый конь в) ~рое старое время / ~рая традиция / в ~рую пору с) (добротный): ~рая сабля. 6. /люди, человек, молодец / а) до́брый молодец в) Люди до́брые! 7. (безупречный): Он в ~ром здоровье / ~рое имя / оставить о себе [по себе] ~рую память / Д ~рая слава лежит, а худая (по дорожке) бежит. 8. (целый); (большой): Я просидел там ~рых два часа / До города ~рых пять километров / Ей ~рых шестьдесят лет / ~рая краюха хлеба / ~рая половина дохода. 9. (настоящий): Давно уже не было ~рого дождя.

◇ до́брый гений чей → гений. До́брый вечер! До́брый день! До́брой ночи! (Спокойной ночи). До́брое утро! до́брый малый. До́брого здоровья! ~рая душа. Всего до́брого! чего ~рого (пожалуй, возможно): Пойдем скорее, а то чего ~рого, дождь начнется. Будь до́бр; будьте до́бры́ (до́бры): Будьте ~бры́, два черных кофе / Будьте ~бры́ прислать мне эту книгу (= Будьте ~бры́ пришлите мне эту книгу) (быть) в ~ром здоровье, по ~рой воле (добровольно): Он это сделал не по ~рой воле, а по принужде-

нию. *Люди ~рой воли. твоя [его] ~рая воля* (Как тебе [ему...] угодно). *В дббрый час!* = *Час дббрый! В дббрый путь! поминать ~рым словом кого.*

◆ бюро ~рых услуг. мыс Доброй Надежды.

Это одно-единственное слово (хотя словарь настолько хорош, что хотелось бы приводить и приводить из него примеры) позволяет ощутить разницу. Во-первых, — отсутствуют формы сравнительной и превосходной степени в двух русских словарях, во-вторых, и это очень важно, выделенные звездочкой семь с половиной тысяч слов даются в Русско-японском словаре по языковому максимуму — с учетом нюансов толкований, возможных сочетаний, фразеологизмов, и, в-третьих, и это также представляется нам чрезвычайно важным, в двух русских словарях отсутствует слово *добро* — т. е. то основное слово, которое позволяет толковать образованное от него прилагательное *добрый*. Это сознательный выбор авторов русских словарей — при *злой* отсутствует *зло* и т. п. Скорее всего по каким-либо показателям, в том числе и частотным, *добрый* и *злой* встречаются чаще, чем *добро* и *зло*. Но по естественному языковому чувству стоит ли давать *здоровый* наряду со *здоровьем*, а *добрый* и *злой* при отсутствии самих основополагающих категорий и определяющих их слов *добро* и *зло*? В русско-японском словаре *добро* и *зло* отмечены звездочкой наряду со словами *добрый* и *злой*.

Эти по необходимости беглые и поверхностные сопоставления все же наводят на размышления о словарях-минимумах русского языка. Какой минимум русского языка получают носители других языков? И дело даже не в иностранцах, а в том, какой минимум русского языка получают носители других языков в пределах СССР. Кроме выбора слова (а сам этот выбор чрезвычайно важен), какова «глубина» словарных статей этих словарей-минимумов?

Попытаемся ответить на эти вопросы, пользуясь для сопоставления материалами отмеченных звездочками слов Русско-японского словаря.

При отсутствии слов *добро* и *зло* словаря-минимумы логично не включают и слово *бог*. Собственно, в словаре Розановой это слово дается, но в таком объеме: *бог, -а, мн. боги, богóв, м.* По религиозным представлениям, верховное существо, которое создало мир и управляет им. ◇ Верить в бога. В Словаре Шанского этого слова нет. В Русско-японском словаре слово *бог* имеет полторы колонки текста, набранного непарелью, со всеми используемыми в русском языке словосочетаниями и фразеологизмами и с возможными и допустимыми их вариантами, включая: *Вот тебе бог, а вот порог* (Убирайся вон), *бог несет, бог не обидел...* *Помогай бог!* *Бог в [на] помощь [помощь], чем бог послал* (как придется), *Отдать богу душу, богом обиженный* и т. д. и т. п.

Отсутствует в словарях-минимумах и слово *грех*, отмеченное в Русско-японском словаре звездочкой⁴. Таким образом, тематическое поле нравственно-этической лексики с основополагающими категориями добра и зла, с темой греха, с понятием Бога как основы нравственного начала представлено в словарях-минимумах более чем фрагментарно. Показателен и такой факт: в словаре «4000 наиболее употребительных слов русского языка» отсутствует слово *терпение* (*терпеливый* и *терпеть* в нем даны). Вряд ли, однако, стоит выбрасывать из памяти тост, произнесенный И. В. Сталиным в 1945 году, — после победы он пил за терпение русского народа, отмечая терпение как черту национальную (ср.: «...Или общена-

⁴ Хотя об употребительности этого слова может, в частности, свидетельствовать следующий факт: оно входило в песню на стихи С. Васильева — «Фуражечка, фуражечка, носить тебя не грех».

мятный тост, в котором деспот благодарил свой терпеливый народ за то, что тот терпит его деспотию». — Ст. Рассадин, Огонек, 1990, № 43). Представляется, что в «4000 слов» в гнезде с *терпеть* и *терпеливый* следовало бы оставить русскому языку и слово *терпение* (в словаре-минимуме под ред. Розановой это слово присутствует). Оно, разумеется, отмечено звездочкой в Русско-японском словаре, в котором есть и *мое терпение лопнуло*, *потерять с ним всякое терпение*, *ангельское (адское, дьявольское) терпение*, *переполнить чашу терпения* и мн. др. Существенно также, что в Русско-японском словаре в рассматриваемом словарном гнезде отмечено звездочкой и слово *терпимый*.

Отсутствуют в словаре «4000 наиболее употребительных слов русского языка» слова *дух* и *душа*, *достоинство*, а слово *честь* имеет такую статью: 1. Честь Родины. Защищать свою честь. Дело чести. Выполнить задание, обязательства с честью. 2. Высокая честь.

Объективным комментарием к этой социальной и языковой ситуации являются слова Виктора Мережко в статье «Служить истине», помещенной в «Правде» (28 апр. 1989 г.) в рубрике «Наш собеседник»: «Не стало чести, ушло и достоинство. И стала возможной терпимостьк унижениям».

Поразительная одномерность русского языка, представленного в словарях-минимумах, разумеется, может быть объяснена временем их создания и выхода в свет, оба эти словаря вышли в 1978 г.⁵ Но эта же одномерность словарей-минимумов в свою очередь оказывается одной из причин весьма непростых социальных явлений — представленному в них русскому языку не хочется учиться⁶. «Не случайно, когда потом комиссия проверяла один из факультетов КазГУ, то оказалось, что только единицы из студентов сумели написать диактант для девятого класса на четверку. Остальные слелали столько ошибок, что и подсчитывать их количество стыдно» (Вл. Калинин, Ю. Щекочихин, Командировка по высокому вызову. — Лит. газета, 1989, 12 апр.).

Разумеется, то, о чем шла речь в Лит. газете, — социальная проблема, но и от лингвистов, лексикографов тоже может что-то зависеть. Словари минимумы не научают, а, скорее, отталкивают от обучения. Русский язык в них предстает плоским — его трудно полюбить. При этом сам русский язык, а вместе с ним и его носители оказываются поистине без вины виноватыми. Не этим ли «уплощенным» русским языком объясняется наша тяга к В. В. Набокову: «Главное наслаждение произведений Набокова — осязать заповедный русский язык, незагазованный, не разоренный вулгаризмами, отгороженный от стихии улицы, кристальный, усадебный, о коем мы позабыли, от коего, как от вершинного воздуха, кружится голова» [4].

Вернемся, однако, к анализу выделенных звездочкой семи с половиной тысяч слов в Русско-японском словаре. Удивительным первоначально по-

⁵ В качестве источников отбора лексики для словаря «4000 наиболее употребительных слов русского языка» были использованы частотные словари и списки слов русского языка, словари-минимумы для нерусских учащихся, краткие двуязычные словари, тематические словари и т. д. (с. 5).

⁶ Впрочем, в Предисловии к словарю «4000 наиболее употребительных слов русского языка» сказано: «Изучение русского языка дает возможность ознакомиться с русской культурой, литературой, наукой, техникой, открывает большие возможности для сотрудничества, установления связей и контактов, сближения народов и их взаимного обогащения. Русский язык представляет интерес и как один из самых богатых и развитых языков мира. Необычайно богат его лексико-фразеологический состав и грамматический строй» (с. 5).

казался факт, что звездочкой в этом словаре помечено слово *халатный* в значении «небрежное отношение к службе». В обоих словарях-минимумах приводится только слово *халат*. Между тем данное значение слова *халатный* выделено закономерно — оно, безусловно, является одним из наиболее употребительных слов последних десятилетий. Приведем некоторые примеры: в Лит. газете описывается должностное преступление: «Да-да, виноват в *халатности*, признавал Сороко, забыл сделать опись. Только в *халатности*, не более...» (22 марта 1989 г.).

Должностное преступление квалифицируется наиболее распространенным словом — *халатный, халатность*. Примеров — великое множество. «Трудно поверить, что все это происходило из-за *халатного* отношения к жилищным проблемам москвичей. Пустые квартиры оставались специально, первыми получали жилплощадь „нужные люди“» (Веч. Москва, 1989, 15 февр.). В книге Б. Ельцина «Исповедь на заданную тему» (М., 1990) слово *халатность* дважды встречается на одной странице (с. 26): «Оказалось, что шарниры, по *халатности*, поставили на заводе наоборот... Или еще одна критическая ситуация. Когда камвольный комбинат сдавали, вдруг, практически за сутки, выяснилось, что опять-таки из-за разгильдяйства, *халатности* не построили метров 50 подземного перехода из одного корпуса в другой». В «Правде» от 28 марта 1989 г. в заметке «Цена *халатности*» речь идет о пожаре в Омской гостинице, приведшем к человеческим жертвам. В другой статье «Трижды, менее чем за сутки „Скорую“ вызывали один и те же люди, состояния которых все ухудшалось. Что же это такое — некомпетентность, *халатность*?» — ставится вопрос в статье «„Скорая“, но не помощь» в Известиях от 27 апр. 1989 г. В «Правде» от 30 апр. 1989 г. в статье «Чувствую чужую боль (разговор с Джуной)» говорится: «Ведь практически любая болезнь — следствие нашей *халатности* по отношению к своему организму». В «Московской правде» обсуждается вопрос «из-за чьей *халатности* произошло возгорание». В «Вечерней Москве» (1989, 12 июня) заметка называется «*Халатность* в одеждах обещаний». Практически ни один номер газеты не обходится без слов *халатное* отношение, *халатность*. Эти слова стали лакмусовой бумажкой нашего времени. В Уголовном кодексе РСФСР статья 172 истолковывается — за *халатность* (Сов. культура, 1989, 1 июня) — ср. у Евгении Гинзбург: «Позднее выяснилось, что он бытовик, сидевший не то за растрату, не то за *халатность*» («Крутой маршрут» — Даугава, 1989, № 5). Практически ежевечерне слова *халатный, халатность* звучат в передачах Центрального телевидения; они постоянно звучали и на Съездах народных депутатов СССР и РСФСР и на заседаниях Верховных Советов: «Все больше депутатов разными путями подходят к главной теме: к размышлениям о том, что делает неполноценной систему, в которой мы живем. Систему, воспроизводящую *халатность*, равнодушие, безответственные решения, некомпетентность» (Новое время, 1989, № 24). Можно только поражаться точности выбора Русско-японского словаря, пометившего слово *халатный* звездочкой (правда, сущ. *халатность* звездочки не имеет).

Выделение наиболее употребительных слов в толковых словарях каким-либо знаком и приведение толкований таких слов по языковому максимуму, как это делается в Русско-японском словаре, могло бы быть полезным и для носителей русского языка и раздвигало бы наши представления о конкретном языковом срезе.

IV. Толковые словари делятся по приводимому ими иллюстративному языковому материалу на словари, построенные на авторских (хороших и всяких) текстах, и словари речений, построенные на употреблении,

выбранных лексикографом из существующих в языке или составленных им самим. В чистом виде авторских словарей нет. Даже ССРЛЯ не все значения иллюстрирует авторскими текстами. Русско японский словарь не использует авторских текстов для иллюстраций. В словаре в качестве иллюстраций приводятся лишь сложившиеся устойчивые сочетания, фразеологизмы, поговорки. В этом отношении Русско-японский словарь оказывается ближе всего к словарю В. И. Даля, который, напомним, не входит в число источников. Однако при чтении Русско-японского словаря не покидает ощущение, что в русской его части читаешь Даля, раздвинувшего свои временные языковые границы и включившего язык XX в. Приведем хотя бы некоторые примеры. Общеизвестна любовь японцев к чаю, многовековой традицией освящена культура японского чаепития, поэтому приведем словарную статью, посвященную слову *чай* (принадлежит к группе слов, отмеченных звездочкой): *чай, *ча́я* / ча́ю, в ча́е / в чаю; чай, чаёв 1. куст [кустарник] *ча́я* / плантация *ча́я* / выращивать чай. 2. чёрный чай / зелёный чай / мелкий чай / кирпичный чай / байховый чай / липовый чай / цветочный чай / фруктовый чай / китайский чай / цейлонский чай / пачка [коробка] *ча́я* [*ча́ю*] / сбор *ча́я* / разные сорта *ча́я* / заварить чай / заварить крепкий чай / насыпать чай в чайник / Чай кончился. 3 а) крепкий чай / свежий чай = чай свежей заварки / некрепкий [жидкий] чай / ароматный [душистый] чай / остывший чай / спитой чай / чай с молоком / чай с лимоном / аромат *ча́я*, стакан *ча́я* [*ча́ю*] / стакан крепкого *ча́я* / пить чай / выпить *ча́ю* / приготовить чай [*ча́я*, *ча́ю*] / отказаться от *ча́я* [*ча́ю*] / налить чай [*ча́я*, *ча́ю*] / согреть [подогреть] чай / угостить кого *ча́ем*... / разливать чай / разнести чай / напоить кого *ча́ем*... в) морковный чай. 4. (чаепитие): утренний чай / устроить чай / позвать кого к *ча́ю* / за *ча́ем* / после *ча́я*.

◇ Чай да сахар! = Чай и сахар! = Чай с сахаром! гонять чай. за чайной *ча́я* = за *ча́ем*: беседовать [разговаривать] за *ча́ем*. на чай = на чашку *ча́я* (пригласить, звать). давать на чай: дать мною на чай. брать [получать] на чай. пить чай *внакладку* [*вприкуску*]. пить чай *вприглядку*.

◆ аптекарский чай. иезуитский чай. [жидкий.— К. Л.]. канадский чай [? — К. Л.]. чагирский [монгольский] чай.

Разработанная авторами Русско-японского словаря словарная статья *чай* не повторяет ни одного русского словаря. Она является самым полным набором существующих в современном языке словосочетаний с этим словом. Отсутствует только сочетание *индийский чай*, которого, впрочем, нет ни в одном русском толковом словаре, кроме «Учебного словаря сочетаемости» (под ред. П. Н. Денисова и В. В. Морковкина, М., 1978). Разработка сочетаемости со словом *чай* сделана исключительно в интересах пользователя (т. е. японца) данного словаря. Но и русского читателя не может не восхитить полнота по крупицам собранного материала, который служит хорошим путеводителем и по современной и по классической литературе, напоминая нам, русским, сочетания: *пить чай внакладку, вприкуску, вприглядку* и мн. мн. другие.

Так же тщательно разработана статья, посвященная слову *дом* (отмеченному звездочкой). Эта статья имеет в два раза больший объем, чем приведенная статья о чае. Кроме того, отдельной самостоятельной статьей (также со знаком звездочки) даются *дома* и *домашний* (в последнем выделяется 7 значений), а также другие образования от данного слова. Это позволяет представить, с какой степенью полноты разрабатываются словарные статьи в рецензируемом словаре, включаящем, как уже говорилось, 260 тыс слов.

Не имея возможности (по соображениям объема) сравнить материалы словарной статьи *дом*, сопоставим меньшую по объему словарную статью **дóма* в словарях, построенных на материале речений. Поскольку это словарная статья, даваемая со знаком звездочки, сравним ее со словарными статьями уже цитировавшихся словарей наиболее употребительной лексики.

Словарь под ред. Н. М. Шанского: *дóма*, наречие. Работать. заниматься дома. Сидеть дома. Забыл дома тетрадь, книгу. Вот мы и дома! Да, он сейчас дома. В воскресенье я был дома. Когда ты будешь дома? Его нет дома. Чувствовать себя как дома.

Словарь под ред. В. В. Розановой: *дóма*, нареч. У себя в доме, в своей квартире. Сидеть дома. Вечером меня не будет дома. Я забыл дома книгу.

Русско-японский словарь: **дóма* 1. (у себя в дóме): Он никогда не бывает *дóма* / Вечером мы обычно *дóма* / сидеть *дóма* (безвыходно) оставить [забыть] журнал *дóма* / Ее нет *дóма* / Она осталась *дóма* / Я буду *дóма* поздно / Вот мы и *дóма* / В гостях хорошо, а *дóма* лучше / *Дóма* и солома съедома [едома] / *Дóма* (и) стены помогают. 2. (на родине).

◇ как *дóма* (быть, чувствовать себя) (свободно): Будьте как (у себя) *дóма*. не все *дóма* у кого (глуповат): У него, кажется, не все *дóма*.

Сопоставим материалы еще одной словарной статьи — *лагерь*.

Словарь под ред. Н. М. Шанского: *лáгерь* (-я) м. 1. (мн. -я́, -ей́). Пионерский лагерь. Молодежный лагерь. Поехать в лагерь. Приехать из лагеря. Быть, находиться, отдыхать в лагере. 2. (мн. -и, -ей). Международный лагерь борцов за мир. Страны империалистического лагеря. Борьба противоположных лагерей.

Словарь под ред. В. В. Розановой: *лáгерь*, -я, мн. лагеря́, -ей́. Место за городом, где останавливаются для отдыха и где временно живут, обычно в палатках, в небольших домах. Лагерь туристов. Провести отпуск в спортивном лагере. (Пионерский) лагерь — учреждение для летнего отдыха школьников в СССР. Отправить сына в пионерский лагерь.

Такое упрощенное истолкование этого слова и всех других слов, представленных в словарях наиболее употребительной лексики, адресованных иностранцам, тем более странно, что само это слово заимствуется из немецкого языка — *Lager*. Вот как толкуется оно однотомным Советским энциклопедическим словарем (М., 1984): специально оборудованное место размещения войск вне населенных пунктов. Далее отдельными статьями даются *лагерь концентрационный*, *лагерь пионерский*, *лагерь римский*.

Таким образом, в словарях наиболее употребительных слов русского языка берется лишь часть значений слова.

Параллельно в самом языке у слова *лагерь* накапливаются значения, не отражаемые словарями. Приведем в качестве доказательства этого свидетельства русских писателей. Виктор Мережко в уже упомянутой статье: «А летний отдых для школьников — пионерские лагеря с уныло казенной, казарменной атмосферой, регламентированными „радостями“? Одно на звание чего стоит — лагерь, какие ассоциации оно вызывает. Каждый раз, когда слышу от когонибудь — отправил своих детей в лагерь, испуганно вдрагиваю...». Андрей Битов («Близкое ретро, или комментарий к общеизвестному» — Новый мир, 1989, № 4): «Впрочем, пионерский лагерь — тоже лагерь».

Слово *лагерь* оказалось вдруг в зоне особого внимания: «Где окажется народ? Несколько раз выбирала Россия „лагерь“. И вовсе не всегда „концентрационный“, нет. „Военный лагерь“ „Лагерь мира“. Так складыва-

лась история» (Лев Аннинский — Олег Михайлов. Имена и псевдонимы. — Лит. газ. 1989, 25 окт).

Представляется, что русский язык, поданный в словарях наиболее употребительной лексики в подобном «отредактированном» виде, где значения русских слов из развесистых дубов обстругиваются до прямыны телеграфных столбов, не может не вызывать у тех, кому эти словари адресованы, естественного отталкивания, отторжения уже по одному тому, что в них представлен не естественный язык с его богатством значений, а некий искусственный язык, в своем роде некий эсперанто по мотивам русского языка.

В Русско-японском словаре слово *лагерь* дается со всеми значениями. Приведем их: **лагерь*, -ри / -ря́ 1. (-ря́) а) военный *лагерь* / место расположения *лагеря* / разбить [раскинуть] *лагерь* / стоять [расположиться, остановиться] *лагерем* / поехать в *лагерь* / быть [находиться] в *лагере* / отдыхать в *лагере* / вернуться в *лагерь* / жить в *лагере* / снять *лаге́рь*. б) туристский *лагерь* / альпинистский *лагерь* / летний *лагерь* / спортивный *лагерь* / студенческий [молодежный] *лагерь*. 2. (-ря́) *лагеря́* для военнопленных / исправительно-трудоустройственной *лагерь* (= концентрационный *лагерь*) / *лагерь* смерти / поместить кого в *лагерь* / бежать [вырваться] из *лагеря*. 3. -(ри): *лагерь* социализма = социалистический *лагерь* / враждующие *лагери* / принадлежать к разным *лагерям* / внести раскол в *лагерь*.

◇ *действовать на два лагеря*.

◆ пионерский лагерь.

Итак, Русско-японский словарь построен на речениях. В нем представлены те «речения», которые образовались в процессе жизни народа — не искусственные словосочетания, приводимые в плохих учебниках по языку, которыми мы в естественной языковой жизни избегаем пользоваться из-за их искусственности, а словосочетания, если так можно выразиться, настоянные на народном самосознании, почти пословичного характера, т. е. то, что принято называть «устойчивыми словосочетаниями». По этой причине чрезвычайно возрастает ценность этого словаря не только потому, что он адекватен русскому языку и в таком качестве адресуется японцам, изучающим русский язык, но в равной мере он чрезвычайно ценен для русской лексикографии, потому что подобным образом прокомментированы в нем более двухсот шестидесяти тысяч русских слов.

V. Русско-японский словарь представляет собой комплексный тип словаря. Эта комплексность определяется задачами словаря — дать объективное представление японцам, владеющим языком совершенно иного типа, о русском языке, о его произносительных особенностях и его акцентологии.

О необходимости комплексного словаря русского языка в последнее время стали говорить на специальных лексикографических совещаниях (например, в Воронове, в Звенигороде и др.), но самого такого словаря в русской лексикографии XX в. не было⁷. Тем интереснее проанализи-

⁷ В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова при некоторых словах эпизодически даются произносительные пометы: так, например, слова *метрдотель*, *метрополитен* имеют помету [мэ], но слово *метр* в третьем значении «учитель, наставник», сопровождаемое пометой (книж. устар.) (последнее, во всяком случае, не соответствует современной употребительности этого слова), не имеет произносительной пометы [мэ]; хотя именно при этом слове такая помета была бы уместна, потому что из трех значений данного слова только в третьем значении оно произносится с несмягченным [м], что и вызвало современное написание его в печати, вопреки рекомендациям всех лингвистических словарей, как *метр*.

ровать, что же дается в произносительной и акцентологической частях Русско-японского словаря.

Произносительная характеристика слов.

Среди материалов, на которых основывается рецензируемый словарь в области произношения и ударения, названы два словаря под ред. Р. И. Аванесова, словарь Д. И. Алексева, Грамматический словарь русского языка А. А. Зализняка и последнее издание (М., 1984) Словаря ударений для работников радио и телевидения под ред. Д. Э. Розенталя (см. с. 2763).

Главная трудность, которая встала перед японскими лексикографами, заключалась в том, что объем слов словарей, дающих орфоэпическую информацию, неизмеримо меньше, чем в японском словаре: Орфоэпический словарь включает около 63 500 слов, а Словарь ударений для работников радио и телевидения — около 75 тыс. словарных единиц (вместе с именами собственными). Эти словари, таким образом, охватывают четверть представленных в японском словаре слов. Для не охваченных орфоэпической информацией трех четвертей русских слов японским лексикографам приходилось находить выход собственными силами. В Русско-японском словаре для передачи произношения используется транскрипция, принятая в англоязычных словарях. Способы этой чрезвычайно продуманной и экономной передачи описаны в Русско-японском словаре в восьми пунктах (в восьмом дается произношение сокращенных слов и аббревиатур) (с. VII—VIII). Покажем хотя бы некоторые моменты этой передачи: несмягченное произношение согласных в ударном слоге передается [dɛ], например *демос*, а смягченное [d'ɛ] — *академия*; в безударном слоге используется другой способ передачи: [de] — несмягченное произношение, а [di] — смягченное, например: *депó* [de-/di-], т. е. указывается возможность вариантного произношения данного слова (ср. в Орфоэпич. словаре: *депó* [дэ и дел]). Русск. [шн] передается как [ʃn], а русск. [чн] — /tʃ'n/, например, в *конечно* — вводн. слово и *конечный* — прил. и т. д.

Для собственных имен произношение приводится лишь в редких случаях, т. е. в тех, когда оно дано (весьма выборочно и непоследовательно) во второй части Словаря ударений для работников радио и телевидения, в которой представлены имена собственные. В последнем, например, указывается несмягченное произношение согласных в имени и фамилии Фридерика Шопена — *Шопéн Фридерик* [пэ, дэ], но не дается никаких указаний на произношение в непосредственно следующей за *Шопéном* фамилии *Шопенгауэр*; в *Демéтер* дается произношение [дэмэтэ], а в нижеследующей *Демéтре* — никакого указания на произношение; при *Декарте* дается [дэ], а при «*Декамерóне*» — никакого указания на произношение и т. д. Иными словами, Русско-японский словарь отражает непоследовательность в подаче орфоэпической информации для собственных имен Словаря ударений для работников радио и телевидения.

В отношении произношения апеллятивной лексики Русско-японский словарь проявляет больше самостоятельности по отношению к русским источникам. Так, для произношения слова *бог* кроме фрикативного конечного [x] в именительном падеже (в соответствии с рекомендацией Орфоэпического словаря и Словаря ударений для работников радио и телевидения) японский словарь дает вариантное произношение и для род. падежа этого слова: *бóга* [-g-] и [-γ-]. Отказ от традиционного произношения [γ] в косвенных падежах именно в этом слове нежелателен, более того, произношение [бóга] следовало бы культивировать, обращая на него внимание дикторов радио и телевидения и обучая ему в театральных школах. Произ-

ношение *Бог* [x], *Бо́га* [ʁ] в некотором роде является лакмусовой бумажкой, характеризующей литературное произношение, и его желательно было бы не только сохранить, но и восстановить в правах, как явочным порядком — и это можно только приветствовать — была восстановлена прописная буква в слове *Бог* в современной печати. И то, что произношение [ʁ] сохраняется и в косвенных падежах слова *Бог* в русско-японском словаре, лишь подтверждает безупречный языковой вкус, свойственный авторам Русско-японского словаря.

При передаче произношения весьма существенно не только то, что японский словарь берет из Орфоэпического словаря, но также и то, от чего он отказывается. Японский словарь решительно отказывается от передачи смягчения, а иногда и возможности вариантного смягчения или несмягчения согласных в таких, например, словах, как *обязательство*, *сочинительство*. Орфоэпический словарь дает их следующим образом: *обязательство*, -а Δ об *обязательстве* [с^Ьт^Ьв^Ь и ств^Ь], *сочинительство*, -а Δ о *сочинительстве* [с^Ьт^Ьв^Ь и ств^Ь], но в случаях, например, со словами *марксист*, *шовинист* — вариантность отсутствует: Δ о *марксисте* [с^Ьт^Ь], Δ о *шовинисте* [с^Ьт^Ь]. Этот громоздкий способ показа несущественной разницы в произношении не существует и для носителей русского языка. И логично, что от этой произносительной характеристики отказывается Русско-японский словарь. В некоторых случаях произносительные рекомендации Орфоэпического словаря представляются некорректными с точки зрения современного произношения. Так, слова *плотник*, *зидный*, а вместе с ними и *крольчатник*, *курятник*, *лягушатник*, *телятник*, *телятница* и некот. др. имеют произносительную помету [т^Ьн^Ь]. На с. 12 Орфоэпического словаря дается разъяснение, что знаком $\widehat{\quad}$ над двумя рядом стоящими буквами обозначается произношение согласных с одним затвором. Даже если согласиться с такой трактовкой (а она представляется более чем спорной, достаточно сравнить вариантное произношение слова *междугорбный* и *междугорбный* — в первом случае, по мысли авторов Орфоэпического словаря, произносится два звука, а во втором звук с одним затвором), смягченное обозначение этих сочетаний противоречит современному литературному произношению данных слов.

Поэтому отказ от передачи такой орфоэпической черты в японском словаре представляется вполне оправданным.

Столь же показателен отказ в Русско-японском словаре от пометы «факультативно», используемой в Орфоэпическом словаре. Эта помета означает: «отсутствие редукции в словах иноязычного происхождения» (с. 11). Она дается, например, при словах *чайханá* [факульт. ча], *чабóна* [факульт. ча], однако при слове *чарльстóн* указывается лишь произношение [ча], но отсутствует слово «факультативно», а при словах *чавы́ча* — *чавы́чá*, *чабáн*, *чабáний* отсутствует всякое указание на произношение, хотя в них, скорее, произносится [а], чем закономерное для русских слов [ш]. Русско-японский словарь вместо непонятной пометы «факультативно» дает вариантное произношение: *чайханá* [tʃ^Ьi-/tʃ^Ьa-], так же дается произношение слова *чабóна*. При слове *чарльстóн* произношение дается без варианта [tʃ^Ьa] — такая подача представляется более логичной.

Иными словами, авторы Русско-японского словаря ищут и находят свой способ передачи произношения, даже в тех словах, которые представлены в Орфоэпическом словаре. Как правило, способ передачи произношения в Русско-японском словаре оказывается более экономным. С наибольшей очевидностью такой подход проявляется при передаче произ-

ношения двойных согласных, весьма последовательно и во многих случаях избыточно (особенно это касается возможности вариативности двойных — одиночных согласных в абсолютном исходе слова) даваемых в Орфоэпическом словаре. В японском словаре сомнительные варианты произнесения [ван и ваин] и [бон и боин] для слов *ва́нна* и *бо́нна* и многих других логично отсутствуют.

Такую характерную произносительную особенность, как [ши] на месте графической *чи*, Русско японский словарь дает вслед за Орфоэпическим словарем, естественно, распространил эту произносительную черту на больший круг слов, чем она дается в Орфоэпическом словаре. Например, непонятно, по какой причине отсутствующему в этом словаре слову *моло́чная* — в Русско-японском словаре дается вариантное произношение [-iʃ'ɲ-] [-ɲ-]. При слове *на́сочница* в японском словаре произносительных помет не дается, как и в Орфоэпическом, хотя это слово должно было бы иметь указания на произношение. Разумеется, этот упрек следует адресовать не японскому словарю.

Таким образом, Русско японский словарь отражает непоследовательность произносительных помет, представленных в Орфоэпическом словаре и в Словаре ударений для работников радио и телевидения, но в ряде случаев его передача оказывается более экономной и более точной, чем в словарях, имеющих произносительные пометы.

А к ц е н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а с л о в. Прежде всего необходимо отметить специфическую особенность Русско японского словаря — знаком ударения сопровождаются все слова и все формы слов, приводимые в словаре, независимо от того, являются ли они словами конкретной толкуемой лексемы или входят в качестве иллюстративного материала в любую другую лексему, т. е. в словаре нет слова русского языка, которое не имело бы на себе знака ударения. Такой способ акцентирования всего словесного материала кажется, на первый взгляд, избыточным, чрезмерным. Это, видимо, не только единственно возможный способ доведения русского разноместного ударения до носителей другого языка — в данном случае японцев, но не исключено, что он также мог бы быть уместен и полезен и в русских словарях для коренных носителей русского языка, достаточно часто испытывающих трудности с постановкой ударения.

Акцентологическая норма сравнительно хорошо проработана в русских словарях, и в ее передаче Русско-японский словарь сохраняет рекомендации русских изданий, являющихся для него источниками. Однако даже в этой относительно более проработанной языковой сфере авторы и редакторы Русско-японского словаря в ряде случаев выбирают более правильную позицию и дают рекомендации, более адекватные современной языковой норме.

Так, например, во всех русских словарях, в том числе и в специальных — Русское литературное произношение и ударение, в Грамматическом и Орфоэпическом — прил. *языко́вый* соотносится со значением «язык как средство общения». В последнем дается запретительная помета: ! не рек. *языко́вый*. Прилагательное же *языко́вый* соотносится непосредственно со значением «язык как орган». Однако если посмотреть с этой точки зрения только лингвистические термины, связанные с *язык* в значении «орган», то станет ясно, что в данном случае используется прилагательное *язы́чный* (этот факт был отмечен в Русском литературном ударении и произношении): *задняязы́чный*, *передняязы́чный*, *среднеязы́чный*, *надъязы́чный*, *подъязы́чный*; то же в медицинской терминологии: *язы́чно-лицевой* (нерв),

язычно-надгортанный, язычно-небный; это же прилагательное используется и при описании морфологии животных: «связь языка с *подъязычным* скелетом», «*подъязычно-жаберный* скелет» и проч. (Биологический энциклопедический словарь. М., 1986.) Не встретилось ни одного случая, когда прилагательное *языко́вый* относилось к языку в значении «орган».

Прилагательное *языко́вый*, относящееся к *языко́вой колбасе*, в настоящее время можно рассматривать не иначе, как фразеологизм. Толкование для этого сочетания «сделано из» в ближайшей синхронии можно рассматривать лишь в ироническом контексте. (Достаточно показательно в этом плане название статьи в Лит. газете от 13 авг. 1989 г. «Ухо-горло нос-ноги-вымя хвост Агропрома».) В Орфографическом словаре 1956 г. под ред. С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро давалось: *языко́вой (языко́ве явление), языко́вый (языко́вая колбаса)*. Такое распределение акцентных форм прилагательных более соответствует современной языковой действительности, хотя вариант *языко́вый* вполне может относиться и к «языку как средству общения»: произношение *межъязыко́вые контакты* встречается достаточно часто, хотя Орфоэпический словарь его не рекомендует; вполне возможно, что оно станет более употребительным, поскольку произношение *языко́вый* поддерживается многочисленными сложными прилагательными типа *языко́во-письменный, языко́во-стилевой, языко́во-стилистический, языко́в-отериториа́льный* и под.

Русско-японский словарь вопреки рекомендациям всех современных словарей дает такое распределение акцентных форм прилагательных *языко́вой — языко́вый*: *языко́вой*: -ва́я структура, -ва́е явления / -ва́е чутье / -ва́е родство; *языко́вый*: -ва́я колбаса. Эта рекомендация больше соответствует реальному распределению форм *языко́вой — языко́вый* в современном употреблении.

Не следует Русско-японской словарь нелогичному и непонятному распределению значения слова *фено́мен*, данному в Орфоэпическом словаре: *фено́мен*¹, -а! не рек. *феноме́н* □ Научный термин. *Фено́мен* памяти. *фено́мен*², -а и доп. *феноме́н*, -а □ О редком, необычном, исключительном (чаще о человеке). Он настоя́щий *фено́мен* и доп. *феноме́н*.

Распределение значения слова и в соответствии с этим распределение возможности или недопустимости произношения *феноме́н* не отвечает смыслу и толкованию этого слова в словарях, — например, в Словаре иностранных слов и в Словаре русского языка С. И. Ожегова, и тем более — в сознании носителей языка, а вместе с неправильным истолкованием отпадает связываемая с ним градация в выборе ударения. В Русско-японском словаре это слово дается как имеющее вариантное ударение *фено́мен/феноме́н*, что полностью соответствует его реальному употреблению в современном литературном языке.

Эти два примера приведены для того, чтобы показать, насколько авторы и редакторы Русско-японского словаря самостоятельны при выборе акцентологических рекомендаций. Приведенные примеры с достаточной очевидностью демонстрируют, что они выбрали рекомендации, более адекватные современному ударению.

Но кроме основного ударения, в Русско-японском словаре отмечается и побочное ударение. В русской лексикографии принципы постановки побочного ударения не разработаны. Побочные (неосновные) ударения выборочно и непоследовательно отмечаются специальными словарями — такими, как Русское литературное ударение и произношение, Грамматический словарь, Словарь ударений для работников радио и телевидения и Орфоэпический словарь. Во всех остальных словарях практикуется

графический способ постановки ударения, т. е. слово имеет только одно ударение, самостоятельное ударение ставится на дефисно-пишущихся частях слов. При таком подходе отсутствие ударения на слитно-пишущихся частях сложных слов (например, в словах *жизнеобеспечение, железнодорожный, железнодорожный*) не означает его отсутствия при их произнесении.

Когда же в специальных словарях избирается иной способ — специальным знаком (´) отмечается побочное ударение, то его отсутствие в сходных или однотипных акцентных ситуациях является показателем его отсутствия при произнесении. В действительности же отсутствие побочного ударения ничего не означает: оно лишь демонстрирует, что авторы данного словаря его в этом слове не поставили.

Непоследовательность в постановке побочного ударения внутри одного словаря в однотипных группах слов и между словарями в одних и тех же словах такова, что она практически исключает возможность использовать эту акцентную характеристику при произнесении. Почему, например, в Орфоэпическом словаре слова *горнозаводский* и *горнозаводчик* имеют побочное ударение, а слова *горнолыжник* и *горнолыжный* его лишены? В словаре «Русское литературное произношение и ударение» эти слова имеют прямо противоположные рекомендации, т. е. *горнолыжник* и *горнозаводский* в нем имеют побочное ударение, а *горнозаводчик* — нет. Почему в Орфоэпическом словаре слово *высокосравнительный* не имеет побочного ударения, а *высokoобразованный* его имеет, почему *гетерогенез* имеет побочное ударение, а *гетерогенный* — нет, почему *гидропривод* дается с побочным ударением, а *гидробника* — без оногo, почему все слова с *цельно* (*цельнокатаный, цельнометаллический, цельнооблотый, цельносварной*) имеют побочное ударение, а слово *центростремительный* его не имеет и т. д. и т. п.

Авторы Русско-японского словаря были поставлены в чрезвычайно трудные условия: им приходилось не только заимствовать это отсутствие логики в постановке побочного ударения в русских словарях-источниках, но и каким-то образом оснастить побочным ударением значительно больший объем представленных в этом словаре слов. Так, например, в группе слов с *горно...* (а их около 20) побочное ударение дается более последовательно, чем в Орфоэпическом словаре. В других случаях сохраняются побочные ударения, отмечаемые русскими словарями: вслед за Орфоэпическим словарем слово *золотодобывающий* дается с побочным ударением, а *золотопромышленник, золотопромышленность, золотопромышленный* — без него, хотя на наличие и в этих словах побочного ударения недвусмысленно указывает отсутствие редукции в первой части сложных слов.

Особенно деструктивной оказывается постановка побочного ударения в односложных сокращениях в Орфоэпическом словаре. Так, слова *госбанк, спецкурс, спецшкола* и другие подобные даются с побочным ударением. В русском языке произнести в одном слове два рядом стоящих слога с ударением весьма затруднительно, если не невозможно. Логичнее было бы в подобных словах показывать отсутствие редукции: *госбанк* [o], *спецкурс* [e], *спецшкола* [e] и т. д.

Таким образом. Русско-японский словарь лишь делает еще более явным тот недостаток, который свойствен нашим специальным словарям.

VI. Русско-японский словарь обладает еще одной особенностью по сравнению с современными русскими словарями: он гораздо толерантнее относительно разного рода вариантов слов — морфологических, орфо-

графических и пр. Отчасти эта тема уже затрагивалась когда речь шла о сведениях двух самостоятельных норм — лексикографической и энциклопедической, но Русско-японский словарь включает и варианты слов, существовавших ранее или существующих в современной печати независимо от того, представлены они в энциклопедиях или нет.

Современные русские словари, как в зеркале, отражают нормализаторский аскетизм их авторов: правильным должно быть только одно, выбора не должно и не может быть, иными словами — «другого не дано!». В соответствии с этими взглядами слово *зал* словари дают только в мужском роде. Между тем в XIX в. господствующей формой этого слова была форма женского рода. И писатели XX в., наследуя язык XIX в., сохраняют эту форму в своем употреблении (Б. Пастернак — «Охранная грамота» и «Доктор Живаго»; Марк Алданов — «Святая Елена, маленький остров»; Анастасия Цветаева — «Зимний старческий Коктебель» и многие другие).

Подчас слова *зал* в современных словарях только в мужском роде приводит к явным анахронизмам. Так, авторы книги о Н. Н. Пушкиной Н. Ободовская и М. Дементьев, переводя с французского письма Натальи Николаевны, используют форму мужского рода, между тем как в русских письмах Н. Н. Пушкиной, цитируемых в этой же книге, слово *зала* неоднократно употребляется только в женском роде. И появляющийся в переведенных письмах «зал» звучит как фальшивая нота. В Русско-японском словаре приводятся оба варианта — и *зал* и *зала*. Кроме слова *кофе*, в нем даются *кофей* и *кофий*. Об употребительности этих вариантов в наше время могут свидетельствовать такие примеры: — Это же дискотечный бар. А в баре варят отличный *кофий*, то есть *кофе*; — Тогда мы съедем не по две пачке пельменей, а по три. — И *кофий* будем пить кружками (Ст. Родионов, Запоздалые истины).

С поразительной точностью, отражающей реальную языковую практику, в Русско-японском словаре приводятся и орфографические варианты слов: *визига* и *вязига*. Последний вариант встречается гораздо чаще, чем первый, несмотря на однозначные рекомендации Орфографического, Орфоэпического и др. словарей, рекомендующих писать *визига* (например: Но оптимисты порой забывают, что кистеперая рыба давно была, известна местным рыбакам, смаковавшим ее *визигу*. — Химия и жизнь, 1989, № 3; *визига* написано на упаковочных коробках с этим продуктом и т. д.).

На своем алфавитном месте приводится *кащей* с указанием, что слово с этим написанием равно *кощей*. Кстати, написание *кащей* в современной орфографической практике встречается значительно чаще, чем рекомендуемое Орфографическим и другими словарями написание *кощей*. Так, в 1986 г. вышел на экраны фильм о *Кашее Бессмертном*. В афишах этого фильма, в рецензиях на него в Лит. газете, в Сов. экране и в др. изданиях это слово последовательно писалось через *а*: *кащей*.

В двух написаниях дается в Русско-японском словаре и относительно новое заимствование *офис* = *оффис*. Орфографический словарь русского языка явно поторопился ввести это слово в написание через одно *ф* — распространять на него те же правила, которые привели к написанию с одной буквой таких слов, как *коридор* и *галерея*, едва ли правомерно. Ведь сохраняются двойные согласные в более давних заимствованиях, например, *аффектация*, *коммерция*, *коммивояжер* и мн. мн. других. Слово *офис* слишком недавно было заимствовано: не следует спешить порывать в его письменной форме с языком-источником и создавать тем

самым дополнительные трудности для людей, знающих английский (для тех же, кто его не знает, безразлично, в каком виде его заучивать, — с одной или двумя *ф*). В русском следовало бы предпочесть орфографическую кальку — *оффис*, тем более, что часто встречающийся «Форин Оффис» пишется только с двойным *ф* (см., например, СЭС, Словарь ударений для работников радио и телевидения и др.).

Русско-японский словарь явился плодом большой и тщательной работы его авторов и редакторов. Именно уважение к их труду заставляет не оставить без внимания замеченные недочеты словаря. Так, приводя в алфавитном порядке имена собственные и нарицательные, авторы Русско-японского словаря вначале (т. е. выше) ставят нарицательное, а за ним (т. е. ниже) имя собственное, послужившее основой для слова, например, вначале идет апеллятив *наполеон*, а ниже — *Наполеон*, сначала апеллятив *бордо*, за ним *Бордо*, сначала *атлас*, за ним *Атлас*. Такой порядок слов проведен последовательно по всему словарю, однако, с нашей точки зрения, логичнее было бы вначале ставить имена собственные, явившиеся основанием для появления соответствующих апеллятивов, а за ними давать образованные от них апеллятивы, т. е. сначала *Наполеон*, ниже — *наполеон*, сначала *Бордо*, ниже — *бордо* и т. д. Это тем более существенно, что иногда порядок должен быть обратный, т. е. в тех случаях, когда от апеллятива образовалось имя собственное, например, *асбест* и название города на Урале — *Асбест*. Для этого случая порядок слов в Русско-японском словаре — сначала *асбест*, а за ним *Асбест* — оправдан.

Представляется странной форма словарной подачи наименований детенышей во множественном числе. Они даются так: *зайчят*, *-чат* — *зайченок*, т. е. исходной формой оказывается форма родительного падежа, а не именительного. Так же даются: *лебедят*, *дят*; *медвежат*, *-жат*, *лисят*, *-сята* и некот. др. Но слово *волчат* дается иначе (с нашей точки зрения, именно так, как и следовало бы дать всю группу): *волчат* → *волченок*, а при *волчонке* даются все формы: *волченок*, *-нка*, *-чат*. *-чат*. Правильно даются формы и у слова *княжата*, *-жат*. У слова *галчонок* форма мн. числа в отдельную словарную статью не вынесена, они даны при форме ед. числа: *галчонок*, *-нка*; *чата*, *-чат* (очевидно, потому, что эта форма по алфавиту должна была стоять рядом со словом *галчонок*), так же дано и слово *салаженок*, *-нка*, *салажата*, *-жат*. Отдельная подача форм *медвежата*, *лисята*, *зайчата* в Русско-японском словаре оправдана и целесообразна, она облегчает для японцев поиск исходной формы далеких друг от друга образований, но исходной должна быть выбрана форма именительного падежа, а не родительного.

Вызывает возражение выбор ударения для слов *гамлетовский*, *гамлетовщина* в группе *Гамлет*, *гамлетизм*, *гамлетовский*, *гамлетовщина*. Такое ударение связано с устаревшим произношением исходного имени *Гамлет* (Ты должен оправдать *Гамлета* имя — в переводе Н. Полевого). В современном произношении эти слова имеют ударение *гамлетовский* и *гамлетовщина*. Именно с таким ударением прилагательное *гамлетовский* дается в Орфографическом словаре и Словаре ударений для работников радио и телевидения. Возможен и другой подход — дать оба ударения: *гамлетовский* и *гамлетовский*, *гамлетовщина* и *гамлетовщина*, но тогда следовало бы дать оба ударения и на исходном имени *Гамлет* и *Гамлет*.

Разумеется, есть в Русско-японском словаре и опечатки, хотя замечено нами их было совсем немного, особенно немного, если иметь в виду весь огромный корпус словаря. Можно только поразиться и в этом случае тщательности произведенной работы.

Итак, с 1988 г. Русско-японский словарь начал свою работу. Это действительно мост, построенный между двумя отдаленными языковыми материками. Мост, их связывающий и потому объединяющий. Построенный японцами (при участии русских авторов), он сделан, как и положено хорошим мостам, с запасом прочности. Произведенная работа и результат, который ею достигнут, внушает уважение. Задуманный и исполненный ради японцев, по тем или иным причинам обращающихся к русскому языку, этот словарь стал одновременно явлением русской лексикографии. Он вошел в русскую лексикографию в важный момент развития нашего общества и русского языка. Завершился период, скромно именуемый периодом застоя. Даже язык приспособлялся для выполнения строго предписываемых ему функций: «Но и русский язык — мы теряем его в России, а не в Молдавии, не в Эстонии. Его так цинично использовали для общегосударственных пропагандистских нужд — а эта сфера у нас беспредельно широкая, — что как бы ... лишили его жизни, как ни чудовищно звучат эти слова. В официальных письменных текстах происходит деградация русского языка» [5].

Русские словари этого времени оказываются бесстрастным зеркалом, отражающим жизнь общества. Показательно все — лексика, которая включена, и лексика отсутствующая, какие слова являются частотными и какие — редкими и даже редчайшими. Сравнение с европейскими языками в отношении частотности некоторых групп лексики (например, нравственной проблематики). Показательна и нормативная направленность словарей этого периода — стремление к максимальному упрощенчеству рекомендаций. Как правило, эти рекомендации извлекаются из других словарей и переходят в следующие. При этом вне пределов внимания оказываются языковые явления и процессы, происходящие в реальной языковой жизни. На Московском кинофестивале 1989 г. существовала особая программа «Кино тоталитарной эпохи». Словари не в меньшей степени, чем кино, отражают названную эпоху. Показательно, что в последнее время стало заметно более частым обращение к Словарю В. И. Даля. На заседаниях Съездов Советов и Верховных Советов депутаты, а также дикторы и участники московской и ленинградской программ телевидения обращаются к Словарю Даля: например, толкование слова *свобода* М. А. Захаров (в программе «Киносерпантин» 8 окт. 1989 г.) дает по этому словарю. Однако почему по Далю, разве этого слова нет в других, более близких нам по времени словарях? Такое обращение к Словарю Даля, скорее всего, является актом неосознанным, но тем более показательным.

Новое время в жизни общества прямым образом отражается в языке. Язык начинает занимать едва ли не главенствующее место в духовном обновлении общества. Уже нельзя урезанный и донельная упрощенный русский язык адресовать национальным республикам: такой «извод» русского языка вызывает естественное отторжение у других национальностей. Краткие словари должны, очевидно, составляться совершенно по иным принципам, чем составлялись имеющиеся у нас. Одновременно нужны и иные полные словари. В ряду происходящих исторических событий факт появления такого словаря, как Русско-японский словарь, имеет чрезвычайное значение для русской лексикографии. Особое значение имеет то, что он сделан, с любовью и тщанием, коллективом японских русистов во главе с профессором Масанобу Того, т. е. людьми, смотрящими на русский язык со стороны, находящимися вне лексикографической «кухни». Такая позиция позволила им создать независимый объективный словарь.

Для русской лексикографии это — нечаянная радость. Следует с максимальной полнотой и рациональностью распорядиться открывающейся возможностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Русско-японский словарь / Под ред. Того М., Сомэя С., Исоя Т., Исияма С. [Токио], 1988. 2764 С.
2. *Баскаков Н. А.* Русские фамилии тюркского происхождения. М., 1979.
3. *Гозман Л., Эткинд А.* От культа власти к власти людей // Нева. 1989. № 7. С. 160.
4. *Вознесенский А.* Три бабочки культуры // Красная книга культуры? М., 1989. С. 96.
5. *Чудакова М.* В поисках утраченного отечества // Лит. газета. 1989. 20 сент.

© 1991 г.

МУРАВИЦКАЯ М. П.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКОЙ
ОМОНИМИИ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

Понимание омонимов, в частности семантических, как слов, возникших из полисемичного слова в результате творческого процесса¹ — «утраты говорящими чувства былой связи значений» ([3]; см. также [4]), предполагает при исследовании конкретного материала экспериментальное обращение к интуиции носителей языка. На основе языкового чувства информантов, косвенно подтверждающих в психолингвистическом эксперименте очень слабую семантическую связь между сопоставляемыми омофоничными лексемами, исследователь может квалифицировать последние как омонимы в отличие от семантически связанных лексем полисемичного слова. Необходимость анализа связи значений для решения проблемы тождества слова — основной единицы языка, установления границ, разделяющих полисемию и омонимию, была подчеркнута в лексикологической дискуссии 1957—1959 годов. Так, не соглашаясь с В. И. Абаевым, не без оснований озабоченным обилием омонимов в словарях, но считающим омонимию лишь игрой случая и выразившим мнение о невозможности возникновения омонимов из полисемичных слов ([5]; см. также [6]), Л. Л. Кутина отметила: создание словаря предполагает также и определение того, что носители современного языка воспринимают как одно слово, т. е. установление реального тождества слова, основанного на осознании смыслового единства всех его значений, которое в свою очередь основывается на ощущении говорящими живой связи между элементами его структуры, его значениями ([7]; см. также [8]).

Психолингвистический эксперимент обнаруживает неизбежные колебания в оценках носителями языка связи между значениями слов: известно, что значение, социальное по своей природе, индивидуально осмысливается говорящим. Целесообразность количественного уточнения этих колебаний обосновал Л. В. Щерба. Отвечая на упреки в ненадежности экспериментальных данных, он писал: «...индивидуальная речевая система является лишь конкретным проявлением языковой системы, а потому исследование первой для познания второй вполне законно и требует лишь поправки в виде сравнительного исследования ряда таких „индивидуальных языковых систем“» [9]. Эту же точку зрения разделял и Л. А. Булаховский. На вопрос: нет ли в опоре на сознание говорящего

¹ Звуковое тождество языковых форм «...значит не то, что в языке ослабело творчество, а то, что мысль не нуждается более в этой внешней опоре, что она довольно сильна и без нее, что она пользуется для распознавания формы другим, более тонким средством, именно знанием места, которое занимает слово в целом, будет ли это целое речью или схемой форм» [1]; омонимы — «...законные дети языкового творчества...» [2, с. 48], их рост и распространение «...лежит глубоко в природе языка и отвечает его задаче экономно использовать ограниченное число знаков для всей суммы психологических и логических возможностей» [2, с. 53].

при решении семасиологических проблем грубого субъективизма?— ученый ответил: нет. Уточняя свое понимание свидетельствами других, учитывая лингвopsихологический опыт говорящего, исследователь преодолевает опасность субъективизма [10]. В отличие от Л. В. Щербы и Л. А. Булаховского отрицательное отношение к психолингвистическим экспериментам в разграничении лексических омонимов, возникших в результате ослабления семантических связей в полисемичном слове, выразил (как и А. М. Пешковский [11]) Д. Н. Шмелев: «Ссылки на „языковое сознание“ говорящих здесь не могут помочь, поскольку, как показывают наблюдения, говорящим как раз свойственно стремление видеть что-то общее в смысле слов, имеющих одинаковое звуковое выражение. Показательно, что „языковое сознание“ сближает и этимологически различные, но вследствие различных причин совпавшие по звучанию слова» [12]. Действительно, в экспериментах, в которых информантам предлагается найти связь между омонимами, информанты находят ее даже между этимологическими омонимами, тем более если такая задача ставится и к тому же подразумевается, что эту связь нельзя не найти: ведь информанты нередко воспринимают эксперимент как проверку способностей. На вопрос: «Как вы думаете, почему *ключ* „источник“ называется так же, как *ключ* от двери?» информанты отвечают: «„Вода где-то за к л ю ч е н а и пробивается тоненьким р у ч е й к о м“ или „вода — к л ю ч жизни“ и т. п.» [13]. Но информанты находят связь не только между омонимами. В направленном эксперименте устанавливается ассоциативная связь между любой парой слов; она устанавливается также и в результате анализа словаря — по общности элементов, используемых в дефинициях [14]. Это свидетельствует о том, что в лексической системе — согласно с языковым чувством говорящих — все элементы семантически (ассоциативно) связаны. Но, — как доказали психологи [15, 16], — это не означает, что сила такой связи одинакова для различных значений. Поэтому при их дифференциации, в частности, при разграничении, с одной стороны, значений в пределах одного слова и, с другой — значений различных слов, омонимов, целесообразно обращаться к различиям в степени семантической связанности [17].

Поскольку и значения полисемичного слова, и омонимы обладают тождественными формальными свойствами, формальный критерий разграничения этих семасиологических категорий является недостаточным [18], что, следовательно, предполагает применение семантического критерия, а значит, и его психолингвистическую объективацию. Так, не только омонимы, но и лексико-семантические варианты многозначного слова характеризуются различной (лексической и синтаксической) сочетаемостью, входят в различные словообразовательные, синонимические, тематические группы. Последнее убедительно подтверждается психолингвистическими экспериментами [19, с. 12—14]. Кроме того, в речи, как и в свободном ассоциативном эксперименте, связь значений полисемичного слова с другими его значениями не осознается говорящими² — речевая реализация значений полисемичного слова не отличается от речевой реализации омонимов [19, с. 10].

² Слово может иметь много значений, «...но в отдельной фразе и говорящий, и его слушатель приписывают ему одно определенное значение, не думая при этом не только о синонимических словах, но и о других значениях данного слова» [20]; «если бы было верным положение, что всякое слово всегда несет с собой все свои значения одновременно, то мы при разговоре всегда испытывали бы то раздражение, которое вызывает у слушателя ряд каламбуров» [21].

Сродство же формальных и содержательных свойств полисемии и омонимии не исключает различий этих семасиологических категорий слов, прежде всего различий в степени связанности значений. Поэтому учитывая взаимодействие значений в лексико-семантической системе языка, следует предположить, что, во-первых, степень связанности различных значений в полисемичном слове различна; во-вторых, степень связанности между значениями в полисемичном слове выше, чем между значениями полисемичного слова и возникшим на его основе омонимом; в-третьих, между полисемичным словом и его омонимом существуют переходные случаи. Эти предположения проверены в психолингвистическом эксперименте на материале современного украинского языка [17].

Цель такого эксперимента — анализ количественных оценок носителями языка степени семантической связи между лексико-семантическими вариантами, т. е. психолингвистическая реализация семантического критерия разграничения полисемии и омонимии. В анализе устанавливается, какие формально-лингвистические и ассоциативно-семантические факторы содействуют или препятствуют ощущению носителями украинского языка одних лексико-семантических вариантов в качестве таких, которые имеют сильные или достаточно сильные связи в многозначном слове. Других как имеющих менее сильные связи, характерные для переходных случаев между полисемией и омонимией, третьих — слабые либо совсем незначительные, свойственные омонимам. Материал эксперимента — контексты с полисемичными и омонимичными существительными: *вид, визор, вогонь, дзвін, дзвіночок, захід, захоплення, ключ, коник, корінь, коса, край, лист, листопад, місяць, снід* — из текстовой картотеки «Частотного словника сучасної української художньої прози» [22] и из лексической картотеки Института языковедения им. А. А. Потебни АН УССР. Информантами были сотрудники этого же института (40 человек, родной язык — украинский)³, которым предлагалось определить степень семантической связи между подчеркнутыми в двух сравниваемых текстах словами по 11 балльной шкале оценок от 0 до 10 баллов включительно и по принципу: чем ближе значения, тем выше балл, и наоборот. Полное совпадение значений сравниваемых слов — 10 баллов, отсутствие семантической связи — 0. На основе данных эксперимента подсчитывалась средняя экспертная оценка степени семантической связи между сравниваемыми словами и мера ее колебания [24]. Например: «Це було в Харкові... в золотім місяці вересні» (О. Гончар) — «Була жахлива ніч степової бурі, на небі місяць літав з хмари на хмару, сухі блискавки сіклися в повітрі» (Ю. Яновский). Средняя оценка степени семантической связи между выделенными в предложениях словами равна 2 баллам, а мера колебания средней: 0,5. Это значит, что 95% всех ответов информантов расположены в интервале от 1 до 3 баллов. В предложениях «Березень — місяць вітрів, пробудження і передчуття» (Л. Дмитерко) — «Місяць зійшов, прадавнє козацьке сонце, на якому тепер наш вимпел лежить» (О. Гончар) средняя оценка не отличается от предшествующей (средние оценки для различных пар контекстов отождествляются, если различие между ними не превышает 10%).

В оценке степени близости сравниваемых слов значительную роль

³ По нашей методике [17] был проведен аналогичный эксперимент [23] со студентами (филологами и историками), который подтвердил основные выводы эксперимента с профессионалами (экспертами) — прежде всего носителями языка, а затем — лингвистами.

играет интуиция информантов филологов не только как носителей языка, но и как исследователей. К тому же восприятие носителями языка беллетристического текста влияет воплощенная в тексте интуиция его автора — и как носителя этого же языка, и как художника, оттеняющего значения слов поэтическими смыслами. Чтобы усилить проявление непосредственной интуиции информантов (чутья, а не знания языка) и в какой-то степени избежать влияния различных контекстуальных смысловых нюансов при установлении общей средней оценки, контексты чередовались в такой последовательности, которая почти исключала возможность их классификации. Эксперты пытались вспомнить, какую оценку они уже называли в подобных случаях, но эти случаи были отдалены не менее, чем шестью другими сопоставлениями, к тому же предлагавшимися информантам не в один и тот же день. Каждая следующая пара контекстов предъявлялась после того, как была оценена предыдущая. Приведем фрагмент эксперимента и интервалы колебаний средних оценок степени семантической связи: «Ах, знаю, знаю! По такому дні гусиний *ключ*, майнувши вдалині, в старих грудях розбудить серце юне» (М. Рыльский) — «Ти чуши? Десь вода дзвенить підземними *ключами*» (М. Рыльский): 0,2—1,0. «І в небі *місяць* білорогий шука між хмарами дороги» (В. Сосюра) — «Я гордий долею солдата нових віків, коханий край! На партквитку мосму дата: двадцятий рік і *місяць* май» (В. Сосюра): 1,0—3,0. «Південні ночі майже без вечорів, тільки *захід* одпалав — уже темніс раптово, небо вже — тьма космосу з крупинками зірок де-не-де» (О. Гончар) — «Смутно в степу. Розпечене сонце уже на *заході*» (А. Довженко): 8,3—9,9. «А вітер ласкавий з південного *краю* повіки цілує мені» (В. Сосюра) — «Синь і синь над морем без *краю*» (В. Сосюра): 0,4—1,6. «І в *косах* перша срібна волосинка нагадує про осінь і печаль» (М. Рыльский) — «І лється давін *коси* серед густих отав, і коник на гачку спадає в тихий став» (М. Рыльский): 0,2—0,8. «На *сході* троянди світанку в хитанні гілок золотих» (В. Сосюра) — «Ми йдемо зустрічати *схід* сонця» (О. Гончар): 6,3—7,9. «Косив білу від ромашки і голубу від *дзвіночків* траву» (М. Стельмах) — «Ми *дзвіночки*, лісові *дзвіночки*, славим день» (П. Тычина): 8,3—9,9. «Високо десь гусиний лине *ключ*» (М. Рыльский) — «Били джерельні *ключі*» (И. Цюпа): 0,2—1,1. Согласно ответам информантов самую слабую семантическую связь имеют словоупотребления *коса* — этимологические омонимы, а самую сильную — *дзвіночки*, а также *захід* — различные употребления одних и тех же значений. Интересно и важно, что при этимологической омонимии связь не равна нулю, а при тождестве значений — десяти баллам. В порядке ослабления степени семантической связи исследуемые слова могут быть расположены следующим образом: *дзвіночки* (цветы), *захід* (запад), *схід* (восход солнца и восток), *місяць* (на небе и календарный), *край* (сторона и конец), *ключ* (клин и источник), *коса* (волосы и орудие).

На основе количественных оценок носителями языка степени связи значений слов можно установить относительную границу между омонимами (0—3,5 балла) и между лексико-семантическими вариантами одного слова (3,5—10 баллов). Прерывание шкалы оценок степени семантической связи языковых единиц может быть и более дифференцированным: этимологические омонимы — преимущественно 0—1 балл, семантические омонимы — в основном 1—3,5 балла, периферия полисемии (как результат взаимодействия значений в структуре слова и различной степени функционального ослабления их связи) — 3,5—6 баллов, центр полисемии (высокая с точки зрения носителей языка степень связи значений) —

6—10 баллов. В точках, отмечающих условные границы, находятся переходные случаи.

Психолингвистический эксперимент раскрывает условность границ между категориальными группами значений слов: не только между полисемией и исторической (семантической) омонимией, но и между семантическими и этимологическими омонимами. Для носителей языка актуальные связи значений, определяемые функционированием слов в общении, в текстах, являются более важными, чем генетические [25]. Поэтому хотя связь между семантическими омонимами (возникшими в результате значительного ослабления связи значений в многозначном слове) оценивается информантами в основном выше, чем между этимологическими («случайными») омонимами, все же оценки части семантических омонимов совпадают с оценками этимологических.

Так, во-первых, степень связи семантических омонимов, например, *ключ* (от замка) и *ключ* (клин): 0,8—2,4 выше, чем этимологических *ключ* (источник) и *ключ* (от замка), а также *ключ* (источник) и *ключ* (клин): «Протікають *ключі*, протікають студені» (М. Стельмах) — «І лебединий *ключ* понаді мною, як парусами, крилами дзвенить» (М. Рыльский): 0,2—1,1. При этом омонимы *ключ* (от замка) и *ключ* (клин) возникли в результате противопоставленности существенной, функциональной характеристики предмета *ключ* (орудие, средство) — внешней, формальной, но основной для значения *ключ* (клин), подчеркиваемой, например, следующими контекстами: «Ледве проступає на тьмяно-блакитній високостві червона зоря Альдебаран на сході, вона піднімається все вище і вище, скоро все сузір'я, всім видимих зір, проступить на потемнілому небі — *гострим кутом*, журавлиним *ключем* вічності» (Ю. Яновский), «Тихо кличуть *ключі* журавлині, і за горами тане їх *клин*» (Т. Масенко). Если же новое значение образовалось на основе не внешнего признака предмета, а, напротив, расширенного использования существенного — функционального — свойства: «засіб відмикання» и, следовательно, «засіб розкриття, розуміння чогось — *ключ* до серця, до душі» (метафора от физического к психическому), то связь между исходным и производным значениями получает в психолингвистическом эксперименте высокую оценку: «Йй не треба підбирати якихось там *ключів* до людських душ, шукати довіри» (О. Гончар) — «Зачинив двері, замкнув їх, кипув *ключ* на стіл» (Л. Смелянский): 7,0—7,9. Аналогично и в случае противопоставленности динамики статике: *вихор* («вітер») и *вихор* («волосся») согласно оценкам информантов (1,0—2,2) являются омонимами. При этом в первом омониме выделяются лексико-семантические варианты: «Все мчить, лине, крутиться, біжить, вгорі, визу — невпинний рух усюди, течуть полями *вихорі* струмисті» (М. Рыльский) — «*Вихор* тривожних почувань і думок» (А. Донченко): 6,3—7,7. Здесь производное значение усиливает исходное, а не противопоставляется ему. В слове *вогонь* (которое согласно оценкам информантов не имеет омонимов) связь метафорического значения с исходным оценивается так же, как и в предыдущем случае «Як я умру на світі запалає покинутий *вогонь* моїх пісень» (Л. Украинка) — «Підкинули іще одно поліно, воно стріляло, схоплене *вогнем*» (М. Бажан): 6,4—7,6. Во-вторых, степень связи семантических омонимов типа *вид* («красвид», «вигляд», «обличчя») и *вид* (классификационное понятие, «видовий») оценивается информантами так же, как и этимологических: 0—0,8. В основе внутренней формы исходного значения лежит признак, характеризующий внешнюю, при этом воспринимаемую, а не постигаемую черту, что подчеркивается словообразовательным рядом *видіти*,

видітися, видний, видніти, виднітися, виднішати, видно, видовисько, видовище, включаючим експресивніє единиці. Функціональна протипоставленість внутрішнього зовнішньому, посиленна протипоставленістю постиптаємого воспринімаємому, як путь ослаблення семантичєских зв'язей, свідетельствует о неслучайності такого ослаблення і образования омонімов, актуальніє зв'язі между которми оцініваютьсє носітелями язика як очєнь слабєє. Характеризуєсь в цієлом болєє высєкой степені семантичєских зв'язей, чєм степені зв'язі етимологічєских омонімов, семантичєские омоніми імеют ширєкий діапазон коєбанія средніх оцєнок, то приближающійсє к інтервалам коєбанія оцєнок етимологічєских омонімов, то удаляющійсє от них. Так, інтервал оцєнок семантичєских омонімов *край* («кінєць», «межа») в устійчєвом вираженіи *без краю и край* («місцєвість»: *безмежний край — безкрайний, безкрай край*) перєсекаєтьсє з інтервалом оцєнок етимологічєских омонімов: «З неба темного невпинно лєтьєсь дощ *без краю*» (Л. Украинка) — «Давно в далєкєм ріднім *краї* я чула казку» (Л. Украинка): 0,4—1,6. Перєсєчєніє інтервалов оцєнок характерно и для омонімов, один из котрых употреблен в отрицатєльном предложеніи: «А ранок наливає в прозору чашу, що *крайє* не має, рожевого цілющєго вина» (М. Рыльський) — «велика ріка рідного *краю*» (А. Довженко): 0,7—2,9. Інтервали оцєнок стєпени семантичєской зв'язі *край* («місцєвість») и *край* («кінєць») без отрицання не перєсекаютьсє з інтервалом оцєнок етимологічєских омонімов: «Посеред неба гнєтьсє на південь чумацький шлях, і між його доспілими зорями трємить і осипаєтьсє на *край* землі срібний пилок» (М. Стєльмах) — «Так і залишили його з тими васильками в руді, з польовими квітами рідного *краю*» (О. Гончар): 1,5—3,5 (переходний случай от полисемии к омонимии). Стєпень семантичєской зв'язі в єтих случаях можно проверить возможностью синонимичєской заміни: *рідного краю* (*рідної землі*) — *на край землі*.

В ослабленіи стєпени семантичєской зв'язі и, следєватєльно, в образовании омонімов (и переходних случает между периферієй полисемичного слова и омонимієй) значитєльную роль играєт не только протипоставленіє функції предмета єго формє, но и различіє функціональних свойств предметов, обозначаємых омонимичными словами, в частности *лист* (дєрева), *лист* (письмо), *лист* (стали): «У присмерку осінньої алєї збирають діти каптановий *лист*» (М. Рыльський) — «Над мене гір шатри зелені, ремні навхрєст через плєчє, і *лист* Марії у кишєні солодким плєменєм печє» (В. Сєсюра): 1,2—2,1, «Настунного *листа* він тобі, певне, напише вже знаками давніх інків» (О. Гончар) — «*лист* сталєвий»: 1,6—3,6, «*лист* дєрева» — «*лист* сталєвий»: 2,2—3,8. Сходство формє, общность зовнішних признаков предметов, на основе котрой возникли єти значєнія, уступает место функціональным различіям, что и даєт возможность носітелям язика считать слабєй стєпень семантичєской зв'язі между анализируємыми словами, а иссєдоватєлю квалифіцировать их как омоніми: *лист* (дєрева и письмо) и как переходніє случай между омонимієй и периферієй многозначного слова: *лист* (письмо и сталь), *лист* (дєрева и стали).

В то же время несмотра на категориальніє различія *дзвін* (предмет и действие) информанты оцінівають єтот случай как промежуточный между периферієй и центром полисемии «Бив на спєлох церковний *дзвін*» (Ю. Смолич) — «О *дзвонє* крапель весняних» (М. Рыльський): 3,8—6,2. Ассоциация, прєпятствующєє образованию омонімов, поддерживаєтьсє здєсь звуком [дз]. Около 70% слов современного украинского литерат-

турного языка, начинающиеся на [дэ], обозначают звуковые процессы и явления: *дзелень, дзеленчаня, дзеленьканя, дзеленькіт, дзеленчати, дзеленькати, дзеленькнути, дзеленькотіти, дзеленькотати, дзень, дзенькати, дзенькіт, дзенькотіння, дзенькнути, дзенькотати, дзінь, дзінь-дзінь*. Не случайно слово *дзвін* используется в тексте с аллитерацией и ассонансом: «Чотири вершники полетіли у темінь, а з дзвіниці урочисто обізвалась мідь *дзвоніє*» (М. Стельмах). «А над усім мідяно гудів басом *дзвін*» (А. Головка). Близость значений подчеркивается в тексте их взаимным воздействием: «І чогось цей земний *дзвін* здавався відгомном *дзвоніє* далеких дзвіниць» (М. Стельмах): 5,0—6,6. Степень семантической связи между *дзвіночки* («квіти») и *дзвіночок* («маленький дзвін») дает возможность рассматривать *дзвіночки* («квіти») в качестве периферийного значения многозначного слова: 3,2—5,8. Несмотря на то, что внутренней формой *дзвіночки* («квіти») служит общность внешних признаков: сходство формы (аналогично и в русском: *колокольчик — колокольчики*), в метафорическом тексте возможно наложение смыслов и, таким образом, оживление внутренней формы *дзвін* (звучание): «А на гребні покосу тремтіли і безутішно плакали останніми сльозами тендіті, наче виткані з неба, *дзвіночки*» (М. Стельмах).

На сохранение семантических связей между значениями полисемичного слова влияет и прозрачность словообразовательной структуры: *листопад* — «опадання листу», «час, коли падає лист» и «місяць опадання листу»: «Сьогодні в лісі справжній *листопад*: клени обсіпаються від найменшого подиху вітерця» (А. Донченко) — «Це було, здається, в *листопаді* — крига затяглась між берегами» (М. Рыльский): 5,1—6,9 (переходный случай между периферией и центром полисемии). При этом внутренняя форма слова *листопад* в значении «осінній місяць» («лист падає») служит его поэтической характеристикой.

Итак, если признаки и функции предметов, обозначаемых исходным и производным значениями, противопоставляются, то образуются омонимы, имеющие различную степень слабой семантической связи: *вид, лист, ключ* (от замка и клин). Если же ассоциации поддерживаются звуковой (*дзвін*) или словообразовательной структурой слова (*листопад*), то, несмотря на различие признаков и функций, омонимы не образуются: значения оцениваются либо как периферийные либо как переходные между периферией и центром полисемии. И, наконец, если признаки и функции не только не противопоставляются, а, напротив, подчеркиваются в новом значении, становятся его основой, внутренней формой, то такое производное (метафорическое) значение находится в тесной связи с исходным, что обогащает полисемию слова, в частности, при развитии значений от физического к психическому: *ключ до душі, вихор думок, вогонь поезії*.

Психолингвистический эксперимент позволяет оценить степень семантической связи не только между производным омонимом и исходным значением — одним из значений многозначного слова — но и с каждым значением последнего, а также между всеми парами значений полисемичного слова, определить, таким образом, его центр, периферию и переходные случаи между центром и периферией. Так, в словоупотреблениях *корінь* информанты выделяют как близкие значения *корінь дерева — корінь зуба*: 7,5—8,5 (центр полисемии) и *корінь дерева — корінь зла*: 5,1—6,8 (переходный случай между центром и периферией), так и отдаленные. Они характеризуются — согласно интуиции информантов-филологов — следующими оценками: *корінь дерева — корінь слова*: 2,5—4,5 (переход от периферии полисемии к омонимии), *корінь дерева — корінь*

квадратный: 0,4—1,9 (омонимы). При этом различные терминологические значения оцениваются в качестве омонимов: *корінь слова* — *корінь квадратный*: 0,7—2,3. С точки зрения филологов степень связи терминологического лингвистического значения выше, чем математического, не только с исходным *корінь дерева*, но и с метафорическим: *корінь зла* — *корінь слова*: 3,1—5,5 (переход от полисемии к омонимии), *корінь зла* — *корінь квадратный*: 0,8—2,4 (омонимы).

В словоупотреблениях *захід* на основе ответов информантов разграничиваются многозначное слово *захід* и его омоним *захід* (мероприятие), который находится в омонимических отношениях с каждым из значений полисемичного слова. Многозначное слово *захід* имеет сложную структуру. В нем выделяются три последовательно связанных лексико-семантических варианта: *захід сонця* (процесс) — *захід* (место, где заходит солнце, «обрій») — *захід* («сторона світу»). При этом отношения между соседними звеньями цепочки демонстрируют связи, характерные для центра полисемии, а связь между крайними звеньями — переход от центра к периферии. Сравним: «*Захід сонця віщував негоду*» (Ю. Яновский) — «В глибині *заходу*, в хаосі хмар, все дужче палахкотить величезна купа вогню, купа сонця» (О. Гончар): 6,4—7,7; «*Захід згас багряний*» (М. Рыльский) — «Холодний осінній вітер дмухав із *заходу*» (Ю. Яновский): 6,8—8,6 и «Намалював картину *заходу*, коли сонце палає» (Ю. Яновский) — «Поїзд мчав із *заходу* на схід» (П. Панч): 3,8—6,2. Таким образом, в структуре полисемичного слова на основе оценок информантов выделяется связующее звено *захід* (место, где заходит солнце) между процессуальным значением *захід* (закат) и локальным *захід* (запад). С процессуальным значением тесно связано метафорическое употребление «*захід вечірній життя*» (П. Грабовский), выражающее значение времени: 6,3—7,7, и слабее связано (переход от центра к периферии) значение, выражающее характер действия, «*кількість заходів гвинта*»: 4,3—6,3. В то же время это последнее — омоним к значению *захід* («сторона світу»): 1,1—2,7, по отношению к которому, в свою очередь, «*захід вечірній життя*» является переходным между омонимией и периферией полисемии: 1,4—3,5. В слове *схід* (часть значений которого антонимична значениям слова *захід*) выделяется цепочка, аналогичная цепочке в слове *захід*: *схід сонця* — *схід* (место, где восходит солнце) — *схід* («сторона світу»), в которой тесно связаны между собой также только соседние звенья. Сравним оценки соседних звеньев: 6,0—8,2 и 6,5—9,1 с крайними: 4,2—6,2. Отношения в полисемичном слове *схід* усложняются энантиосемией: *схід на гору* — *схід з гори* (движение вверх и вниз). Согласно оценкам информантов значение *схід з гори* является омонимом по отношению и к *схід* (восход) и к *схід* (восток); значение же *схід на гору* — омонимично только относительно *схід* (восток), а по отношению к *схід* (восход) является периферийным. Лексикографическое представление случаев, когда в структуре полисемичного слова с одним из двух связанных между собой значений третье значение связано, а с другим оно образует омоним или является переходным между полисемией и омонимией, должно учитывать — при установлении лексико-семантических границ многозначного слова — не только непосредственные связи значений, но и связующее звено в его структуре.

Психолингвистический анализ омонимии как семасиологической категории показывает, что семантическая омонимия является следствием взаимодействия значений в структуре полисемичного слова⁴. Полисемия

⁴ Анализируя психическую основу языковых категорий, И. А. Бодуэн де Куртене писал, что в языке действует сила бессознательного обобщения, при помощи ко-

(с ее центром и периферией) и омонимия отличаются различной степенью связанности значений, которая зависит от функциональных свойств значений и от способов их представления в слове. Между полисемией и омонимией — согласно с языковым чутьем говорящих — нет резкой границы: существуют переходные случаи. В ответах информантов отражаются не только индивидуальные колебания при восприятии значений, но и результаты взаимодействия значений в лексико-семантической системе. Поэтому при категориальном прерывании семантического континуума — условном разграничении полисемии, переходных явлений и омонимии — необходимо опираться на интуицию носителей языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958. С. 66.
2. *Булаховский Л. А.* Из жизни омонимов // Русская речь. Ч. III. Л., 1928.
3. *Булаховский Л. А.* Введение в языкознание. Ч. II. М., 1953. С. 48.
4. *Фортунатов Ф. Ф.* Сравнительное языковедение // Избр. труды. Т. I. М., 1956. С. 133—134.
5. *Абаев В. И.* О подаче омонимов в словарях // ВЯ. 1957. № 3. С. 40.
6. *Благовещенский О. В.* Заметки об омонимах и их подаче в словаре // ВЯ. 1973. № 6. С. 125.
7. *Кутина Л. Л.* К вопросу об омонимии и ее отражении в словарях современного русского языка // Лексикографический сборник. Вып. IV. М., 1960. С. 41.
8. *Потапов С. М.* К обсуждению вопроса об омонимах // ВЯ. 1959. № 2. С. 49.
9. *Щерба Л. В.* О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 34.
10. *Булаховский Л. А.* Дестимологизации в русском языке // Булаховський Л. А. Вибрані праці в п'яти томах. Т. 3. Київ, 1978. С. 346.
11. *Пешковский А. М.* Понятие отдельного слова // Пешковский А. М. Методика родного языка, лингвистика, стилистика, поэтика. Л.; М., 1925.
12. *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. С. 96.
13. *Арсеньева М. Г., Строева Т. В., Хазанович А. П.* Многозначность и омонимия. Л., 1966. С. 5.
14. *Караулов Ю. Н.* Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981. С. 20.
15. *Виноградова О. С., Эйслер Н. А.* Выявление систем словесных связей при регистрации сосудистых реакций // Вопросы психологии. 1959. № 2.
16. *Лурия А. Р., Виноградова О. С.* Объективное исследование динамики семантических систем // Семантическая структура слова. М., 1971.
17. *Муравицкая М. П.* Психолингвистический критерий разграничения лексических омонимов // Научная конференция «Вопросы описания лексико-семантической системы языка»: Тез. докл. Ч. II. М., 1971.
18. *Ахманова О. С.* Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957. С. 111—113.
19. *Залевская А. А.* Психолингвистические проблемы семантики слова. Калинин, 1982.
20. *Покровский М. М.* Избранные работы по языкознанию. М., 1959. С. 82.
21. *Вандриес Ж.* Язык. М., 1937. С. 170.
22. Частотний словник сучасної української художньої прози. Т. I—II. Київ, 1981.
23. *Левецкий В. В.* Опыт экспериментального разграничения лексической полисемии и омонимии // Психолингвистические исследования. Лексика. Фонетика. Калинин, 1985. С. 4—14.
24. *Перебийніс В. С.* Методи дослідження // Статистичні параметри стилів. Київ 1967.
25. *Смирницкий А. И.* К вопросу о слове (проблема «тождества слова») // Тр. Ин-та языкознания АН СССР. 1954. Т. IV. С. 49.
26. *Бодуэн де Куртене И. А.* Некоторые общие замечания о языковедении и языке // Избр. труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963. С. 58—60.

торой народ — как носитель языка — подводит все явления душевной жизни под известные общие категории; система языковых категорий при этом аналогична системе небесных тел, обусловленной силами тяготения: если связь данной языковой единицы с родственными образованиями забыта, то эта единица обособлена от группы связанных единиц. Ученый подчеркивал, что чутье языка — не выдумка, не субъективный обман, его можно определить по его свойствам и действиям, подтвердить объективно, доказать фактами [26].

© 1991 г.

ГОЛУБЕВА-МОНАТКИНА Н. И.

**КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ**

Классификация считается особым методом познания: знания об объектах и классифицирование этих объектов взаимосвязаны и «безгранично стремятся улучшить друг друга» [1, с. 647]. Классификация и теория являются двумя способами организации знания, задача построения классификации адекватна задаче построения теории [2]. -

Самое трудное при классификации — выделение оснований (критериев) классификации, которые должны базироваться на существенных свойствах и закономерных связях классифицируемых объектов [1, с. 645; 2]. Познавая существенные свойства объектов, мышление познает тем самым общие свойства этих объектов, которые являются основанием для их объединения в классы и подклассы. Познавание существенных свойств объектов и их зависимостей — это познание закономерностей функционирования этих объектов [3]. Вот почему классификации, построенные на основании существенных свойств, способны отражать научные закономерности. Такие классификации могут считаться эффективными, обладающими объяснительной силой.

Лингвисты, логики, философы, социологи решают проблему классификации вопросов и ответов неодинаково; по-разному классифицируются вопросы и ответы также и в пределах одной науки. В целом в научной литературе из множества выявленных оснований классификации вопросов и ответов еще не выбраны те, которые формируются существенными свойствами вопросов и ответов и по которым могут быть построены эффективные классификации. Вместе с тем эффективизация классификации вопросов и ответов необходима для решения научно-практических задач, не решаемых удовлетворительным образом с помощью неэффективных классификаций. Мы полагаем, что искомые классификации вопросов и ответов диалогической речи могут быть построены с опорой на междисциплинарную систему теоретических и эмпирических оснований¹.

Анализ теоретической литературы и языкового материала позволяет выдвинуть гипотезу о существенности для классификации двадцати шести свойств вопросов и двадцати свойств ответов. Эти свойства служат критериями оценки отобранных массивов вопросов и ответов и одновременно классообразующими значениями оснований классификации. Строится матрица вопросов, столбцы которой формируются двадцатью шестью критериями, а строки — двумястами шестьдесятю вопросами, и матрица ответов, столбцы которой образуются двадцатью критериями, строки — двумястами вопросами (по каждому критерию вводится соответственно десять вопросов и десять ответов). В связи с большой размерностью обе

¹ Изучение вопросов и ответов не может не быть междисциплинарным. О междисциплинарности исследований межличностной коммуникации см., например [4, с. IX].

матрицы обрабатываются на ЭВМ несколькими математико-статистическими методами, в том числе корреляционным, факторным и кластерным анализом (об этих методах см., например [5]). Лингвистическая интерпретация полученных данных позволила отобрать существенные для классификации свойства вопросов и ответов, отбросить свойства несущественные и, в конечном счете, построить эффективные классификации вопросов и ответов.

Результаты подсчета средних арифметических и величины стандартного отклонения показывают, что в отобранных массивах свойства вопросов и ответов, сами вопросы и ответы, представляющие эти свойства, являются неравноценными — среди них имеются более «сильные» и более «слабые» в классификационном отношении. 87% вопросов способны иметь свойства собственно-вопроса; 53% вопросов — свойства вопроса, в котором все неизвестные компоненты положения дел одинаково неизвестны (*Когда же он придет?*); 52% вопросов — свойства вопроса, в котором альтернативы задаются перечислением (*Каковы должны быть мои первые слова? Товарищи? Граждане? Друзья?*); 44% являются *ты/-вы*-вопросами: 46% вопросов употребляются с вопросительным словом. 44% ответов полностью или частично подтверждают положение дел, представленное в вопросе, и лишь 22% ответов опровергают это положение дел. Последнее согласуется с выводами психологов, социологов о тенденции отвечающих так или иначе соглашаться с тем, о чем спрашивают, и объясняется «навязыванием» (импозицией) [4] спрашивающим отвечающему своего представления о положении дел в мире.

Разные свойства вопросов (ответов) в разной мере различают между собой вопросы (ответы). Так, больше всего разнороден массив вопросов по свойствам вопроса, в котором все неизвестные компоненты положения дел одинаково неизвестны (стандартная мера вариации $s = 0,5$), вопроса, в котором альтернативы задаются перечислением ($s = 0,5$), вопроса с вопросительным словом ($s = 0,499$), *ты/-вы*-вопросов ($s = 0,497$). Массив ответов наиболее разнообразен по свойствам подтверждающего ответа ($s = 0,496$), «свернутого» ответа, т. е. такого, который из-за пропущенных словесных фрагментов непонятен вне данной вопросо-ответной последовательности (*С. Ты может сама поешь? О. Нет/когда приду // ; С. И наверно они недорогие! да? О. Ну конечно // Тряпка // ²*) ($s = 0,495$), и менее разнороден, например, по свойствам опровергающего ответа ($s = 0,419$), внеситуационной неинформативности (*С. Что ты сказал? О. Я сказал то, что я сказал.*) ($s = 0,434$).

Матрицы вопросов и ответов дали возможность выявить корреляции между каждой парой свойств вопросов, каждой парой свойств ответов, каждыми двумя вопросами, каждыми двумя ответами. Наличие связей говорит о том, что данное свойство может выступать в качестве классообразующего значения основания классификации, отсутствие связей — о неприемлемости свойства в таком качестве. Для вопроса, в котором все неизвестные компоненты положения дел одинаково неизвестны, характерно наличие вопросительного слова (коэффициент корреляции $r = 0,616$); зона использования такого вопроса не пересекается с зонами употребления вопроса-констатации данного положения дел (*Тебе наверно не очень удобно/да?*) ($r = -0,439$), вопроса, в котором неизвестен факт наличия или отсутствия действия, состояния, признака (*Павел уехал?*

² Примеры воспроизведены так, как они зафиксированы в источниках, которые в статье не приводятся.

Павел уехал или не уехал?) ($r = 0,384$), вопроса, в котором один из неизвестных компонентов положения дел наиболее вероятен (*Это кто же сказал? Толик?*) ($r = -0,301$). Один из вопросов, слабо связанных с другими и поэтому не способных служить целям классификации, — это я-вопрос (*Я тебе говорила Ваню утвердили?*), имеющий коэффициент корреляции не выше 0,149. Подтверждающий ответ связан с собственно ответом, т. е. таким, в котором отвечающий так или иначе «обрабатывает» (в частности, опровергает или подтверждает) представление о положении дел, описанное спрашивающим (*С. Джона пригласила на вечер Мери или Джейн? О. Джона пригласила на вечер Мери.*) ($r = 0,510$). Отрицательные коэффициенты корреляции указывают на противоположность подтверждающего ответа опровергающему ($r = -0,482$), нет-ответу ($r = -0,290$), «неответу» (*С. Когда вы родились? О. Сегодня светит солнце.; С. Да кто же это такой? О. Ишь, Штирлиц какой! Не дура, не проболтайся!*) ($r = -0,382$), «вопросительному» ответу (*С. Вернись холостые? О. На ком жениться мне?*) ($r = -0,281$).

Итак, проверка гипотезы о существенности для классификации двадцати шести свойств вопросов и двадцати свойств ответов обнаружила, что существенны семнадцать свойств вопросов и пятнадцать свойств ответов. Для вопросов — это свойства 1) собственно-вопроса; 2) вопроса, в котором одинаково неизвестны разные компоненты положения дел; 3) вопроса, в котором один из компонентов положения дел наиболее вероятен; 4) вопроса, в котором одинаково неизвестен факт наличия или отсутствия действия, состояния, признака; 5) сопоставляющего вопроса (*А на такси? А как же тогда?*); 6) уподобляющего вопроса (*И на такси не успеете? = На такси тоже не успеете?*); 7) вопроса-повторения¹ при ответе (*С. Вы убили много львов, мсье Тартарен? О. Много ли я их убил?*); 8) вопроса-констатации данного положения дел; 9) вопроса-констатации противоположного положения дел (*Кто себе зла желает? „никто себе зла не жалует“*); 10) ты-/вы- вопроса; 11) вопроса с вопросительным словом; 12) вопроса с частью, присоединенной через *или* (*Вы кашу сейчас хотите/или потом?*); 13) вопросов с вопросительными частицами (*Может ли это быть?*); 14) невозможности ответа *да/нет* на данный вопрос (*Да спать-то, скажи, куда мне положить гостя, а?*); 15) способа задания альтернатив; 16) составного вопроса (*Где находится город Тимбукту и каково его население?*); 17) последовательности (цепочки) вопросов (*Почему он не приехал? Опоздал на поезд?*). Для ответов существенны свойства 1) собственно-ответа; 2) подтверждающего ответа; 3) опровергающего ответа, 4) «выводного» ответа (*С. Ты разбил стекло? О. Стекло разбил Иванов. «стекло разбил не я»; С. Существуют ли металлы, которые легче воды? О. Натрий легче воды. «также металлы существуют»*); 5) ответа-контактной формы (*С. Что ты говоришь? И он никуда не уезжал? О. Представляешь?*); 6) повторения вопроса при ответе; 7) *не знаю* ответа, 8) «неответа»; 9) информативной избыточности ответа (*С. Из чего должны быть изготовлены рукавицы? О. Рукавицы должны быть изготовлены из трудновоспламеняемых тканей; должны иметь усилительные и защитные накладки.*); 10) внеситуационной неинформативности; 11) ситуационной неинформативности (*С. Кто построил этот дом? О. Самый богатый человек в городе.*); 12) «вопросительного» ответа; 13) *да*-ответа; 14) *нет*-ответа; 15) «свернутого» ответа.

Для классификации вопросов оказались несущественными свойства вопроса-побуждения к действию, вопроса-контактной формы, вопроса с поясняющим значением (*А Павел, он куда идет?*), я-вопроса, вопросов с отрицательными словами *не, нет*, некодифицированных (*Ты чего су*

против матери идешь?), многоместных (Какие из мальчиков являются братьями каких девочек?), гипотетических (Если бы вам надо было уйти, взяли бы вы с собой зонт?), условных (Если вам надо было уйти, вы брали с собой зонт?). Для ответов несущественны свойства ответа-перечисления (С. Что/разрезать хочешь? О. И разрезать, /и класть корицу и завертывать/), ответ-побуждения к действию, ответов вероятностного (С. Она придет: О. Вероятно.; С. Ты идешь в кино? О. По-видимому, нет.), множественного, т. е. ответа на многоместные и составные вопросы (С. Где и каким образом осуществляется связь между товаропроизводителями? О. На рынке, в процессе обмена.), неcodифицированного (С. Ну, а у вас какие любимые места в Ленинграде-то есть? О. Любимое место вот Парка Победы я всегда интересуюсь посмотреть/).

Факторный анализ выявил те свойства вопросов и ответов, которые оказывают преимущественное влияние на отобранные массивы и которые могут быть положены в основу классификации. Это — свойства собственно-вопроса, свойства несобственно-вопроса, свойства повторения вопроса при ответе. Для собственно-вопросов важны свойства сопоставляющих вопросов, вопросов, в которых неизвестен факт наличия или отсутствия действия, состояния, признака. вопросов, в которых один из неизвестных компонентов положения дел наиболее вероятен. вопросов, в которых все неизвестные компоненты положения дел одинаково неизвестны; для несобственно-вопросов — свойства уподобляющих вопросов, вопросов-констатаций данного положения дел, вопросов-констатаций противоположного положения дел. На отобранный массив ответов преимущественное влияние оказывают свойства собственно-ответов подтверждающего, опровергающего, «выводного» и несобственно-ответов — «неответа», повторения вопроса при ответе, ответа-контактной формы. Обнаружилось также, что существуют вопросы, обладающие свойствами переходными от собственно- к несобственно-вопросам, и ответы, переходные от собственно к несобственно-ответам.

Результаты кластерного анализа в целом подтвердили данные факторного анализа. Свойства вопросов распределились по восьми кластерам (классам): 1) собственно вопрос; 2) вопрос, в котором неизвестен факт наличия или отсутствия действия, состояния, признака, и вопрос, в котором альтернативы задаются перечислением; 3) вопрос, в котором один из неизвестных компонентов положения дел наиболее вероятен, и свойства последовательности (цепочки) вопросов; 4) уподобляющий вопрос и вопрос-констатация данного положения дел; 5) вопрос, в котором все неизвестные компоненты положения дел одинаково неизвестны, и вопрос с вопросительным словом; 6) сопоставляющий вопрос и вопрос с вопросительной частицей; 7) повторение вопроса при ответе и вопрос констатация противоположного положения дел; 8) вопрос с частью, присоединенной через *или*, и составный вопрос. Свойства ответов сгруппировались по семи кластерам: 1) собственно-ответ, подтверждающий ответ и ситуационная неинформативность; 2) *да*-ответ и «свернутый» ответ; 3) опровергающий ответ и *нет*-ответ; 4) «выводной» ответ и информативная избыточность ответа; 5) повторение вопроса при ответе и *не знаю*-ответ; 6) ответ-контактная форма; 7) «неответ», внеситуационная неинформативность, «вопросительный» ответ.

Путем выявления связей между каждыми двумя вопросами внутри каждой из двадцати шести групп вопросов и связей между каждыми двумя ответами внутри каждой из двадцати групп ответов отобраны вопросы и ответы, типичные для каждой из групп. Произведен корреляционный

анализ матрицы двадцати шести типичных вопросов друг с другом и матрицы двадцати типичных ответов друг с другом. Обработка корреляционной матрицы типичных вопросов с помощью факторного анализа показала, что при классификации вопросов необходимо учесть: собственно-вопросы; несобственно-вопросы, вопросы, в которых неизвестен факт наличия или отсутствия действия, состояния, признака; вопросы, в которых все неизвестные компоненты положения дел одинаково неизвестны; сопоставляющие вопросы; вопросы, в которых один из неизвестных компонентов положения дел наиболее вероятен; вопросы с вопросительным словом; вопросы с частью, присоединенной через *или*; вопросы с вопросительными частицами; последовательности (цепочки) вопросов. При факторизации матрицы корреляций типичных ответов выявлено, что для классификации важно принять во внимание подтверждающий и опровергающий собственно ответы, несобственно-ответы, а также «выводные» ответы и *не знаю*-ответы.

Результаты факторного анализа типичных вопросов близки к результатам факторного анализа свойств вопросов — в обоих случаях оказалось, что на отобранный массив из двухсот шестидесяти вопросов влияют характеристики, обусловленные коммуникативной установкой говорящего³. Различие состоит в том, что при факторизации матрицы свойств вопросов выделился критерий повторения вопроса при ответе, а при факторизации матрицы типичных вопросов это влияние позиции говорящего по отношению к адресату, по-видимому, распределилось по разным вопросам и не стало фактообразующим. Результаты факторного анализа типичных ответов в целом совпадают с результатами факторного анализа свойств ответов.

Кластеризация матрицы типичных вопросов в основном подтвердила данные факторного анализа. Вопросы сформировали четыре кластера 1) собственно-вопросы, передающие а) перечислением альтернатив вопрос, в котором неизвестен факт наличия или отсутствия действия, состояния, признака, б) с помощью последовательности (цепочки) вопросов такой вопрос, в котором один из неизвестных компонентов положения дел наиболее вероятен, в) перечислением альтернатив вопрос, в котором все неизвестные компоненты положения дел одинаково неизвестны, г) вопросы сопоставляющие, с вопросительными частицами; 2) вопросы, в которых все неизвестные компоненты положения дел одинаково неизвестны и которые выражены с помощью вопросительного слова; 3) вопросы, переходные от собственно к несобственно-вопросам; 4) несобственно-вопросы.

Кластерный анализ типичных ответов распределил ответы по четырем кластерам: 1) подтверждающий ответ, информативно избыточный ответ и ответ-побуждение к действию; 2) вероятностный ответ, *ДА*-ответ, ответы, имеющие свойства внеситуационной и ситуационной неинформативности; 3) опровергающий ответ, *НЕТ*-ответ, «выводной» ответ, *не знаю*-ответ; 4) ответ-контактная форма, «вопросительный» ответ, повторение вопроса при ответе, «неответ». Эти результаты не противоречат тем, которые получены факторным анализом типичных ответов.

Различия полученных факторным и кластерным анализом класси-

³ Вслед за Д. Узнадзе и М. Гелашвили мы понимаем установку как выражение непосредственной связи системы «субъект — положение дел в мире», как отношение между субъектом и действительностью, которое определяет психофизическую активность субъекта [6].

фикаций объясняются именно различиями примененных методов⁴. В инвариантной части этих классификаций выделяется то общее, что способно быть базой классификации. Кроме того, любая из полученных статистическими методами классификаций может быть улучшена за счет углубления теоретического анализа — в науке известна важность теоретического осмысления эмпирических данных. Вот почему классификации были доработаны, в них внесены изменения, необходимые для более эффективного согласования эмпирических данных с теорией.

Все вопросы русской диалогической речи разделены на класс собственно-вопросов, класс несобственно-вопросов, класс вопросов, переходных от собственно- к несобственно-вопросам. Собственно-вопросы разделены на следующие подклассы: сопоставляющие вопросы; вопросы, в которых неизвестен факт наличия или отсутствия действия, состояния, признака; вопросы, в которых все неизвестные компоненты положения дел одинаково неизвестны; вопросы, в которых один из неизвестных компонентов положения дел наиболее вероятен. Несобственно-вопросы разделены на подкласс вопросов, констатирующих данное положение дел, и подкласс вопросов, констатирующих противоположное положение дел. Класс вопросов, переходных от собственно- к несобственно-вопросам, представлен уподобляющими вопросами. Возможна также дихотомическая классификация вопросов по основанию, обусловленному позицией одного говорящего по отношению к другому — вопросы делятся на класс вопросов отвечающего, представленный вопросами-повторениями при ответе, и класс вопросов спрашивающего. Эта классификация может быть надстроена над предыдущей, которая в этом случае явится классификацией вопросов спрашивающего.

Все ответы делятся на класс собственно-ответов, класс несобственно-ответов и класс ответов, переходных от собственно- к несобственно-ответам. Собственно-ответы делятся на подкласс подтверждающих ответов и подкласс опровергающих ответов. Несобственно-ответы делятся на подкласс «неответа», подкласс повторения вопроса при ответе, подкласс ответа-контактной формы. Вопросы переходного типа делятся на подкласс «выводных» ответов и подкласс *не знаю*-ответов.

Построенные классификации могут быть названы коммуникативными, поскольку свойства вопросов и ответов, которые послужили классообразующими значениями оснований классификации, отражают коммуникативные установки говорящего, т. е. спрашивающего и отвечающего.

Классификационное исследование позволило сравнить свойства вопросов и ответов. Во-первых, и для вопросов и для ответов существенны в классификационном отношении те свойства, которые обусловлены коммуникативной установкой говорящего. Во-вторых, общие для вопросов и ответов свойства по-разному важны для классификации: свойство побуждать к действию несущественно ни для вопросов, ни для ответов; свойство устанавливать или поддерживать контакт с собеседником важно для ответа, но не для вопроса; свойство повторения вопроса при ответе значимо и для вопросов и для ответов. В-третьих, имеющие одно и то же свойство вопросы и ответы занимают разное место в классификации: вопросы-повторения при ответе формируют отдельный класс, противопоставленный классам собственно-, несобственно-вопросов и вопросов, переходных от собственно- к несобственно-вопросам, а в классификации

⁴ Более подробное изложение результатов статистической обработки матриц см. в [7].

ответов повторение вопроса при ответе образует подкласс класса несобственно-ответов.

Свойства, формируемые средствами передачи коммуникативной установки говорящего, более важны для вопросов, чем для ответов. Будучи в классификационном отношении несущественными, эти свойства все же оказываются для вопросов «диагностическими признаками» существенных, т. е. коммуникативных, свойств. Это различие свойств вопросов и ответов выявлено при лингвистической интерпретации данных, полученных математико-статистическими методами: сравнение результатов внутригруппового и межгруппового анализа вопросов с результатами соответствующего анализа ответов обнаружило, что ответы меньше различаются друг с другом, более гомогенны, чем вопросы.

Несходство свойств вопросов и ответов проявляется и в том, что вербальные средства передачи коммуникативной установки говорящего менее значимы в ответе, чем в вопросе. Этим объясняется обычность, например, ответов-жестов, ответов «бессловесных, притом кратчайших интонаций» (выражение А. Ф. Лосева [8]), тогда как использование вопросов-жестов вряд ли типично. Большая роль вербальных средств выражения в вопросе, чем в ответе, сделала вопрос более доступным для исследователя, чем ответ. Именно поэтому вопросы изучены лучше, чем ответы, и, в частности, имеется больше классификаций вопросов, чем классификаций ответов. Минимизации роли вербальных средств в ответе обуславливает также то, что предложения, квалифицируемые как «плохие», «аномальные» вне вопросо-ответной последовательности, нередко становятся «хорошими» при употреблении в качестве ответных. Например, аномальное повествовательное предложение *За этот год добыча угля не возросла на 10 миллионов тонн* [9] нормально как ответ на вопрос типа *Скажите же мне, наконец: за этот год добыча угля возросла или не возросла на 10 миллионов тонн?*

Сравнение вопросов и ответов показывает, что информационные свойства более важны для ответов, чем для вопросов. Вопросу свойственна энтропия, ответ же энтропию снимает, содержит информацию [10]. Максимум энтропии содержится в собственно-вопросах, они характеризуют максимальную информационную потребность спрашивающего; минимум энтропии — у несобственно-вопросов, они свидетельствуют о минимальной информационной потребности спрашивающего. Так, вопросы, констатирующие данное или противоположное положение дел, имеют минимальную энтропию, и это приводит некоторых исследователей к мысли о том, что в таких вопросах предвидится ответ. Более точно измерить энтропию вопроса пока не удастся (см. логико-семантический подход к этой проблеме [11], подход с точки зрения степени неизвестности неизвестного [12]). Что касается информации, содержащейся в ответе, она может быть измерена, на наш взгляд, лишь путем соотнесения этой информации с энтропией соответствующего вопроса: информативность ответа может соответствовать энтропии вопроса, превосходить ее или, напротив, быть недостаточной. При этом заметим, что информационные свойства не являются для ответов существенными. Это — «диагностические признаки» коммуникативных свойств ответов (подобно тому, как свойства, обусловленные средствами выражения установки говорящего, служат «диагностическими признаками» коммуникативных свойств вопросов).

Различия вопросов и ответов обусловлены различием их гносеологического статуса. В вопросе представлено два или несколько возможных

миров, которые эпистемологически понимаются как другие варианты видения реального мира⁵. Спрашивающий соотносит эти возможные миры не с действительностью, реальным миром, а один возможный мир с другим или целым рядом возможных миров, эксплицированных в вопросе (*Павел уехал или остался дома? Каковы должны быть мои первые слова? Товарищи? Граждане? Друзья?*) или не эксплицированных (*Существуют ли единороги? «существуют или не существуют?»; Каковы должны быть мои первые слова?*).

Отсутствие необходимости соотнести с реальным миром «построенные» спрашивающим возможные миры приводит к тому, что в вопросе может идти речь практически о любых, даже самых необычных возможных мирах. Таковы, например, вопросы-софизмы древнегреческих философов Мегарской школы (типа *Перестал ли ты бить своего отца?, Перестал ли ты носить рога?*). Необязательная тождественность возможных миров вопросу реальному миру лежит в основе особой роли вопроса в человеческом познании вообще и в научном познании в частности. На этом свойстве базируются так называемое герменевтическое первенство вопроса [14, с. 426—427], важность вопроса в обучении. Это гносеологическое свойство вопросов, предопределяющее практически все остальные их свойства, позволяет создавать так называемые интеррогативные теории исследования и в частности утверждать, что «любой этап науки задается определенным набором вопросов» [15]. Не случайным в этой связи кажется и то, что исследование вопросов было начато именно философами: вопрос как вид речи выделен Протагором, с помощью вопросов искал истину Сократ, вопрос изучался Платоном.

Соотнесение представленных в вопросе возможных миров с реальным миром производится отвечающим, который нередко выбирает один из миров спрашиваемого: *С. Павел уехал или остался дома? О. Уехал.; С. Существуют ли единороги? О. Не существуют.* Думается, что именно в ответе происходит то сравнение действительности с предложением, о котором писал Витгенштейн, и что именно в ответе говорящий мысленно привязывает пропозицию к реальному миру [16, с. 87]. В гносеологическом аспекте с ответами сходны несобственно-вопросы, которые, как и ответы, соотнесены с действительным положением дел в мире (см. подробнее [17]).

Разная гносеологическая сущность вопроса и ответа приводит к разному решению проблемы их истинности. Почти общепризнанная непродуктивность самой постановки проблемы истинности вопроса предопределена, на наш взгляд, именно несоотнесенностью возможных миров с действительностью (хотя проблема истинности в возможном мире решаема, например, в том случае, когда речь идет об истинности пропозиции [16, с. 85]). Проблема истинности ответа решается тривиальным соотнесением положения дел в мире отвечающего с положением дел в мире объективном, мире всех потенциальных отвечающих: при тождестве этих миров ответ истинен, при отсутствии тождества — ложен.

Рассмотрение вопроса-ответной последовательности в аспекте противоречивости показывает, что противоречивость вопроса может считаться

⁵ «„Возможные миры“ моделируют перебор обстоятельств, альтернативных положений дел... Одно дело — реально существующее в мире положение дел, другое — положение дел, допустимые в соответствии с нашим знанием или концептуальным аппаратом, законами логики, принимаемыми гипотезами, нормами и т. д. Особое место занимают положения дел, согласующиеся с нашими установками — желанием, верой, мнением, полаганием, с этическими установками и, наконец, даже с мирами мечты или фантазии» [13].

«доантиномической» — в вопросе лишь фиксируется различие между возможными мирами (*Павел уехал или не уехал?*). В ответе эта противоречивость либо полностью снимается (*С. Павел уехал или не уехал? С. Уехал.*), либо сохраняется, превращаясь в логическое противоречие, антиномию (*С. Павел уехал или не уехал? С. * Уехал или не уехал.*). Эта антиномия преодолима с помощью специальных языковых средств: *С. Павел уехал или не уехал? О. Не знаю.* «не знаю, уехал или не уехал».

Отвечающий более ограничен в выборе положений дел для ответа, чем спрашивающий в выборе возможных миров вопроса. Представляется, что ограничения, налагаемые на спрашивающего, обусловлены преимущественно тем комплексом факторов, которые, по Ю. Д. Апресяну, формируют личную сферу говорящего [18]. Отвечающему же, кроме ограничений своей собственной личной сферы, «навязываются» возможные миры спрашивающего, которые в той или иной мере предопределены личной сферой последнего. Кроме того, отвечающий в силу своей позиции в диалоге имеет «гносеологические обязанности», состоящие в соотношении выбранного положения дел с действительностью.

В ответе может быть выбрано не только одно из положений дел, предложенных спрашивающим (*С. В каком году вы родились? О. В 1914.*), но и положение дел, не тождественное ни одному из возможных миров вопроса (*С. В каком году вы родились? О. Сегодня светит солнце.*). Отвечающий способен построить собственные возможные миры, не соотношенные с действительностью: *С. В каком году вы родились? О. А почему вы хотите об этом узнать?* Такое нарушение гносеологических обязанностей отвечающим нередко оценивают как искажение коммуникативных конвенций: общеизвестен запрет типа «Нельзя (неприлично) отвечать вопросом на вопрос». Этот запрет, однако, касается лишь собственно-вопросов, а несобственно-вопросы, соотносимые говорящим с действительным положением дел, прекрасно служат ответами: *С. Вернулись холостые? О. На ком жениться мне?* «мне не на ком (было) жениться».

Соотношение выбранного отвечающим положения дел с действительностью происходит на основе общеязыкового метонимического принципа представления целого по части. При этом целым является заданная спрашивающим совокупность возможных миров, частью — положение дел, выбранное отвечающим (*С. Углы квадрата прямые, тупые или острые? С. Углы квадрата прямые.*). Но метонимический принцип действует в том случае, когда выбранное отвечающим положение дел тождественно положению дел, представленному в вопросе, и бездействует при отсутствии такой тождественности. На вопрос *В каком году вы родились?* можно дать «неответ» *Сегодня светит солнце.*, но не ответы типа **Солнце.* или **Восю светит.* Ср. нормальные вопросо-ответные последовательности: *С. Сегодня у вас солнце? О. Восю светит.*; *С. У вас сегодня дождь? О. Солнце.* Именно поэтому приводимый Гегелем ответ мегарского философа Менедема *Я не перестал его бить и никогда к тому же его не бил* [19] на вопрос *Перестал ли ты бить своего отца?* мог быть таким и только таким — Менедем не может употребить *да, нет*, ответить с помощью жеста, поскольку в его мире он (сын) не бьет и не способен бить отца. Отсутствие тождества положений дел в мире спрашивающего и отвечающего вынуждает отвечающего четко вербализовать выбранное им положение дел.

Необходимость построить свои возможные миры и четко их вербализовать делает роль спрашивающего в диалоге более сложной, чем роль отвечающего. Здесь можно найти объяснение тому, что, по словам

Х.-Г. Гадамера [14, с. 427], относится к глубочайшим открытиям сократических диалогов Платона — вопрос труднее ответа.

Задавая вопрос, т. е. строя свои собственные возможные миры, спрашивающий более независим, чем отвечающий, который, выполняя «гносеологические обязанности», лишь выбирает из того, что предлагает спрашивающий. О большей зависимости отвечающего свидетельствует и существование уже упоминавшегося запрета отвечать на вопрос с помощью собственно-вопроса, т. е. запрета отвечающему построить свои, не соотношенные с действительностью возможные миры. Вопрос и ответ, очевидно, обладают неравным «коммуникативным суверенитетом»: вопрос более «независим», чем ответ. Это позволяет сделать вывод об односторонности связи вопроса и ответа в одной и той же вопросо-ответной последовательности — вопрос от ответа не зависит, а ответ от вопроса зависит. Несимметричность связи вопроса и ответа в одной и той же вопросо-ответной последовательности, на наш взгляд, не может быть поставлена под сомнение ни случаями независимых от вопроса ответов (С. В каком году вы родились? О. Сегодня светит солнце.), ни ориентированностью спрашивающего и отвечающего на общее для обоих знание — ведь общность знания является необходимым условием успешной коммуникации не только спрашивающего и отвечающего [4]. Вот почему не вполне адекватен языковой действительности тот подход к исследованию вопросов и ответов, при котором вопрос изучается с точки зрения ответа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Милль Дж. Ст. Система логики силлогистической и индуктивной. Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования. М., 1914.
2. Розова С. С. Классификационная проблема в современной науке. Новосибирск, 1986.
3. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание: О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. М., 1957.
4. Уокоуата Олга Т. Discourse and word order. Amsterdam; Philadelphia, 1986.
5. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. М., 1976.
6. Гелашвили М. А. К вопросу семантики установки // Металогические исследования. Тбилиси, 1985.
7. Голубева-Монаткина Н. И. Проблема классификации вопросов и ответов диалогической речи: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1990.
8. Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. М., 1982. С. 22.
9. Богуславский И. М. Исследования по синтаксической семантике: Сферы действия логических слов. М., 1985. С. 32.
10. Наумова Л. А. Семантико-методологические проблемы логики вопросов: Дис. ... канд. философ. наук. М., 1988. С. 79—80.
11. Войшвилло Е. К. Попытка семантической интерпретации статистических понятий информации и энтропии // Кибернетика на службу коммунизму. М.; Л., 1966.
12. Брызгунова Е. А. Вводный фонетико-разговорный курс русского языка. М., 1982.
13. Смирнова Е. Д. Логическая семантика и философские основания логики. М., 1986. С. 72.
14. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988.
15. Сорина Г. В. К вопросу о построении интеррогативной методологии научного исследования // Проблемы логики и методологии научного познания. М., 1988. С. 34.
16. Vanderveken D. Les actes de discours: Essai de philosophie du langage et de l'esprit sur la signification des énonciations. Liège; Bruxelles, 1988.
17. Голубева-Монаткина Н. И. Вопросы-кентавры (фразовопросы в диалогической речи) // Фразеографическая параметризация в Машинном фонде русского языка. М., 1990.
18. Апресян Ю. Д. Личная сфера говорящего и наивная модель мира // Семантические аспекты формализации интеллектуальной деятельности: Школа-семинар «Кутаись-85»: Тез. докл. и сообщ. М., 1985.
19. Гегель Г. Лекция по истории философии // Гегель Г. Соч. Т. 10. Кн. 2. XXXIV. М., 1932. С. 99.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 1991 г.

МАКОВСКИЙ М. М.

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА ФРИДРИХА НИЦШЕ И СОВРЕМЕННЫЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ(В связи с выходом книги: *Crawford C. The beginnings of Nietzsche's theory of language.* В.; N. Y., 1988. 312 p.)

В истории науки есть имена и теории, которые, произведя «переоценку ценностей» в определенной области знаний, по тем или иным причинам долгое время остаются в забвении или просто игнорируются. Именно такая участь постигла лингвистическую концепцию известного немецкого ученого-энциклопедиста Ф. Ницше (1844—1900). Блестящий эрудит, яркая индивидуальность — мыслитель, социолог, психолог, семиолог, искусствовед, лингвист и литератор — Ф. Ницше внес огромный вклад в развитие культуры: его учение не только оказало, но и до сих пор оказывает глубокое влияние на развитие философской мысли, музыки, искусства, эстетики, семиотики и лингвистики в Европе и в Америке. По странному стечению обстоятельств, однако, идеи Ф. Ницше о языке до самого последнего времени оставались в тени. Лишь в последние десятилетия в западноевропейской специальной литературе стали появляться исследования, посвященные отдельным аспектам его лингвистической деятельности [1—11], ср. [12].

Ф. Ницше был по преимуществу не языковедом, а философом языка. В своих набросках к работе «Гомер и классическая филология» он отмечал: «Как раз потому, что язык — это наиболее повседневное явление, необходим философ, который занялся бы его изучением, — и как феномена, интересного по своей сущности, и просто как средства создания интересных мыслей». В этой связи выдающийся французский эпистемолог М. Фуко писал: «Непосредственно и самостоятельно язык вернулся в поле мысли лишь в конце XIX в. Можно было бы сказать, что в XX в., если бы не было Ницше-филолога (а он в этой области был столь мудрым, знал так много, писал такие хорошие книги), который первым подошел к философской задаче глубинного размышления о языке.

И вот теперь в том самом философско-филологическом пространстве, которое открыл для нас Ницше, внезапно появляется язык во всем своем загадочном многообразии, которым надо было овладеть... Вполне может быть, что все вопросы, которые действительно возбуждают наше любо-

пытство (Что такое язык? Что такое знак? Говорит ли все то, что безмолвствует в мире, в наших жестах, во всей загадочной символике нашего поведения, в наших снах и наших болезнях,— говорит ли все это и на каком языке, сообразно какой грамматике? Все ли способно к означению — если нет, то, что именно? — и для кого и по каким правилам? Каково отношение между языком и бытием, и точно ли к бытию непременно обращается язык — по крайней мере тот, который поистине говорит? И что такое тот язык, который ничего не говорит, никогда не умолкает и называется литературой?),— вполне может быть, что все эти вопросы возникают ныне...(как) ответы на вопросы, поставленные в философии Ницше» [13], ср. [14].

Эти слова М. Фуко, которые сжато отражают основные моменты философии языка Ф. Ницше, избраны автором рассматриваемой монографии — американской исследовательницей К. Кроуфорд — в качестве эпиграфа к своему труду. М. Фуко продолжает: «Вся любознательность нашей мысли вмещается теперь в вопрос: что такое язык? Как охватить его и выявить его собственную суть и полноту?... Можно ли здесь предчувствовать рождение, начало нового дня, который едва возвещает о себе первым лучом света, но позволяет уже догадываться, что мысль (та самая мысль, которая говорит уже тысячелетия, не ведая ни того, что она говорит, ни того, что вообще значит говорить) уже близка к тому, чтобы уловить самое себя во всей своей целостности и вновь озариться молнией бытия. Не это ли подготовил Ницше, когда внутри своего собственного языка он убил разом человека и бога и тем самым возвестил одновременно с Возвратом многообразный и обновленный свет новых богов?» [14, с. 396].

Ученик Канта и Шопенгауэра, Ницше в своей философии придерживается идеализма. Он отмечал, что нет ничего внешнего, чему бы не соответствовало что-либо внутреннее: каждый атом имеет соответствующую «душу». Однако лишь Воля существует и живет, внешний же мир лишь я в л я е т с я и п е р е в о п л о щ а е т с я во множество форм, возникающих бессознательно, инстинктивно. Ницше отмечал, что по мере отражения одного символа Воли в другом, одного образа Воли в другом связь слова с исходным символом, отраженным в феномене, становится все слабее. «Механицизму» физических наук Ницше противопоставляет «внутреннюю Волю», «волю к власти», т. е. неумолимое желание проявлять силу, понимаемую как творческое побуждение (Treiben). Ницше говорил о возможности «случайной целесообразности» в природе и в языке в противоположность Воле, которая имеет определенную конечную цель, реализуемую борьбой между болью, страданием и удовольствием, наслаждением. Категории пространства, времени и каузальности, по Ницше, существовали д о и н а х о д я т с я з а п р е д е л а м и человеческого сознания.

У Ф. Ницше нет работ, специально посвященных проблемам языка, если не считать фрагмент «О происхождении языка», написанный в 1869—1870 гг. и задуманный в качестве введения к курсу латинского языка, который Ницше читал в Базеле. Высказывания Ницше о языке органически вплетаются в общую канву его философской системы.

Рассматриваемая работа К. Кроуфорд во главу угла ставит т е к с т о в о е и с с л е д о в а н и е философских работ учителей и современников Ницше — не только философов, но и естествоиспытателей, физиков (труды Э. фон Гартманна, А. Шопенгауэра, И. Канта, Гербера, Ф. Ланге, Ч. Дарвина и др., ср. [15]) — и установление влияния этих работ на языковую концепцию Ф. Ницше в различные периоды его научной дея-

тельности¹. Книга К. Кроуфорд состоит из Предисловия, Введения, четырнадцати глав (с. 17—224), а также двух приложений, (с. 224—305), в первом из которых английские переводы исследованных в книге К. Кроуфорд текстов Ницше сопоставляются с немецкими оригиналами, а в последнем приводятся 12 «генеалогических узлов» (genealogical nodes), т. е. суммируются основные вопросы лингвистики, которыми занимался Ницше (с. 295—297). Даются также предельный указатель и указатель имен. К. Кроуфорд старается показать творческую лабораторию Ф. Ницше — эволюцию его лингвистических взглядов, переработку идей авторов, с которыми он знакомился в процессе своей научной жизни. Она указывает, что многие мысли, которые Ницше находил у Шопенгауэра, Гартманна и Гербера [15], ранее возникали у самого Ницше, но в несколько ином виде; при этом в ряде случаев Ницше не соглашался или соглашался не полностью с тезисами прочитанных им философских сочинений своего времени, дополнил, переформулировал, а то и вовсе отвергал их.

В работах Ф. Ницше² можно проследить сложную, постоянно модифицируемую и развиваемую ко н ц е п ц и ю я з ы к а, неизменно рассматриваемого им на фоне всеобщего знания (эпистемологии). В своих работах он исследует возможные решения проблемы происхождения языка, соотношение суждения и предложения (логического и грамматического субъекта и предиката), различных характеристик языка как особого человеческого феномена, взаимоотношения между языком, человеческим сознанием и возможностями познания мира (онтология знания и сознания), рассматриваемых сквозь призму его волюнтаристского мировоззрения, вопросы языковой семиотики.

Рассматривая язык в его целостности и отдельности как часть природы, как организм, в рамках которого происходит постоянная борьба (чаще всего бессознательная), где имеются «победители» и «побежденные» (Ф. Ницше считал, что в основе различных ментальных и языковых процессов лежит биологический, или физиологический субстрат), Ф. Ницше весьма близко подходит к установлению изоморфизма между языком (и в частности, его семиотическим кодом) и генетическими процессами в органическом мире [12]. Следует иметь в виду, что Ф. Ницше получил классическое образование, в связи с чем он прекрасно знал не только античные теории языка, но и философские системы Древней Греции (в частности, космогонию Эмпедокла) и Рима. Ф. Ницше был современником Г. Менделя (1822—1884) и, как показывают его со-

¹ К. Кроуфорд исследует в своей книге ранний период деятельности Ф. Ницше (1863—1874). При этом в центре ее внимания находятся работы Ф. Ницше, не предназначавшиеся им для печати (они приводятся по изданию [16]; другие издания работ Ф. Ницше см. [17—19]). Следует отметить, что именно на ранний период его творчества, когда юный Ницше читал, конспектировал и осмыслял работы своих учителей и современников, приходится наибольшее число его высказываний о языке. В более поздних (особенно в классических) работах Ницше количество теоретических обобщений относительно языка резко падает, хотя в этих работах есть много рассуждений о пользе и «вреде» изучения иностранных языков (Ницше считал, что знание иностранных языков неизменно снижает уровень владения родным языком), о «чистоте» немецкого языка и «искусстве» владения им (его кумиром в этом отношении был Гете). Кроме того, отдельные работы Ф. Ницше посвящены пуризму в языке, убежденным сторонником которого он был, и проблемам языкового стиля.

² Кроме ранних набросков, анализируемых в книге К. Кроуфорд, отрывочные высказывания относительно языка можно обнаружить в следующих классических работах Ф. Ницше: «Über Musik und Wörter» (1871); «Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne» (1873); «Zur Genealogie der Moral» (1887); «Götzendämmerung» (1889); «Also sprach Zarathustra» (1883—1885); «Jenseits von Gut und Böse» (1886); «Esse Homo» (1890).

чтения, был хорошо знаком с теорией Ч. Дарвина, которая оказала на него большое влияние. Он отмечает, например, что одни элементы языка отмирают, а другие постоянно нарождаются, причем этот процесс носит периодический, волнообразный характер. В языке постоянно происходит естественный отбор; так называемая «Воля к власти», которая, по мнению Ницше, лежит в основе не только жизни органического мира, но и является непременным атрибутом языковых феноменов, проявляется в различных «комбинациях сил» — носители одних из этих комбинаций «обороняются» против более сильного, носители же других — «нападают» на более слабого. Ницше отмечает, что эволюцию системы знаков (как, впрочем, и любого объекта, обычая, органа) «никоим образом нельзя считать продвижением к какой-либо цели (это особенно относится к „прогрессу“ в логике) наикратчайшим путем и с наименьшей затратой сил — речь может идти о последовательности более или менее глубоких, более или менее взаимонезависимых процессов воздействия (подчинения) и о неодинаковом противодействии, которое они встречают, о трансформациях как защитных реакциях и о результатах взявших верх контрдействий. Форма — расплывчата, а значение — тем более» [20, с. 77—78]. Эволюция — это «непрерывная знаковая цепь постоянно меняющихся интерпретаций и адаптаций, причинные связи которых не следует соотносить друг с другом; наоборот — в некоторых случаях эти объекты следуют друг за другом и альтернируют на совершенно случайной основе» [20, с. 78]³. Последнее высказывание особенно интересно в связи с наблюдаемыми в природе стохастическими («мутационными») процессами. Ницше указывает и на то, что в результате действий и противодействий, постоянно происходящих в природе, создаются новые «ценности» и вообще возникает «переоценка ценностей». Язык рассматривается Ницше как действие, как активное, созидающее, творческое, вечно обновляющееся начало, развивающийся организм (ср. непрерывный творческий процесс создания метафор и метафор от метафор, рассматриваемых как образ образа, символ символа), который в процессе своего развития стремится к оптимализации, в связи с чем одни, более «сильные» (доминантные) свойства, качества, признаки отесняют другие — более «слабые» (рецессивность), хотя на другом этапе эволюции роль отдельных элементов может меняться — ранее рецессивные единицы становятся доминантными, а доминантные — рецессивными. При этом предпосылки возникновения того или иного состояния заложены в предшествующем состоянии: один символ является как бы «беременным» другим символом, образом, метафорой. Ницше указывает, что наряду с определенным круговоротом в природе существует и круговорот тех или иных постоянно повторяющихся, циклических состояний языка. Он подчеркивает, что телеологически направленно явление (феномен) может возникнуть и бессознательно. Словотворческий процесс — это постоянное перевоплощение «абсолютной идеи», «абсолютной Воли», *Ur-Eine*, т. е. «вечной души» слов в бесконечном множестве преходящих форм (представлений), из которых актуализируются лишь некоторые. Языкотворческий процесс — это проявление бесконечного в конечном, вечного

³ В этой связи следует отметить, что лингвистическая (как и любая другая) теория [в первоначальном значении этого слова, представленном в греческом и в латинском, а именно в смысле «созерцание», «видение» (*Anschauung*)] у Ницше — это прослеживание трансформаций и перегруппировок элементов, непрерывного создания новых форм и новых значений, в большей или в меньшей степени отражающих *Ur-Eine* («Воля» у Шопенгауэра, «вещь в себе» у Канта). При этом, как отмечает Ницше, самое глубокое философское знание заранее задается языком.

во временном. Следует в связи с этим иметь в виду известную антиномию В. фон Гумбольдта, согласно которой язык — это одновременно и *ἐνσφύσεια*, и *ἔρως*. Учение Гумбольдта, как и учение Дарвина, несомненно, оказало большое влияние на концепцию языка Ницше (к сожалению, о влиянии Гумбольдта на Ницше ничего не говорится в книге К. Кроуфорд).

Огромное значение для развития не только природы, но и языка, как указывает Ницше, имеет принцип дополнительности, комплементарности. Согласно Ницше, «вещь в себе» предстает в своем единстве, что отражается в согласованности всех явлений (феноменов). Все части природы «тянутся» друг к другу, ибо существует единая Воля. Принцип дополнительности в языке проявляется не только в пределах отдельного слова (дополнительная дистрибуция формы и значения как необходимое условие образования «живой клетки» языка), т. е. по вертикали, но и в пределах того или иного лексико-семантического континуума, где вертикальный генетический цикл (изменение определенной формы и/или определенного значения в пределах лингвистического времени и пространства) нередко «корректируется». В этой связи необходимо отметить несоответствие между количеством и качеством значений, требуемых ограниченным набором форм, и количеством и качеством форм, требуемых этими значениями. Та или иная форма и/или то или иное значение, бытующие в языке, на определенном этапе своего существования могут остаться в языке лишь в том случае, если в него войдет определенная форма и/или значение или, наоборот, если определенная форма и/или значение выйдут из языка. Одни формы и значения требуют определенного дополнения в языковой системе (пассивные единицы), другие же, наоборот, сами дополняют те или иные языковые реалии (активные единицы). При этом в пределах языкового континуума та или иная языковая единица может иметь сложные связи, выступая одновременно и как пассивная, и как активная (например, единица А может требовать наличия или отсутствия В, но В не требует А; А может требовать наличия В, а В может требовать отсутствия А; А может требовать В, но В может требовать С, которое в свою очередь требует наличия или отсутствия D). Таким образом, всякая совместимость — это одновременно и несовместимость, всякое разъединение есть одновременно и соединение положительного и отрицательного полюсов. Одни элементы вообще никак не обуславливаются данным континуумом и существуют как бы во «взвешенном состоянии» только благодаря наличию или отсутствию в этом континууме тех или иных других языковых единиц; одни языковые единицы требуют для своего существования несколько и других единиц, а несколько единиц могут удерживаться в континууме наличием или отсутствием лишь одной единицы. Таким образом, можно наблюдать не только определенное кратное распределение форм и значений в синхронии и в диахронии [доминантность форм при рецессивности значений (омонимия) или доминантность значений при рецессивности форм (синонимия)], но и кратное распределение запретов и разрешений, реализуемых в неодинаковых формах и значениях. При этом запреты обычно доминируют в языке над разрешениями; в противном случае наступает энтропия. Следовательно, можно говорить о доминантности запретов одних и тех же значений со стороны неодинаковых форм и о доминантности запретов одних и тех же форм со стороны неодинаковых значений.

Идеи Ницше об изоморфизме языкового и генетического кодов нашли отражение в классической работе Р. Якобсона [21] и были развиты по-

следующими исследователями [22—27], в частности представителями группы формальной лингвистики Парижского университета (ср. их тезис о значении как о «реакции» [26]).

В работе «Генеалогия морали» Ницше рассматривает язык как «игру» активных («Воля к власти») и реактивных сил, как действие и противодействие. Он прослеживает изменения значений как трансформации определенных культур в языковую форму и, наоборот, — трансформацию языковых форм и ценностей в человеческую культуру, мировоззрение (возникновение различных концептуальных «миров», различных видов экзегеза на основе разрушения одних систем слов и создания новых: слова, согласно Ницше, имеют как разрушительную, так и созидательную силу), на основе искусства, метафоризации, иносказательности, символики. При изучении слов с исторической и генеалогической точек зрения они предстают, согласно Ницше, не как простые дескрипторы событий, а как сущности, непосредственно формирующие события. В этой связи Ницше стремится, с одной стороны, проследить изменения значений в рамках интерпретации событий человеком, т. е. перевода этих событий в языковую форму, и, с другой стороны, выяснить, каким образом языковые формы и ценности трансформируют и формируют человеческие культуры. Он изучает эволюцию различных видов человеческой морали (ср. выделяемые Ницше так называемые «Herdenmoral» и «Hergrenmoral») на основе этимологического анализа целого ряда слов [28] со значениями «плохой» — «хороший», «добро — зло; вина, угрызения совести» и пр. (ср. лат. *bonus*; нем. *gut*; греч. *ἀγαθός, ἐσθλός* — лат. *malus*; греч. *δαιμόνιος, πονηρός, μοχθηρός* и др. Фактически Ницше устанавливает определенные ряды тесно связанных между собой значений, т. е. семантические универсалии — пластическую непрерывность, движение значения, которое само по себе воплощено в различных представлениях, образах и метафорах (переоценка ценностей). Как отмечает М. Фуко, «для Ницше речь шла не о том, чтобы знать, каковы добро и зло сами по себе, но о том, кто обозначается или, точнее, кто говорит, коль скоро словом *Agathos* люди обозначают самих себя, а словом *Deilos* — других людей. Потому что именно здесь, в том, кто держит речь и, еще глубже, владеет словом, — именно здесь сосредоточивается весь язык» [14, с. 395]. Однако постулируемые Ницше соотношения значений «сильный, воинственный, непримиримый» > «благородный, хороший» и «слабый, незащищенный, несчастный, достойный сострадания» > «плохой», хотя и подтверждаемые языковым материалом, нельзя возводить в абсолют и уже никак неправомерно истолковывать в социальном смысле, соответствующем «философии силы», сторонником которой является Ницше⁴. С другой стороны, необходимо принять во внимание, что указанный семасиологический переход не является самодовлеющим, это — лишь часть мифопоэтической модели, противопоставляющей «нижний» и «верхний» миры (такая модель вполне соответствует философской концепции Ф. Ницше).

⁴ Для доказательства за общетеоретических и особенно философских тезисов вряд ли правомерно опираться на семасиологические и этимологические связи исследуемых понятий. Критикуя некоторых философов в своей работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», Энгельс со всей решительностью отмечает: «Слово религия происходит от *religare* и его первоначальное значение — связь. Следовательно, всякая взаимная связь двух людей есть религия. Подобные этимологические фокусы представляют собой последнюю лазейку идеалистической философии. Словам приписывается не то значение, какое они получили путем исторического развития их действительного употребления, а то, какое они должны — али бы иметь в силу своего происхождения» [29].

При этом и значение «плохой», и значение «хороший», как показали наши исследования [30], непосредственно или опосредованно связаны через значения 1) «издавать звуки» > «просить у божества счастья или гибели»; 2) «дерево» (ср. миф о «всемирном дереве») > «крона дерева» («верхний мир») > «хороший» и «корни дерева» («нижний мир») > «плохой»; 3) «жечь» > «очищать огнем» > «хороший», но «жечь» > «портить» > «плохой». Указанная модель включает большое количество соотносимых значений, в конечном итоге отражающих атрибуты языческого сакрального акта как противопоставления «нижнего» (греховного, плохого) и «верхнего» (божественного, хорошего) миров. Ср., например, нем. *gut* «хороший», но др.-англ. *swedan* «говорить»; литов. *girti* «хвалить, восхвалять» > «громко говорить», но литов. *gēras* «хороший» (ср. **ger*, **ker*- «издавать звуки», **ker*- «жечь», ирл. *cearr* «левша; несчастный», нем. диал. *vercharren* «портить»); и.-е. **ker*- «издавать звуки»: **kel* «жечь», но греч. *καλός* «хороший»; ср., с другой стороны, и.-е. **bhā* «говорить», но англ. *bad* «плохой»; греч. *λέγειν* «говорить», но нем. *schlecht*, ср. **leg* «гореть, резать»; др.-сев. *ora* «кричать», но гот. *ubils* «плохой», **kel* «кричать», но русск. *злой*; ср. также переход «издавать звуки» > «спина» > «плохой»: **bhā*- «издавать звуки», но англ. *back* «спина»; др. англ. *léod* «звук», но др.-англ. *ge-lodu* «спинной хребет»⁵; русск. *звенеть, звонить*, но *позвонок*. Значение «говорить» может также переходить в значения «застывший в экстазе» > «удивленный» (> «дурной, плохой, больной»), а это последнее — в значение «камень»: ср. **qed*- «говорить», но англ. *wonder* «чудо» (ср. **ond*- «камень», но швед. *ond* «злой, плохой»); др. англ. *sæcgan* «говорить», но лат. *saxum* «камень»; **ag*- «говорить» (ср. лат. *ad agium*), но **agh*- «бояться», **agos* «грех»⁶; **ak*-мен «камень». Значения «плохой», «злой» и «хороший» могут соотноситься и со значением «двигаться» (движение как магический символ): ср. лат. *bonus* «хороший», но и. о. **dhen*- «бежать»; греч. *καλός* «хороший», но и.-е. **kel*- «двигаться», а с другой стороны, и.-е. **kel* «двигаться», но русск. *злой*; нем. *folgen* «следовать, двигаться за к.-л. или ч.-л.», но ирл. *olc* «плохой». Значение «плохой», рассматриваемое Ницше, может также соотноситься со значением «женщина» (символ «нижнего мира», греховности, зла): ср. нем. *Weib* «женщина», но нем. *Übel* «зло», др.-англ. *wibbel* «жук» (хтоническое животное), нем. *Staub* «пыль, прах» > («земля»), тох. А *wip*- «сырость, влага» (связь значений «земля — вода»); ирл. *wybr* «небо»; **gen*- «женщина; рождать» < **sken(d)*- «spalten, reißen». но и.-е. **kad* «evil, hate», др. сев. *skand* «позор»; тох. А *kuli* «женщина», но русск. *зло*, лид. *gel* «земля», ср. лат. *caelum* «небо»; др.-сев. *dis* «женщина», но **dus*- «плохой», англ. *dust* «пыль, прах» > («земля»), и.-е. *dyō (u)* «два» (символ «нижнего» мира); арм. *eg* «женщина», но литов. (с s-mobile) *žagti* «опоганить». Ср. отношении Ницше к женщине как к «слабому», а поэтому «низшему» существу (этот взгляд находит подтверждение и в мифологии древности, где женщина обычно отождествляется в цифрой «два»): нем. *Frau* «женщина», но лат. *peior* «хуже», русск. *порок, порох, прах*, ср. англ. диал. *free* «червь» (хтоническое животное); лтш. *merga* «девочка, девушка», но русск. *мерзкий*⁷.

⁵ Ср. болг. *луд* «слабоумный, глухой»

⁶ Ср. **agh*- «widerwärtig».

⁷ Ср. еще: и.-е. **sor-*, «Wohlb», но **sor-sger*- «осквернять, гадить» (ср. русск. *сор, сорить*). Связь «нижнего» и «верхнего» мира отражается еще и в том, что значение «женщина» (символ «нижнего» мира) соотносится со значением «корова (небожитель, символ «верхнего» мира): ср. лат. *vacca* «корова», но англ. *wench* «девочка»; др.-инд. *mahīā* «Frau»,

Ницше считал, что происхождение языка и созидательные, творческие процессы, постоянно происходящие в нем, не связаны с деятельностью того или иного сообщества людей. Напротив, то или иное сообщество людей может возникнуть только в результате сознательного использования языка. В свою очередь сознательное использование языка становится возможным лишь как следствие бессознательной, инстинктивной деятельности отдельных человеческих индивидов. Ницше полагал, что существует так называемый «бессознательный» (или предсознательный) язык, носящий часто инстинктивный характер и наиболее полно (хотя и не полностью) отражающий внутреннее существо человека (ср. понятие «вещи в себе» у Канта, абсолютной Воли у Шопенгауэра, *Ur-Eine* у Ницше); суть этого языка состоит в бессознательном сенсорном синтезе и создании иллюзий (*Wahn*). «Бессознательный» язык, по Ницше, трансформируется в язык сознательного мышления, который, однако, лишь обедняет, упрощает и даже «портит» язык первого типа, является препятствием к познанию мира: этот язык представляет собой опосредование языка первого типа, т. е. образ образа или символ символа, которые лишь отдаленно отражают свой «оригинал» (ср. понятие иррациональной и рациональной Воли у Шопенгауэра). Наиболее полно *Ur-Eine* отражается, согласно Ницше, не в языке, а в музыке и вообще в искусстве (ср. увлечение Ницше музыкой Вагнера, которого он впоследствии критиковал): именно музыка, ритмика, динамика, гармония, согласно Ницше, представляют собой своеобразный критерий, точку отсчета, на основе которых «измеряются» возможности и ограничения «сознательного» языка (ср. формулу Ницше «*Instinkt, Wahn, Kunst*»), именно музыка, жест, движение соответствуют «скрытой сущности вещей» (*Ur-Eine*). Ницше строит следующую схему «развертывания Воли» (*Willengang*): (вещь в себе, абсолютная Воля, *Ur-Eine*) → нервный (бессознательный, инстинктивный) стимул (первый образ/символ) → звук/слово (второй образ/символ) → понятие (третий образ). Следует отметить, что все элементы широко распространенных в нашем столетии теорий глубинной и поверхностной структур (Н. Хомский) и фреймов (Филлмор, Фриз) содержатся в концепции языка Ницше, что, однако, не исключает независимого возникновения этих теорий.

В языке, по Ницше, иллюзия принимается за реальность, а инстинкт и сфера бессознательного, лежащие в основе языка, предаются забвению. Истина состоит из изменчивой цепочки забытых метафор, метонимий и антропоморфизмов, т. е. иллюзий, фикций, причем иллюзии нередко играют и положительную роль в жизни человека. Искусство — это сознательное создание эстетических иллюзий, которое обусловлено инстинктивной «тягой» (*Treiben*) человека к иллюзиям. Наш интеллект оперирует сознательно создаваемыми иллюзиями, картинками, риторическими фигурами, метафорами. Познать что-либо равносильно манипуляции с лю-

māheyi «Weib», по др.-инд. *māhīluka* «Kuh»; англ. *girl* «девочка», по и.-е. **ker-* «Kuh» (ср. др.-сев. *skorð* «Weib»). Интересно также, что значение «женщина» может соотноситься со значением «ущербный»: ср. арм. *eg* «женщина», по и.-е. **eg-* «mangeln, Not haben»; др.-сев. *skorð* «Weib», по англ. *hurt* «повредить»; русск. *женщина*, по и.-е. **kenk-* «Hunger», арм. *sin* «leer»; лат. *femina* «Weib», по лат. *fāmēs* «Hunger»; исл. *dro-sin* «Weib», по др.-инд. *riṣ-* «be injured», исл. *drosla* «langsam gehen», н.-нем. *druseln* «im Halbschlaf liegen» (ср. без среднего -r-: др.-инд. *dosāḥ* «нужда, отсутствие»); нем. *Frau* «женщина», по и.-е. **pur-* «loose, crumbly» (ср. литов. *purūs* «friable»); **sor-* «Weib», по **šer-* «harm»; тох. *A kull* «Weib», по тох. *A kul* «слабеть, уменьшаться»; др.-англ. *ides* «Weib», по осет. *idujun* «иссыкать, истощаться» (<**deu-* «mangeln»); осет. *us*, *wosae* «Weib», по авест. *zyā-* «harm».

бимыми метафорами: мы воспринимаем иллюзии, а не суть вещей. Философия — это естественный язык в той мере, в которой она пытается исследовать наиболее глубокий инстинкт человека — инстинкт языка. Как язык, так и мышление, по Ницше, основаны на «нереальных» или «фальсифицирующих» операциях. Допускать ошибки, игнорировать, не обращать внимания, смотреть сквозь пальцы Ницше считает наиболее необходимым для человека. Следуя принципам идеалистической философии, Ницше считает иллюзиями, фикциями, конструктами ума внешний мир, человека, сознание, логическое мышление, предметы, средство — цель, активность — пассивность, язык и его грамматику, истину, свободу воли, круг, прямую линию, причину — следствие, покой, движение, форму, число, время и пространство, законы природы, награду, наказание, мудрость, благодушие, отношение субъекта и объекта (наше сознание, по Ницше, все искажает: постулаты физики, например, являются ложными и носят временный характер). «Вещь в себе» (Ur-Eine) остается совершенно непознаваемой: между человеком и Ur-Eine стоит явление (феномен). Мир феноменов — это символ наших инстинктов. Преднамеренное, сознательное использование иллюзий Ницше называет «ложью во неморальном смысле». Переход от бессознательного к образу и от образа к языку, по Ницше, является метафорическим процессом [30—32]. Язык состоит исключительно из метафор («произведений искусства»), постоянное создание которых является основополагающим инстинктом человека, хотя он и не осознает метафорический характер своего языка. Необходимо отметить, что рассматриваемый язык сквозь призму метафор содержится в известной работе Макса Мюллера «Наука о языке» (1862), которая, несомненно, была знакома Ницше. К сожалению, К. Кроуфорд не упоминает о влиянии Макса Мюллера на Ницше. Наличие в языке большого количества забытых метафор вполне оправдывается данными индоевропейских языков, где, как мы пытались показать [30], целый ряд значений является метафорой значений «резать, гнуть», не воспринимаемых как метафора. Приведем примеры создания метафор на основе языческих мифопоэтических образов. Поскольку вода была символом Вселенной, символом божественной силы⁶, то и рыба (обитатель водных просторов) выступала как символ спасения, сверхъестественной силы, мудрости. Ср.: 1) и.-е. **pes k* «рыба», (ср. тох. А *pās-* «ausgießen, besprengen»), но лит. *spēc̄gs* «strong», *spėks* «power, strength»; ср. лат. *specus* «cave» (рыба как житель водных глубин), а также др.-англ. *faēx* «волосы» (как символ силы); 2) русск. рыба, но колхт. **reb-* «(культовая) игра, сакральный акт», **krab-* (с преформантом) «Religion, Frömmigkeit», русск. *работать* (первоначально «совершить сакральный акт»), 3) др.-инд. *mināḥ* «рыба», русск. диал. *мень* (название рыбы), но и.-е. **menos* «power, craft, ability» (ср. литов. *mėnas*, «art»), ит. *menare* «do, put, move, lead, deal, make»,

⁶ Ср. соотношение значений «вода» > «хороший, благостный, спасительный»: лат. *bonus* «хороший», но осет. *don* «вода»; ирл. *dobruil* «вода», но русск. *добрый*; и.-е. **ues-* «pass», но хет. *assu* «хороший» (ср. др.-сев. *ass* «бог»); нем. *gut* «хороший», но гот. *giutan* «лить»; тох. А *pāra-* «gütosor», но арм. *barjr* «gut», англ. *sleng bear* «excellent»; др.-инд. *kṣārem* «Wasser», но литов. *gėras* «gut»; др.-инд. *nar* «Wasser», но и.-е. **ner-* «магическая, сверхъестественная сила» (ср. гот. *nasjan* «to save»); и.-е. **krosno-* «feucht, pass», но русск. *красный*, *красивый*; и.-е. **leib-* «мокрый, жидкость», но литов. *labas* «gut»; и.-е. **pel-*, **pleg-* «pass, feucht», но лат. *pulcher* «good, excellent»; и.-е. **bhog-* «pass», но **bhag-* «good»; **reg-* «feucht» (ср. нем. *Regen*), но нем. *recht*; русск. *мокрый*, но греч. *μακαριός* «благой»; русск. *благо*, но др.-англ. *lagu, logu* «Wasser». Ср. и.-е. **ues-* «pass», но русск. *веселый*, лит. *vešels* «gesund»; др.-инд. *kṣārem* «Wasser», но русск. *хороший*.

лат. *ad-miniculum* «айд»), **men* «ум» (Mann, s. v.); 4) перс. *māhī* «рыба», но нем. *machen*, англ. *make* «делать, совершать (сакральный акт)», нем. *mächtig* «могущественный»; 5) нем. диал. *Giesen* «рыба», но итальянск. **fes-*, **fas* «религиозный акт», оскск. *fisnum* «храм», лат. *festus* «праздничный», *fanum* (<**fas-*) «святое место». Ср. оскск. *herest*, умбр. *heriest* «volet», *heriam* «arbitrium, potestatem», др.-ирл. *gor* «fromm», *goire* «Frömmigkeit, Pietät»; 6) англ. диал. *piring* «рыба», но др.-ирл. *spēir* «небо», др.-англ. *speer* «спрашивать, просить, молить»; 7) др.-англ. *bol*, *bal* «an eel», но др.-инд. *balā-m* «сила»; 8) др.-англ. *facg* «камбала», но болг. *пазя* «заботиться, беречь», русск. диал. *начить* «подлаживаться»; 9) ирл. *earc* «trout», но *erc* «небо», ср. греч. ἔργω «делать, совершать (сакральный акт)»; англ. *perch* «окунь», но **perk-* «молить, молитва»; 10) прусск. *kalis* «сом», но лат. *caelum* «небо». Поскольку постоянным мотивом всех ритуалов является сексуальность, которая неизменно имеет сакральный, священный характер (ср. дионисийские мистерии у греков и римлян, аналогичные таинства в Индии, Персии, Египте, фаллические символы, знаменующие собой плодородие, круговорот вечной жизни и смерти), неудивительно, что рыба является фаллическим символом: ср. **pes-k* «рыба», но и.-е. **pesos* «penis», др.-англ. *fæsl* «Nachkommen», ср. англ. диал. *fike*, *ficken* «coire», англ. *fuck* «coire»; литов. *pisti* «coire»; русск. *рыба*, но др.-в.-нем. *riba* «Hure», лат. *tribus* «племя»; греч. ἰχθός «рыба», но ирл. *goithimm* «coire», валл. *god* «adulterous»; др.-инд. *matsya* «рыба», но авест. *miθ-coire*; л.-русск. *kalis* «сом», но валл. *cal* «penis»; осет. *kæf* «рыба», но др.-сев. *skoppin* «penis», англ. диал. *shape* «female parts»; нем. *Stör* «осетр», но др.-англ. *teors* «penis». Ср. также: араб. *samak* «рыба», но *samāun* «небо», *sama'a* «быть высоким, возвышаться», *šamsun* «солнце», ср. **sem-* «один» > «вместе» (ср. нем. *sammeln*, *zusammen*) > «coire»: символика единицы — вертикально стоящий шест (ср. языческое поклонение столбам), творческое начало, сила, энергия, превосходство. Кроме того, рыба как фаллический символ может, с одной стороны, быть знаком напряжения мускулов, твердости, жесткости, эрекции, а с другой — символом еды, питания > coitus. Ср. в этой связи: 1) и.-е. **pes-k* «Fisch», но нем. *fest* «твердый», нем. *Speise* «еда» (ср. лат. *pēnus* «продовольственные запасы, съестные запасы» < **pes-nos*, ср. *penis* «männliches Glied» < **pes-nis*; *penus* «внутреннее святилище храма Весты»: как уже говорилось, совершавшиеся в храмах сакральные действия часто носили сексуальный характер); 2) прусск. *kalis* «сом», но лат. *callus* «твердый», гот. *h¹ius* «камень», др.-англ. *sceallan* «private parts», франц. *cul* «Arsch, vulva», др.-сев. *hold* «flesh»; 3) англ. диал. *tuck* «the fish Cottus bubalis», но русск. *тугой*, англ. *tough*, англ. диал., англ. сленг *tuck* «еда», англ. диал. *stog* «a sharp-pointed instrument», осет. *tug* «кровь» > («семя»), англ. *stock* «род»⁹;

⁹ В ряде случаев слова со значением «рыба» могут соотноситься со словами, имеющими значение «язык» (язык как мускул): ср. англ. диал. *tuck* «the fish Cottus bubalis», но др.-англ. *tung* «язык» (часть тела); русск. *омуль* (название рыбы), но лтш. *mēle* «язык» (часть тела), англ. диал. *melt* «язык» (часть тела), ср. ср.-н.-нем. *emelte* «Котп-вигт», др.-англ. *emel* «Käfer, Raupе»; русск. *гласа*, *глог* «рыба Platessa luscus» (<новогреч. γλώσσα «рыба Solea solea», но греч. γλώσσα «язык» (часть тела) < *γλωχ-σα, ср. греч. γλῶχος «Grannön der Ähren», серб. *glog* «Dorn», укр. *лоскирь* (название рыбы), греч. λίγος «кирка» (ср. также русск. диал. *глузд* «ум, разум»: внутренний орган как святилище мысли). Интересно, что слова со значением «писать» (таинство письма) могут соотноситься со значением «рыба» (рыба как символ таинства Вселенной): ср. лат. *scribere* «писать», но русск. *рыба* (ср. валл. *rheibes* «колдун, ведьма»); русс. *писать*, но и.-е. **pes-k* «рыба» (ср. др.-англ. *fæz* «нить») (связь небесного и земного, а также «связывать» > «связывать чарами»); гот. *meljan* «писать», но русск. *о-муль* (название рыбы), ср. лтш. *mēle* «язык»; др.-англ. *writan* «писать», но индо-арийск. *vṛnta-* «гусеница» (типологически ср. нем. *Raupе* «гусеница», но русск. *рыба*).

4) др.-англ. *facg* «камбала», но и. е. **pag-* «твердый», **pak-* «питаться».

5) нем. диал. *Renke* (название рыбы), по лат. *rigidus* «hart». др.-англ. *raege* «мускул», греч. ὄρυς «Hoden», литов. *ragauti* «geniessen», нем. *streng*, англ. *strong* «сильный, жесткий», блр. *ружа* «земная твердь», словен. *rūžen* «крепкий»; 6) лат. *cauda* «penis», ср.-н.-нем. *kute* «entrails» (ср. др.-англ. *scéota*, англ. диал. *shot* «форель»), по литов. *kietas* «жесткий, твердый», нем. *Köder* «Lockspeise für Tiere», швед. *kött* «плоть», ср. англ. *cod* «треска»: ср. также полаб. *keuteil* «делать, производить» (в частности, сакральный, resp. сексуальный акт), польск. *skutek* «поступок, действие»; 7) швед. *harr* (название рыбы, ср. англ. *herring* «сельдь»), но арм. *zor* «пища», нем. *hart, herb* «жесткий, суровый», русск. *хер*; русск. *рыба*, по лат. *robus* «Starrkrampf», *robur* «твердость, крепость», ср.-н.-нем. *strif, stref* «твердый, жесткий», ср. с другой стороны др.-англ. *hrif* «Bauch, Eingeweide, Genitalien» (русск. *груб* — фаллический символ), нем. диал. *Reppel* «Pfeil, Klotz», швед. *rappa* «snatch», нидерл. *rapen* «gather» (< «bend press, make hard»); русск. *крепкий*; англ. диал. *tope, toper* «a kind of shark», ср. литов. *stiprūs* «твердый», англ. *stiff*, ср. тох. А *tāp* «manger», англ. диал. *stuff* «food», лат. *stuprare* «coire»; нем. диал. *Aitel, Wieten, Witting* «the fish *Leuciscus cephalus*», швед. *id* «name of a fish», но и. е. **ond-* «Stein», **ed-* «essen», ср. др. русск. *yd* «penis»; русск. *мень* (название рыбы), также *ментус, ментюк*, ср. и. е. **men-* «to press, make hard», лат. *manducare* «essen», др.-инд. *manśa* «плоть», **mand* «pudendum muliebre», лат. *mentula* «penis»; нем. диал. *Giesen* «Fisch», **geus-*, **ghos-* «essen, geniessen», русск. *жесткий*, и.-перс. *gušt* «мясо, плоть», нем. *küssen* (> «coire»), типологически ср. франц. *baiser* «coire», ср. также нем. *lieb-kosen*; русск. *плотва*, но русск. *плотный, плоть*; осет. *kæf* «Fisch», но **geph-* «essen», лат. *cibus* «food», др. англ. *carian* «смотреть в одну точку» («застыть в экстазе»), русск. диал. *кеп* «дурак» (букв. «застывший в экстазе»), др.-сев. *keip* «Stock» > «penis» (ср. русск. диал. *кобель, коблик* «название рыбы»); англ. диал. *shape* «female parts», др. англ. *ge-scéap* «private parts»; русск. диал. *терпа* «название рыбы», но **terp-* «geniessen», лат. *torpeō* «онеметь, застыть», др. англ. *teors* «penis»; нем. диал. *Spielring*, англ. диал. *piering* «форель», но и. е. **sper-* «hard, solid» (Mann, 1255), **pa-* «to eat»; русск. *галыш* (название рыбы), но и. е. **gel-* «sich verdichten, hart werden», **gel-* «verschlingen» (ср. греч. δῆλαρ «Köder»); исл. *nirla* (название рыбы, ср. нем. *Nerfling*), нем. диал. *Narr* «krampfartige Spannung», *er-narren* «sich verdichten, hart werden», др. англ. *sner* «harp-string», исл. *noera* «straff ziehen», *snerkja* «verziehen. лат. *neruus* «Muskel, Sehne», греч. ἄρραω «цепенеть», по нем. *nähren* «питаться»; др. англ. *hran* «кит», *hruna* «ствол дерева», нем. диал. *Ron* «ствол дерева» (< **ker-nō*: ср. серб.-хорв. *kurač* «penis»), болг. *hrana* «пища, питание», нем. *hart* «твердый»; **sem-* «sammeln, zusammendrücken» > «hart machen», др. англ. *som* «pleasant», ср.-в.-нем. *siemen* «make pleasant» (< «coire»): **sem-* > **seu-men* [ср. **sem-* «Sommer» («период года, когда все рождается»)], **sem-* «one» (≈ «make one of two, coire»): **seu-* < **kseu* < **es-* «to eat», русск. *сом*.

Интересный метафорический образ связан со словами, имеющими значение «верить, надеяться». В большом количестве случаев слова с указанным значением первоначально означали «вынуть один внутренний орган и вложить другой» (внутренний орган символизировал вместилище мысли)¹⁰. Ср.: н.-ирл. *suil* «надежда», по **sel-* «давать; брать», а с другой стороны, русск. *селезенка* (ср. также: лат. *solor* «утешать», литов. *siela*

¹⁰ Ср. англ. диал. *piering* «кишка», по гол. *frājan* «понимать».

«душа»); гот. *ga-laubjan* «верить», но ср.-в.-нем. *lip* «желудок» (ср. нем. *Leber* «печень»); лтш. *jūst* «чувать, чувствовать», но др.-англ. *eosen, isen* «кишка», ср. **es-* «класть»; др.-англ. *sméagan* «to think, to suppose», но др.-инд. *maghām* «Gabe, Lohn», нем. *Magen* «желудок» *Geschmack* «вкус» (ср. перс. *māhī* «рыба», др.-инд. *mahan* «gross, ausgedehnt»); тох. А *puh* «верить», но др.-англ. *buc* «Bauch». русск. *печень* (и.-е. **pek-*); гот. *wēns* «надежда, вера», но лат. *venter* «живот» (ср. др.-англ. *wān* «пустой» < «пюлость»); англ. *hope* «надежда», но брет. *kof* «belly», англ. диал. *giblets* «внутренности», ср. лат. *subō* «класть». гот. *giban* «давать»; нем. *liegen, legen*, но англ. диал. *pluck* «внутренности», ср. англ. *pluck* «брать, срывать»; англ. *guess* «надеяться», но русск. *кишка* (ср. русск. *касамься*); гот. *gaumjan* «заботиться, обращать внимание», англ. диал. *gaum* «понимание, рассудок», ср. *gaum* «взять, схватить», но болг. диал. *зима* «селезенка»; др.-англ. *raedan* «думать, полагать», но др.-англ. *réada* «желудок у скота»; литов. *viltis* «Hoffnung», но лат. *ilia* «Darm»; лат. *credō* «верить». но греч. *χρόβη* «кишка»; прусск. *druwit* «верить», но нем. *Darm* «кишка». ср. **dher-* «брать, держать», **der-* «Spanne der Hand»; русск. *верить, вера*, но греч. *βραχ* «кишка»; лат. *spero* «надеяться», но англ. диал. *piring* «кишка; колбаса», ср. серб. *sporiti* «to encourage», др.-англ. *spūrian* «seek, perceive», но др.-инд. *pūrta-* «Lohn», др.-англ. (с метатезой) *ropp* «кишка»; русск. *искать*, англ. *to ask* «спрашивать», но др.-англ. *isen, iske* «кишка»: лат. *fides* «вера», ср. англ. *god* «бог» (букв. «тот, на которого надеются»). русск. *ждать*, но др.-англ. *gudá-*, греч. *γόδα* «кишка», ср. лат. *fides* «струна», др.-англ. *on-gietan* «urteilen, betrachten, fühlen; ergreifen, nehmen»: литов. *tikėti* «to believe», но литов. *taukas* «Bauch» (ср. др.-инд. *takari* «ein bestimmtes Teil der weiblichen Genitalien», др.-англ. *tiohh* «род»: англ. *think* «думать»; типологически ср. др.-инд. *dumah* «Genitalien», но русск. *думать*); нем. диал. *anden* «полагать, предчувствовать» [**es* «setzen, sitzen» (ср. др.-англ. *isen, eosen* «Darm») + **der-* «Darm», **dher* «take, hold»: ср. **ais-* «wünschen, begehren, aufsuchen», **ais-* «fürchten», **as-* «Leben; Blut»], но греч. *ἤτορ* «Herz», *ἤτρον* «Bauch», ср.-н.-нем. *ader* «Eingeweide»; русск. *надеяться* < **deiti* «legen».

Значения «надеяться, верить» могут, естественно, соотноситься и со значением «рука» (≈ «берущая, дающая»): ср. нем. *glauben*, но др.-англ. *lof* «рука», ср. англ. сленг, англ. диал. *love* «пустой, нулевой (в игре)»: англ. *guess* «думать», но **ghes-* «рука» (ср. лат. *cassus* «пустой», др.-англ. *gāesne* «пустой»), ирл. *gosod* «надежда»; лат. *credō* «верю», но греч. *χείρ* «рука»; н.-ирл. *dōchas* «надежда», но англ. сленг *duke* «рука»; нем. диал. *anden* «полагать, предчувствовать», но нем. *Hand* «рука»; и.-е. **men-* «думать», но лат. *manus* «рука»; **bhago* «assert, vow», но **bhagos* «arm».

Интересно развитие значений «останавливаться, прекращать(ся)» в индоевропейских языках: в большом количестве случаев эти значения являются забытой метафорой от значения «говорить» (метафорический образ — обращение к богу с возгласами и мольбами и в результате этого религиозный экстаз, транс, прекращение всех движений тела): ср. греч. *λέγειν* «говорить», но др.-англ. *slāc* (совр. англ. *slow* — «медленный»); и.-е. **gal-* «петь, издавать звуки», но др.-англ. *gǣlan* «прекращать, останавливаться»; др.-англ. *maeþlan* «говорить», но русск. *медленный*; тох. А *tāp-* «annoncer à haute voix», но англ. *stop*; и.-е. **kuk-* «сгу», но лат. *circulare* «останавливать(ся)»; др.-англ. (нортумбр.) *stiora* «останавливать, препятствовать», но хет. *tar-* «говорить» (ср. русск. *тормоз*); и.-е. **eg-* «sprechen», но **eg-* «zögern; mangeln»; др.-слав. *кунети* «останавливаться», но др.-в.-нем. *kosian* «говорить»; др.-англ. *swedan* «говорить», но англ.

skid «тормозить, останавливаться»; кельт. *trigio* «музыка», но гот. *trigo* «неохота, нерасположение»; др.-в.-нем. *tragi* «медленный»; др.-англ. *sweog* «звук», но др.-англ. *swigian* «прекратить; находиться в покое».

Слова со значениями «слепой», «немой», «глухой» соотносятся со словами, обозначающими отдельные атрибуты сакрального акта (в частности, «застывший в религиозном экстазе» > «потерявший слух, зрение, речь», «подобный камню, окаменелый», а также «чудо»): ср. ирл. *cloch*, *clog* «камень», но русск. *глухой* (ср. также англ. *rock* «скала, камень»); ср.-ирл. *goll* «слепой», но **gel-* «застывший в экстазе», русск. *скала*; греч. *βαβρα* «чудо», но нем. *stumm* «немой»; осет. *kudti* «немой; глупый», но греч. *ἄβδος* «чудо», ср. др.-англ. *swedan* «говорить» > («колдовать»), гот. *silda-leik* «Staupen, Wunder» (букв. «окаменелое, застывшее тело», ср. лат. *silex* «камень»), ср. также **kel-* «Pfosten» (поклонение столбам), ср. переход: **sel-* > **syel-* > **uel* > **uer-* — литов. *uola* «Stein», русск. *во-рожить*. С гот. *silda leiks* следует сопоставить др.-англ. *swir* «столб» (поклонение столбам, ср. русск. *кол*, но *околемь*, букв. «застыть, стать неподвижным как столб»), лат. *surdus* «глухой». Гот. *silda(leiks)* восходит к **kel-* «frieren» (ср. **kel-* «brönnen, heiz werden» > «frieren», ср. лтш. *šilt* «нагреть», ср. типологически лат. *pruna* — *pruina*). Ср. далее: др.-англ. *searo* «Kunst, Geschicklichkeit, List», англ. *sword* «меч» (типологически ср. др.-англ. *mece* «меч», но **mag-* «Zauber»), **ser-* «fluid» (сакральное возлияние), лат. *seros* «late, backward», англ. *word* «слово» > («волшебство»), **syel-* «essen» > («coire»), **syer-* «harm, hurt», **solēiō* «offer, bid, yield», **sul-* «pillar» (поклонение столбам), тох. А *surm* «cause, motif, raison»; русск. *слепой*, но и. о. **lep* «камень», лтш. *slēps* «тайна», англ. *sleep* «спать», литов. *lopė* «пламя» (типологически ср. англ. *wonder* «чудо», но и. е. **ond-* «камень»); англ. *blind* «слепой», но греч. *ἄβδος* «камень»; нем. *staub* «немой», но литов. *stebeti* «удивляться», греч. *τῶφλος* «слепой», ср. также: русск. *стбель*, нем. *toben* «бушевать», др.-англ. *tiber* «жертва», нем. *zaubern* «колдовать», лат. *stupor* «numbness», ит. *stupore* «astonishment»; русск. *немой*, но лат. *nemus* «священная роща», **nem-* «give, let, hire out», **nem-* «moist», **nem-*, **nom* «book, mystery», греч. *νόμος* «обычай, закон»; др.-инд. *andha* «слепой», но **ond-* «камень», ср. англ. *wonder* «чудо»; литов. *āklas* «слепой», но др.-англ. *lāc* «жертва», *lāc* «культуровая игра»; с лтш. *brīnsums* «чудо», возможно, следует сопоставить др.-англ. *blinnan* «остановиться», др. англ. *rūna* «тайна», англ. *blind* «слепой», лат. *prūna* «Glut»; **kūr-* «blind», но валл. *carreg* «stone». Ср. также русск. *хромой*, но лтш. *ērms* «чудо», литов. *rimti* «остановиться, прекратить». Значение «болезнь» также может соотноситься со значением «камень» (остановка, окаменение «жизненных соков»): ср. нем. *siechen*, англ. *sick* «больной», но лат. *salut* «камень»; и. е. **ak-men* «камень», но лат. *aeger* «больной»; англ. *ill* «больной» (**el* > **uel-*), но литов. *uolā* «камень»; литов. *sirgti* «болеть», но **srig* «kalt» (ср. англ. *rock* «скала, камень»); русск. *леда*, *ляда* «болван» (диал.), но русск. *лед*; **aleg-* «suffering», но лат. *glacies* «лед»; литов. *liga* «болезнь», но русск. *скала*; др.-англ. *sār* «больной», но арм. *sařnem* «лед».

Ряд животных «нижнего мира» (змеи, крысы, мыши) считались хранителями земных богатств. Вместилищем же земных богатств считалась гора, которая вместе с тем была символом Вселенной. Ср.: 1) лат. *mūs* «мышь» < лат. *mōns* «гора» (ср., с другой стороны, ирл. *toep* «сокровище»); 2) кельт. *luch* «мышь», но др. инд. *loka-* «Вселенная». Ср., однако, греч. *ἄβδος* «холм», греч. *ἄφραξ* «coire» (типологически ср. гот. *huzd* «tea-

sure», но греч. *κόσμος* «*pudenda muliebres*»); 3) русск. *крыса*, но и.-е. **ker-* «вершина», а также др.-англ. *hyrst* «сокровище»; 4) англ. *rat* «крыса» < **uert-* (ср. **uer-* «*Gipfel*»), но др.-англ. *wrætt* «драгоценность»; 5) литов. *pelė* («*Maus*»), но нем. *Fels* «камень, гора», **pel-* «заработок, жалованье»; 6) русск. диал. *пасюк* «крыса» (ср. тох. А *pats* «земля»), но **pes-* «ре-нис» «размножение» > «богатство», др.-инд. *pāṣāna-* «камень» > («гора»); 7) лат. *sorex* «мышь» (< **kse-reg-* < **kes-reg*, ср. греч. *κοσ-μος* «*Вселенная*»): вторая часть этого слова (**reg-* > **leg-*) соотносится с др.-инд. *loka* «*Вселенная*»: ср. нем. *Schlange* «змея», типологически ср. лат. *anguis*. «змея», но др.-инд. *anghi-* «*Вселенная*»; ср. греч. *θη-σαυρος* «сокровище», первая часть которого соотносится с и.-е. **dhe-* «класть», а вторая с лат. *sorex*. Ср. далее: тох. А *zul* «гора», тох. А. *surm* «причина», тох. А *ṣūraṅ* «семья». Интересно, что слова со значением «червь, змея, мышь» (животные «нижнего мира») могут соотноситься со значением «металл»: 1) др.-англ. *maða* «червь», но лат. *metallum* (ср. др.-англ. *madum* «сокровище»); 2) брет. *aer* «змея», но гот. *aiz*, др.-англ. *ār* «руда, металл»; 3) др.-инд. *kala-* «металл», но и.-е. **geli* «мышь»; 4) лат. *sorex* «мышь» [ср. переход **sker-* (русск. диал. *щур* «крыса») > **kser-* (лат. *sorex* «мышь») > **kes-* (прусс. *cassoye* «латунь»)], но др.-инд. *ṣaram* «металл»; русск. *железо*. но **geli-* «мышь»; лат. *ferrum* «железо» (< **ghersom*), но русск. *крыса*, ср. др.-инд. *hirana* «металл».

Время представлялось древним в виде оболочки всего сущего. Ср. в этой связи: гот. *theihs* «время», но нем. *Decke* «крышка», русск. *о-дежда*; др.-англ. *tid* «время», но индо-арийск. **dhada-* «туловище» (как вместилище души), *dudda-* «живот (как вместилище внутренностей)»; серб.-хорв. *рок* «время», но нем. *Rock* «одежда»; русск. *час*, но англ. *case* «чемодан, футляр»; чеш. *dobà* «время», но и.-е. **dhubos* «оболочка»; русск. *время* (< **uer-men*), но **uer-* «вмещать в себя, закрывать, накрывать»; нем. диал. *Hirte(n)* «время», но нем. диал. *Kar* «сосуд»; др.-англ. *sið* «время», но др.-англ. *seoð* «карман, мешок»; лтш. *laiks* «время», но нем. диал. *Lag* «сосуд»; греч. *ὑρος* «время», но нем. диал. *Rein* «сосуд».

Следует отметить, что время как мифопоэтическая категория непосредственно связано с пространством и образует с ним единое целое (хронотоп): ср. др.-инд. *kala-* «время», но русск. *колея*, лтш. *čelš* «путь»; др.-инд. *rajas* (**reg-*) «пространство», но серб.-хорв. *рок* «время»; и.-е. **uer-men* «время», но др.-англ. *weorð* «земельный участок», тох. В *wārio* «сад» (ср. греч. *ῥα* «время»); греч. *χαῖρος* «время», но греч. *ὑῤῥα* «местность».

Слова со значением «левый — правый» могли обозначать соединение центра мироздания (мировое дерево, мировая гора, мировая река, рыба и др.) с хаосом, находящимся за его пределами: ср. греч. *δεξιός* «правый», но литов. *taka* «тропа», русск. *стега*; др.-англ. *swiðor* «правый», но др.-англ. *swaði* «тропа» (ср. др.-англ. *widu* «лес»); тох. А *apats* «справа», но нем. *Pfad* «тропа», англ. *path*; др.-сев. *höger* «правый», но лтш. *kudšks* «дерево», др.-сев. *skogr* «лес»; нем. *recht* «правый» (и.-е. **reg-*), но англ. *rock* «скала»; русск. *правый*, но нем. *Spur* «тропинка» (ср. литов. *būrti* «колдовать»). С другой стороны, ср. лат. *sinister*, ст.-слав. *svijnŭ* «отдаленный», *svēnĭje* «находящийся вовне» (Mann, с. 1361) + **ster-* «пространство» [ср. хет. *sēnas* «идол», др.-инд. *sānuḥ* «идол; эпитет солнца и ветра», ирл. *siön* «погода», ирл. *sin* «религия», и.-е. **suoin-* «робость, боязнь (божества)», сакс. *sāna* «враг»]. Ср. также греч. *ἀριστερός* «левый», но индо-арийск. *arari* «дверь» (букв. «то, что выходит наружу») + и.-е. **ster-* «пространство».

Нище не только исследует те операции, которые лежат в области

«бессознательного», иррационального, предсознательного языка, но и оптимальные формы его произнесения — музыку, искусство, риторику, состояние экстаза, в частности культ Диониса (в противоположность культу Аполлона). Во время отправления языческого культа, наивысшего душевного напряжения (экстаза), самоотречения возможности создания символов достигают апогея, возникает слияние человека с природой, которая неодолимо требует символического выражения как в звуках, так и в движениях, а затем и в музыке, в ритмике, гармонии¹¹. При этом Ницше отмечает многообразие и неодинаковость следующих друг за другом символов («зеркало не может отражаться в зеркале»). В связи с этим необходимо принять во внимание так называемые этимологические гнезда: большое количество различных слов, обозначающих те или иные элементы культа, нередко восходит к одному и тому же корню [30]¹². Ницше указывает, что «бессознательный» язык может иметь множество возможных форм, а сознательный язык актуализирует лишь определенную форму в определенный период времени и в той или иной культурной среде. Это, по мнению К. Кроуфорд (с. 135, примеч. 17 рассматриваемой работы), весьма напоминает выделяемые Ф. де Соссюром понятия *langue* и *parole*. *Langue* — это и социальное явление, и система ценностей. *Parole* же — это индивидуальный акт речи, предусматривающий выбор и актуализацию. Таким образом, *langue* представляет возможные формы, а *parole* избирает определенную форму. К. Кроуфорд считает, что Ницше выдвигает здесь теорию системности в языке, в рамках которой система — это набор качественно и количественно определенных единиц; каждая из этих единиц, являясь определенной «ценностью», в то же время выступает и виде элемента более крупной функциональной сущности, посредством которой она коррелирует с другими «ценностями». Необходимо иметь в виду, что большее или меньшее сходство взглядов нескольких ученых не всегда равносильно приоритету одного из них, а нередко может оказаться поверхностным, внешним, надуманным, произвольным. Однако отдельные идеи, высказанные тем или иным ученым, если они без должных оснований не рассматриваются как основополагающие для других ученых, могут сами по себе представлять несомненный интерес.

Для Ницше любой объект или явление (язык, обычай, орган) — это знак в семиотическом смысле (ср. [33—35]). Как справедливо отмечает О. Бэр [33], он рассматривал Вселенную в свете постоянно действующего процесса интерпретации, экзегеза, что находит выражение в создании организмов и органических функций. Каждый «центр энергии» — не только *Homo sapiens* — создает свой особый мир. Мир человека — это лишь один из многих миллионов миров. Любой организм конструирует присущие ему формулы и знаки с целью приблизить к себе свой собственный мир. В качестве основного инструмента создания своего мира и практического доступа к нему люди используют язык. Для человека энергия (*Kraft*) воплощается в осязаемые объекты, которые классифицируются и координируются посредством катего-

¹¹ Отправление языческого культа — наиболее примитивная, наиболее ранняя, не «испорченная» дальнейшими преобразованиями форма выражения *Ur-Eine* (соответствует принципу *фбсы* у Платона).

¹² Именно рассмотрение этимологических гнезд, отражающих процедуру сакрального акта, дает возможность в ряде случаев семасиологически связать слова, ранее считавшиеся омонимами, что имеет принципиальную важность для этимологического анализа.

рий (субстанция, субъект, объект, соотношение причины и следствия, понятия добра и зла и др.). Однако все эти категории, начиная с понятий субъекта и объекта, являются чисто семиотическими (eine bloße Semiotik) — знаковым языком (Zeichensprache), состоящим из упрощающих иконических схем, которые возникли в результате органических и психологических потребностей и являются семиотическим ступком (semiotische Zusammenfassung) длительных исторических процессов. Таким образом, мышление, по Ницше, является произвольной иллюзией, искусственным приемом (Zurechtmachung), используемым с целью контроля. Путем проекции мы как бы «вкладываем» свои потребности в объекты и называем их ценностями, путем интроспекции мы снова открываем для себя эти ценности в объектах, не понимая, что мы сами ранее «вложили» их туда. В объектах нельзя обнаружить ничего, что не было бы ранее «вложено» в них. Такое «вложение» (Hineinsteckung) называется искусством и религией, а вновь обнаруженные ценности (Wiederfinden) — наукой. Для анализа процессов проекции и интроспекции Ницше создал метод генеалогии, который — предваря психоанализ Фрейда — стремится выявить основные органические и психологические потребности, «скрывающиеся» под многочисленными слоями «подавляющей» интерпретации. Для того чтобы в корне «снять», ликвидировать подавление инстинктов (ср. современное учение о «запретах» и «разрешениях» в языке), Ницше прибегал к «деконструкции грамматики» подобно тому, как это делал после него Виттгенштейн. По Ницше, мы мыслим согласно грамматическим навыкам, которые являются «дурными» привычками. Они заставляют нас, в частности, добавлять субъект к каждому действию (ср. нем. *es regnet, ich denke*). Таким образом, cogito Декарта получает лингвистическое подтверждение в виде системы риторического использования тропов (стилистического переноса названия посредством метафоры, метонимии, синекдохи). Несмотря на то, что Ницше считал язык и логику произвольными функциями, он усматривал в тропологическом измерении естественных языков иконический элемент Вселенной. Постоянно «пропуская» язык сквозь фильтр тропов, постоянно отыскивая «обратную сторону» (Kehrseite) вещей, ставя под сомнение устоявшиеся истины и представления, Ницше создал мир, очень напоминающий logos Гераклита, — мир, находящийся в вечном становлении. Именно Ницше одним из первых занимался актуальной ныне проблемой языковой ментальности — различными способами языкового представления мира, лингвистической герменевтикой [36—41]¹³. Мир (или различные миры) представляются человеку через призму его культуры, в частности языка. В ходе теоретической и практической деятельности люди имеют дело не непосредственно с миром, а с репрезентациями мира, когнитивными картинками и моделями. Представление мира — это его осмысление, интерпретация. Речевой акт порождает и отражает мир (один из миров). Метафора является своеобразной картиной мира, неодинаковой у носителей различных культур и одной и той же культуры в отдельные исторические периоды (ср. гипотезу Сэпира — Уорфа). Как отмечал М. Фуко, «человеческая природа сплетается с „природой вообще“ лишь через функционирование механизмов знания; или, точнее говоря, в великой системе классической эпистемы природа вообще, человеческая природа и их взаимоот-

¹³ Огромное значение Ф. Ницше придавал учению о различении, оценке и смысле, поскольку это учение фактически отражает весь мир, в котором постоянно совершается различение, делается оценка и ищется смысл (ср. современные аксиологические теории).

ношения являются моментами функциональными, определенными и предсказуемыми» [14, с. 400]. Необходимым условием и движущей силой развития языка является постоянно осуществляемый в нем экзегезис. Все наше сознание — это более или менее фантастическое истолкование (интерпретация) неизвестного и вместо с тем непознаваемого, но как бы всегда подспудно присутствующего «текста». Наш опыт — это скорее то, что мы определенным образом прочитываем (каждый индивид и группа индивидов — по своему), а не суть того, что нам представляется. Однако язык не только интерпретирует «текст», не только формирует понятия и строит логические связи, не только называет предметы, но и создает их посредством бесконечных метафорических преобразований. Как отмечает Ф. Ницше в своей работе «Сумерки идолов», язык «с неотвратимостью судьбы» наставляет на «бронзовые таблички» один знак на другой. Однако язык обладает не только созидательной, но и разрушительной силой: создавая определенные «миры», язык разрушает их и заменяет новыми.

В своем объяснении происхождения языка Ницше под влиянием работ Ланге пытается как бы «примирить» идеализм с материализмом. С одной стороны, он говорит о человеке и его языке как о представлениях «абсолютной воли» (ср. теорию происхождения языка *fozst*). Отсюда его объяснение происхождения языка на основе непроизвольных выкриков (междометий), которые возникают в состоянии экстаза и являются реакцией на определенное первое раздражение (ср. [42]), приводящее в движение Волю с последующим многократным отражением последней в виде символов или образов. Он подчеркивает уникальность бессознательного образного языка индивида, индивидуальной метафоры, «не поддающейся классификации». С другой стороны, однако, он говорит об определенном «соглашении» между людьми в использовании слов (т. е. метафор) в том или ином человеческом сообществе (*fozst*). Он считает, что творческое преобразование первого стимула в образы (ср. «психофизику» Фехнера, закон Вебера о соотношении ощущений и стимулов) — это основа основ любого понятия, но вместе с тем признает сознательный язык образом образа, символом символа, метафорой метафоры. Именно этот «барьер», по Ницше, одновременно является и стимулом для развития языка [43, 44].

Книга К. Кроуфорд заполняет существенный пробел в истории лингвистической мысли конца XIX — начала XX в. и является ценным вкладом в исследование становления лингвистики как науки. Хорошее знание философских и лингвистических течений рассматриваемого и последующего периодов, широта и акрибия текстовых сопоставлений, прекрасное владение филологическими методами, дающими возможность создать цельную картину лингвистической концепции Ницше на основе выбираемых буквально по крупицам из его работ отрывочных замечаний и вкраплений, — все это дает возможность оценить книгу К. Кроуфорд как крупное достижение современной философско-лингвистической историографии. К. Кроуфорд открыла для науки о языке Ницше-филолога — ученого-новатора, наместившего еще в XIX в. контуры наиболее престижных направлений теоретического языкознания грядущего столетия. В книге К. Кроуфорд перед нами предстают не отдельные аспекты лингвистической концепции Ф. Ницше (как в работах ее предшественников), а прослеживается в своем становлении цельная концепция языка, созданная Ф. Ницше и неоднократно модифицированная им на протяжении его творческой жизни. В этом огромная заслуга исследования К. Кроуфорд.

1. *Danto A.* Nietzsche as philosopher. N. Y., 1965.
2. *Man P. de* «Rhetoric of tropes» and «rhetoric of persuasion» // *Allegories of reading.* New Haven, 1979.
3. *Derrida J.* Eperons. P., 1976.
4. *Ungeheuer G.* Nietzsche über Sprache und Sprechen, über Wahrheit und Traum // *Nietzsche Studien.* 1983. № 12.
5. *Grimm R. K.* Nietzsche's theory of knowledge. B., 1977.
6. *Kofmann S.* Nietzsche et la métaphor. P., 1972.
7. *Nehamas A.* Nietzsche: Life as literature. L., 1985.
8. *Rey J.-M.* L'enjeu des signes. P., 1971.
9. *Stern J. P.* A study of Nietzsche. Cambridge, 1979.
10. *Strong T.* Friedrich Nietzsche and the politics of transfiguration. Berkeley, 1975.
11. *Schacht R.* Nietzsche. L., 1983.
12. *Ouyes C. Ф.* Тропами Заратустры. М., 1976.
13. *Foucault M.* The order of things / Translated by Laing R. D. N. Y., 1973. P. 305.
14. *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977.
15. *Oehler M.* Nietzsche's Bibliothek. Wiesbaden, 1942.
16. *Nietzsche F.* Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe / Hrsg. von Colli G. und Montinari M. Berlin; München, 1980.
17. *Nietzsche F.* Gesammelte Werke. Musarionausgabe. München, 1920—1929.
18. *Nietzsche F.* Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe. München, 1933—1942.
19. Nietzsche's Werke. Leipzig, 1901—1913.
20. *Nietzsche F.* Zur Genealogie der Moral. Leipzig, 1887.
21. *Jakobson R.* Linguistics. Main trends of research in the social and human sciences. I. Paris; The Hague, 1970. P. 438.
22. *Jacob F.* The linguistic model in biology // *Roman Jakobson. Echoes of his scholarship* / Ed. by Armstrong D., Schooneveld C. H. Lisse, 1977.
23. *Гамкрелидзе Т. В. Р.* Якобсон и проблемы изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами // ВЯ. 1988. № 3.
24. *Бельтюков В. И.* Аналогии между языковой и генетической знаковыми системами // Теоретические и прикладные исследования психологии речи. М., 1988.
25. *Гельфанд М. С.* Коды генетического языка и естественный язык // ВЯ. 1990. № 6.
26. *Плунгин В. А.* О работах группы формальной лингвистики Парижского университета — VII // ВЯ. 1988. № 5.
27. *Маковский М. М.* Лингвистическая генетика. М., 1991.
28. *Crawford C.* What light does linguistics, and especially the study of etymology, throw on the evolution of moral concepts // *The paradigm exchange.* II. University of Minnesota, 1987.
29. *Энгельс Ф.* Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 293.
30. *Маковский М. М.* Удивительный мир слов и значений. Иллюзии и парадоксы в лексике и семантике. М., 1989.
31. *Shibles W. A.* Metaphor. An annotated bibliography and history. Whitewater (Wisconsin), 1971.
32. *Shibles W. A.* Philosophical pictures. Dubuque (Iowa), 1969.
33. *Baer Eug.* Friedrich Nietzsche // *Encyclopedic dictionary of semiotics* / General editor Sebeok Th. A. T. 2. Berlin; New York; Amsterdam, 1986. P. 606—607.
34. *Степанов Ю. С.* Семиотика, М., 1971.
35. *Лосев А. Ф.* Знак, символ, миф. М., 1982.
36. *Почепцов О. Г.* Языковая ментальность: способ представления мира // ВЯ. 1990. № 6.
37. *Петров В. В.* Метафора: от семантических представлений к когнитивному анализу // ВЯ. 1990. № 3.
38. *Петров В. В.* Идеи современной феноменологии и герменевтики в лингвистическом представлении знаний // ВЯ. 1990. № 6.
39. Possible worlds in humanities / Ed. by Allen S. B., 1988.
40. *Ladd G. T.* Philosophy of knowledge. N. Y., 1897.
41. *Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка. М., 1985.
42. The genesis of language and speech. A different judgement of evidence / Ed. by Landsberg M. E. B., 1988.
43. *Mittasch A.* Friedrich Nietzsche als Naturphilosoph. Stuttgart, 1952.
44. *Del-Negro.* Die Rolle der Fiktionen in den Erkenntnislehre F. Nietzsches. München, 1923.

РЕЦЕНЗИИ

L'Hermitte R. Marr, marrisme, marristes. Une page de l'histoire de la linguistique soviétique. P.: Institut du monde soviétique et de l'Europe centrale et orientale, 1987. 96 p. (Cultures et sociétés de l'Est, 8).

Книга французского исследователя Р. Лермита посвящена истории марризма как направления в советской лингвистике начиная от ранних работ Н. Я. Марра вплоть до опытов возрождения марристских идей в 60-70-е годы. Это уже далеко не первая работа такого рода в зарубежной науке. Особо следует выделить содержательную книгу М. Томаса [1], тогда как у нас после вышедшего еще в начале 50-х годов двухтомника [2] не было ни одной книги, специально посвященной марризму, а его история вообще никогда не рассматривалась сколько-нибудь детально.

В отличие от большинства своих предшественников Р. Лермит не считает нужным давать научное опровержение «нового учения о языке» Н. Я. Марра, считая его очевидно абсурдным; по его мнению, марризм не относится к истории науки, это страница истории отношений между наукой, идеологией и политикой в СССР (с. 96).

В первой главе описывается жизнь и деятельность Н. Я. Марра. Р. Лермит считает, что его имя может остаться в истории науки лишь благодаря его ранним кавказоведческим работам; все же идеи Н. Я. Марра 20-30-х годов нельзя назвать даже гипотезами, это лишь произвольные ассоциации (с. 16). Показано, как постепенно эти идеи проворачивались в официально признанную догму. Переломным моментом Р. Лермит обоснованно считает дискуссии в Коммунистической академии в феврале-марте 1929 г., когда был подвергнут травле Е. Д. Поливанов, выступивший против марризма. Победа «нового учения о языке» вполне справедливо связывается с политической обстановкой в стране в 1929 г., когда свершился переход, консолидировалась власть И. В. Сталина, а в любой области науки и культуры появлялись вожди (с. 24-25). Отмечено, что установлению полного господства Н. Я. Марра способствовало выступление И. В. Сталина на XVI съезде ВКП(б), где утверждалась марроновская идея о бу-

дущем всемирном языке. Р. Лермит поднимает основные этапы раздувания культа Н. Я. Марра и подавления инакомыслия в языкознании в начале 30-х годов.

Во второй главе описывается история советского языкознания в период между смертью Н. Я. Марра и выступлением И. В. Сталина по вопросам языкознания. Убедительно показано, как постепенно устанавливался компромисс между наукой и «новым учением о языке», как последователи Н. Я. Марра во главе с И. И. Мещаниновым, сохраняя ряд положений своего наставника (прямое отражение социальных структур в языке, классовость языка, стадийность), отошли от элементарного анализа, тезиса об изначальности кинетической речи и многого другого, составлявшего суть учения Н. Я. Марра. Работы И. И. Мещанинова, С. Д. Кацнельсона, В. М. Жирмунского, написанные в то время, автор в целом оценивает положительно, отмечая оригинальность ряда их идей. Обращает внимание Р. Лермит и на вполне доляльное отношение к западной науке в те годы. Однако с 1948 г. в языкознание прояслился «холодная война» в лысенковщина (с. 58). Приводится хроника печальных событий 1948-1950 гг. в советском языкознании, автор отдает должное поведению М. Н. Петерсона и П. С. Кузнецова, не отрехшихся от своих взглядов.

Далее автор книги описывает ход дискуссии в «Правде», начавшейся публикацией статьи А. С. Чикобава, который, как отмечает Р. Лермит (с. 68), всегда был противником Н. Я. Марра и его учения. Замечая, что уже при открытии этой дискуссии предполагалось участие в ней И. В. Сталина, Р. Лермит ставит вопрос о причинах вмешательства вожди в вопросы языкознания. Он указывает, что на этот вопрос до сих пор нет определенных ответов, и выдвигает ряд гипотез (с. 73-75). Среди них одна заслуживает несомненного внимания. Р. Лермит отмечает связь между выступ-

лением И. В. Сталина по вопросам языкознания и общим изменением его позиции, в которой классовый подход все более уступал место национальному. В одном ряду с разгромом школы М. Н. Покровского (много помогавшего Н. Я. Марру), восставлением ряда традиционных институтов, подчеркиванием роли русского народа вполне естественно стоял восстановление традиционного языкознания и осуждение маррвских идей, рассчитанных на политическую конъюнктуру 20-х годов (с. 74). Другие гипотезы достаточно наивны и неубедительны — вроде предположения о том, что И. В. Сталин перенес на ленинградца Н. Я. Марра нелюбовь к Ленинграду. Перечень возможных причин автор завершает догадкой о том, что И. В. Сталин после двадцатилетней поддержки марризма мог якобы просто оценить ситуацию с позиций здравого смысла и сказать: «Хватит!» (с. 75). Т

В третьей главе изложена последующая судьба марризма. Автор не склонен проводить параллель между событиями 1948 г. в биологии и событиями 1950 и последующих лет в языкознании; по его мнению, с лысенковщиной скорее сопоставим сам марризм; к тому же после 1950 г. в языкознании не было суровых репрессивных мер и марристы не были вне закона (с. 79). Отмечено, что после десятилетия полного отказа от марризма с 60-х годов начинается его постепенное восстановление в правах. На наш взгляд, Р. Лермит понимает это восстановление слишком широко, причисляя сюда и выпуск юбилейного сборника в честь И. И. Мещанинова, и публикацию статьи В. И. Абаева о дегуманизации науки, в основном написанной с позиций классического компаративизма, отрицавшего ее в марризме, и распространение идей об особой роли русского языка, совершенно не свойственных Н. Я. Марру. Но верно отмечена проявлявшаяся в ряде работ некоторых бывших марристов тенденция к новой социологизации языкознания, к полному отрицанию достижений зарубежной науки XX в., а также к восстановлению в правах идей Н. Я. Марра, хотя и не в полном объеме. Об этом, впрочем, еще в 1983 г. писал Б. А. Серебренников [3].

В последней главе говорится об отношении к марризму за пределами СССР. Автор показывает, что оно было почти всегда отрицательным независимо от философских или политических взглядов лингвистов. Западные языковеды-марксисты до 1950 г. либо избегали упоминать «новое учение о языке» (М. Коэн), либо выступали против него (О. Соважо). Рассказывается о том, как в 1948—1949 гг. в странах Восточной Европы, особенно

в Чехословакии, внедрялся марризм; к июню 1950 г. этот процесс не успел завершиться (с. 89—91). В другом месте сказано, что несмотря на разгар «холодной войны» отношение многих западных ученых, в том числе Ж. Вандриеса, к появлению работ И. В. Сталина было вполне одобрительным (с. 80).

В целом, несмотря на ограниченное количество привлеченных материалов и слишком краткое изложение ряда вопросов, Р. Лермит дает четкую и в целом правильную картину тех трудностей, которые испытала советская лингвистика в сталинское время. Большинство выводов автора не вызывает возражений.

Среди существенных замечаний, помимо указанных выше, отметим еще одно. Автор слишком склонен верить утверждениям марристов о тождестве «нового учения о языке» и «марксистского языкознания». Влияние марксизма Р. Лермит усматривает даже в работах 1922 г. (с. 13), хотя сам Н. Я. Марр и его биограф В. Б. Аптекарь указывали, что тогда Н. Я. Марру марксизм не был известен; «марксизмом» автор почему-то считает положение о связи истории слов с историей первобытного общества (с. 16); даже отказ Н. Я. Марра от признания языкового родства назван шагом в синтезе яфетидологии и марксизма (с. 14). О марризме как применении марксизма-ленинизма к языкознанию говорится и в связи с событиями 1948—1949 гг. (с. 67). Между тем лишь с конца 20-х годов Н. Я. Марр начал с явно конъюнктурными целями приспосабливать свое «новое учение о языке» к учению К. Маркса и Ф. Энгельса. Однако приспособление было проведено не полностью (идеи Н. Я. Марра о классах в первобытном обществе противоречили трактовке первобытно-общинной формации у Ф. Энгельса, что позднее создавало немало сложностей для канонизаторов Марра) и нередко сопровождалось прямой фальсификацией идей основоположников марксизма, особенно Ф. Энгельса, который, как известно, полностью принимал языковое родство и другие постулаты сравнительно-исторического языкознания [4—6] и даже собирался писать сравнительную грамматику славянских языков, отказавшись от этого намерения лишь потому, что эту задачу уже осуществлял Ф. Миклошич [7]. Утверждения Н. Я. Марра и проагандистов его идей — В. Б. Аптекаря и С. Н. Быковского — во многом соответствовали той вульгаризации марксизма, которая была типична для сталинского времени, но были далеки от реального учения классиков марксизма.

Не всегда можно согласиться и с частными оценками Р. Лермита. Вряд ли

можно считать близкой к марризму книгу В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка», в оценке которой Р. Лермит излишне суров (с. 28). К числу языковедов, принявших марризм, необоснованно отнесен Л. Р. Зиндер (с. 65). Трудно поставить в один ряд одновременно опубликованные во время дискуссии в «Правде» в 1950 г. статьи Г. С. Ахведяни и Т. П. Ломтча (с. 72): первая из них последовательно антимарристская, вторая же протиноричива и содержит немало марристских положений вплоть до отрицания языкового родства.

Таких спорных оценок, однако, не так много. В то же время в книге, к сожалению, много мелких фактических неточностей. Некоторые из них связаны с ограниченностью источников, использованных Р. Лермитом. Так, ему, по-видимому, известны лишь два первых тома «Избранных трудов» Н. Я. Марра, на которые он постоянно ссылается и даже пытается подчитать научную продуктивность Н. Я. Марра по годам на основании того, сколько работ каждого года помещено в этих томах (с. 28). Но такая продуктивность была равно высокой все последние годы жизни Н. Я. Марра до инсульта в 1933 г., а «Избранные труды», включившие в себя далеко не все из написанного им по лингвистике, состоят не из двух, а из пяти томов. События 1948—1950 гг. воссоздаются на основе действительно важного источника: «Известий АН СССР» серии литературы и языка. Однако хроника событий, хорошо восстанавливаемая по этому журналу для 1948 и 1949 гг., не дает такой возможности для первой половины 1950 г.: три первых номера журнала за 1950 г. так и не вышли (в том году появились лишь три номера вместо обычных шести, причем № 1, открывающийся работами Сталина, фактически соответствует № 4). Поэтому Р. Лермит предполагает, что будто бы уже с конца 1949 г. лишь стало проявляться изменение ситуации, через полгода вылившееся в дискуссию, а назначенная на это время сессия памяти Н. Я. Марра не состоялась (с. 67). Однако до начала дискуссии в мае 1950 г. общая обстановка оставалась прежней, если не становилась хуже. Именно в это время противников марризма начали выгонять из научных учреждений и учебных заведений: были уволены Р. С. Ачарян и Г. А. Капанцян, представлены к увольнению П. С. Кузнецов и В. А. Серебренников. Постановление Президиума Академии наук от 12.04.1950 запрещало всякие сравнитель-

ные и сопоставительные исследования языков. Пышная сессия памяти Н. Я. Марра действительно состоялась 24—27 января 1950 г., но о ней успел появиться лишь один отчет А. Г. Спиркина [8].

Немало в книге и погрешностей в фактах, датах, именах, некоторые из них, возможно, объясняются незамеченными опечатками. Н. Я. Марр закончил университет не в 1890 г. (с. 11), а в 1888 г. Неверно указаны даты выступления И. И. Мещанинова на годичном собрании Академии наук (с. 38), ареста и гибели Е. Д. Поливанова (с. 48), смерти Г. О. Винокура (с. 62). Тесно связанный в 20-е годы с Н. Я. Марром языковед В. Б. Томашевский на с. 18 спутан с далеким от марризма литературоведом В. В. Томашевским. Академик А. И. Соболевский (1856—1929) назван на с. 19 в числе молодых лингвистов, начинавших в 20-е годы свою деятельность.

Несмотря на все эти неточности, книга Р. Лермита представляет интерес для читателя как краткая история советского языкознания в самый трудный его период. Необходимо дальнейшее, более углубленное и связанное с привлечением новых материалов исследование этой проблемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Thomas L. L.* The linguistic theories of N. Ya. Marr. Berkeley; Los Angeles, 1957.
2. Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании. Т. 1—2. М., 1951—1952.
3. *Серебренников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.
4. *Энгельс Ф.* Франкский диалект // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 523, 524—525, 528.
5. *Энгельс Ф.* Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 333—334.
6. *Энгельс Ф.* Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 86—87, 93, 135.
7. *Энгельс Ф.* Письмо Ф. Лассалю // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 29. С. 477.
8. *Спиркин А. Г.* Научная сессия, посвященная 85-летию со дня рождения и 15-летию со дня смерти Н. Я. Марра // ВФ. 1949. № 3.

Алпатов В. М.

В последнее время значительно возрос интерес к национальным толковым словарям, что объясняется рядом социальных причин, ростом национального самосознания народов, интересом к культурным ценностям, прежде всего к языку, значительным прогрессом в области лексикографии в нашей стране и за рубежом. В этой связи выход книги Р. А. Будагова является весьма своевременным. В рецензируемой работе автор поднимает важные проблемы лексикографической теории и практики. Через всю книгу красной нитью проходит мысль о тесной связи языка и культуры народов, о роли словарей как источника самых различных знаний, важнейших показателей уровня развития культуры данного народа. Р. А. Будагов рассматривает вопросы соотношения объема словарей и объема знаний, природы языка и словарей, словарей, мотивировки слов и культуры. Особое внимание в книге обращается на так называемое «промежуточное звено» (с. 73—75), т. е. на роль социально-исторических факторов в формировании и изменении значений слов, на прямую связь между семиотическими процессами и развитием истории общества, его культуры.

Рост интереса членов современного языкового сообщества к различного рода знаниям неизбежно требует от словарей большей энциклопедичности, а также включения в общие словари технических и специальных терминов. Р. А. Будагов, разграничивая разные типы словарей и, в частности, подчеркивая их отличие от энциклопедий, говорит, что если задачей энциклопедий является толкование специальных слов (терминов, собственных имен и фамилий, географических названий, исторических и других реалий), то толковые словари призваны разъяснить значение слов литературного языка и разговорной речи, в которые, в своих определенных значениях, могут входить и термины. При этом разъясняется употребление отдельных слов, сфер их распространения, сочетаемости с другими словами. Наряду с этим в книге совершенно справедливо подчеркивается постоянное сближение этих двух типов справочных изданий. Р. А. Будагов отмечает целесообразность объединения алфавитного и гнездового принципов расположения слов в словаре, обращает внимание на трудности при работе над словарем, дает советы по их преодолению, а также рассматривает основные лексикографические проблемы, неизбежно возникающие у составителей словарей. Среди них затра-

гиваются конкретные вопросы отбора лексики для словаря, построения словарного гнезда, иллюстрации отдельных значений слов, лексикографические пометы. В книге рассматриваются проблемы определения значения слова, полисемии, соотношения значения и употребления, а также проблемы нормы.

Взгляды Р. А. Будагова на значение слова в основном совпадают со взглядами Е. Куриловича (см. [1]) и ряда других ученых. Выделяя основное значение слова как значение, наименее зависимое от контекста, и последующие его значения (по терминологии Е. Куриловича, главное значение и частные значения), Р. А. Будагов подчеркивает необходимость разграничения таких понятий, как значение и употребление слова, которые должны найти свое место в словарях, разумеется, соотносясь с их объемом. Думается, что в толковом словаре даже большого объема контекстуально, авторское словоупотребление вряд ли должно иметь место. Гораздо важнее показать максимум частных значений, которые под влиянием контекста получили уже этот новый статус и право регистрации в словарях. Именно к такого рода значениям относятся приводимые в рецензируемой книге новые значения слова *нигилист* или новое слово *импрессионист* (с. 111).

Ключевой проблемой при составлении словарей Р. А. Будагов совершенно справедливо считает полисемию. Между тем эта проблема иногда по-разному ставится и решается в теории и в лексикографической практике, даже если, как это часто бывает, составителем словаря является ученый, блестяще владеющий теорией языка. Объясняется это, видимо, тем, что словарь рассчитан на широкие круги пользователей, часто весьма далеких от лингвистической науки, но требовательных к такого рода изданию. Оптимальным подходом было бы, видимо, строить словарную статью таким образом, чтобы в толковании (определении значения) слова нашли свое отражение семантические, грамматические, стилистические, оценочные и другие аспекты слова. Они могут быть выражены как с помощью метаязыка (соответствующих условных знаков, помет), так и с помощью их описания естественным языком. Последнее является более целесообразным, т. к. облегчает пользование словарем любому читателю. В этом случае полисемия могла бы быть показана весьма наглядно путем указания на связь изменения значения слова от изменения его отдельных аспектов. Так, например, в словаре под

ред. Д. Н. Ушакова в словарной статье «Постоянство» дается два значения этого слова: «Постоянство», а, мн. нет, ср. 1 неизменность, пребывание в одном и том же виде или состоянии каких-н. свойств (научн.). Закон постоянства вещества. Закон постоянства состава. 2. Верность, неизменная преданность чему-н., твердость. *П. в любви. П. во взглядах. Характер у него отличается постоянством*. Очевидно, что в толковании преобладают синонимы, с помощью которых объясняются два значения слова. Такой подход не только не экономен, но он не позволяет увидеть связь между двумя значениями одного и того же слова, а между тем такие сведения весьма полезны любому пользователю. Возможно, например, такое представление этого слова: «Постоянство, а, мн. нет, ср. неизменность состояния. 1. Закон постоянства качества (о веществе употр. с прямым доп., научн.). Закон постоянства вещества. 2. (о человеке, употр. с твор.) постоянство в любви». В данном случае мы, как нам кажется, не впадаем в ошибку «усреднения значения», против которой нас предупреждает Р. А. Будагов, но просто предлагаем менее громоздкий вариант толкования слова, который позволяет увидеть прямую связь и различия между двумя его значениями. Заметим, что при таком подходе лексикограф вправе выбирать в качестве первого значения слова то, которое является наиболее употребительным в лингвистическом социуме в момент составления словаря, или наиболее общее его значение. Мы полностью согласны с Р. А. Будаговым в том, что универсальных схем при классификации значений не существует.

С полусемией тесно связано понятие «чувства языка». Р. А. Будагов подчеркивает, что без этого чувства не может состояться лексикограф. Соглашаясь с автором книги, нельзя тем не менее не заметить, что современный подход к семантике и изучение семантической и грамматической валентности слова позволяют лексикографу найти формальные средства для того, чтобы показать, как конкретное слово функционирует в контексте, каковы его сочетаемостные способности. Разумеется, чувство языка, т. е. интуитивно правильный выбор слова в каждом контексте и его коллокация, обязательно для лексикографа, но его нельзя требовать от пользователя словарем.

Если толковый словарь рассчитан только на носителя языка, то его составитель может предполагать присутствие языковой интуиции у пользователя и не утруждать себя излишними объяснениями или примерами. Однако в современных условиях,

когда толковыми словарями пользуются не только носители языка, но часто и люди, изучающие тот или иной язык как иностранный, исчерпывающее проявление валентностей слова и его ограничения на сочетаемость должны быть представлены в словарной статье. В словаре С. И. Ожегова, например, слово *мокрый* объясняется через слово *сырой*. Такое объяснение для носителя русского языка, безусловно, приемлемо, но человека, изучающего русский язык, оно удовлетворить не может: очень легко, увидев такое объяснение в словаре, построить неправильные сочетания *мокрый климат* и *сырые ноги*. В данном случае трудность объяснения состоит в том, что грамматическая валентность у прилагательных всегда одинаковая, следовательно, необходимо прояснить семантическую валентность. Так, в слове *мокрый* следовало бы, по нашему мнению, подчеркнуть благоприобретенность данного признака, его временный характер, в отличие от слова *сырой*, обозначающего в одном из своих значений качество постоянное, или определенную степень качества *мокрый* по отношению к *сухой*: *еще мокрое (не сухое) белье; совсем мокрое белье* и т. п. В данном случае мы не пытаемся предлагать варианты толкования для русского языка, а лишь хотим подчеркнуть, что обладая языковой интуицией, лексикограф должен учитывать, что не всем пользователями словаря она присуща.

Подчеркивая общеобразовательную роль словарей, Р. А. Будагов особое внимание обращает на связь современного языка с его историей и на необходимость не смешивать синхронию и диахронию. При этом автор книги совершенно прав в том, что «диахрония присутствует в самой синхронии (прямо или косвенно), но не лишает ее права на известную самостоятельность» (с. 101). Хотелось бы подчеркнуть, что эта связь в современных изданиях проявляется главным образом в том, что иногда устаревшие значения слов и целые гнезда переносятся из словаря в словарь без должной проверки динамики развития значения. Между тем нередки случаи «возвращения» тех или иных устаревших слов в современном языке или их переосмысление.

Глава книги «О некоторых знаменитых словарях» (с. 91—104), к сожалению, не содержит многого из того лучшего, что сделано за последнее десятилетие, например, в Европе. Жаль, что мимо внимания автора книги прошла статья В. Г. Гака [2], в которой дается подробнейший анализ словаря «Большой Роберт» [3] и современных принципов составления толковых словарей.

Немалый интерес представляет и статья А. Рея [4]. В ней автор говорит о толко-

вом словаре как о культурном тезаурусе определенной цивилизации. К сожалению, эта статья также прошла незамеченной автором рецензируемой книги.

Тем не менее многие идеи, реализованные во французских толковых словарях, совпадают с теми идеями, которые предлагает Р. А. Будагов. Мы полностью согласны с автором в том, что одним из важнейших принципов составления толковых словарей является понятие целостности языка, постоянная связь синхронии с диахронией, ее отражение в словарных статьях.

Книга Р. А. Будагова содержит весьма полезное Приложение А. А. Брагиной «Краткая справка о словарях русского языка». Ее материал отлично дополняет книгу, знакомя читателя с лучшими достижениями отечественной лексикографии.

Заканчивая рецензию на книгу Р. А. Будагова, хочется пожелать читателю-лингвисту, а также любителю и почитателю словарей и особенно лексикографу при-

ятного и полезного чтения, которое обязательно вызовет желание подумать над одной из самых животрепещущих тем нашего времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Курилович Е.* Заметки о значении слова // Очерки по лингвистике. М., 1962.
2. *Гак В. Г.* Лингвистические словари и экстралингвистическая информация (в связи с выходом в свет второго издания словаря «Большой Робер») // ВЯ. 1987. № 2.
3. *Le grand Robert de la langue française. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 2-ème ed. / Entièrement revue et enrichie par Rey A. T. 1—9. P., 1985.*
4. *Rey A.* Le dictionnaire culturel // *Lexicographie. Revue internationale de lexicographie.* 1987. № 3.

Черданцева Т. З.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ВСЕСОЮЗНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТИЛИСТИКА И ПОЭТИКА»

9—11 ноября 1989 г. в г. Звенигороде (Московской обл.) проходила Всесоюзная научная конференция «Стилистика и поэтика», в которой приняли участие более 80 ведущих лингвистов СССР, специализирующихся в области лингвистической поэтики и стилистики. Конференция была организована Отделом стилистики и языка художественной литературы Института русского языка АН СССР. На обсуждение был вынесен широкий круг проблем: стилистика в ее соотношении с поэтикой, жетикой, риторикой; стилистические ресурсы и стили языка; диалектика соотношения «поэтический язык — идиолект/идиостиль»; сопоставительный анализ и типология индивидуальных художественных систем; проблема «язык как творчество»; «грамматика поэзии» и вопросы ежуровневого взаимодействия; тропическая организация текста; композиционная семантика¹.

Программа конференции была задумана по следующей модели: каждое заседание открывалось лекцией, которая актуализировала основную тематику следующего за ним круглого стола.

При открытии было зачитано обращение В. П. Григорьева к участникам конференции, в котором он обратил внимание на то, что поэтический язык как потенциальный максимум воплощения национального языка является глобальным объектом изучения — поэтому так широка проблематика конференции. Было отмечено, что в совокупности проблематика круглых столов и предшествующих им лекций охватывает едва ли не всю филологию. В частности, в процессе работы конференции желательно найти ответы на следующие вопросы: как соотносятся таксономии общего и поэтического языков? образуют ли систему единицы и категории языка поэзии и прозы? каковы перспективы в задаче идиости-

листики, включая ее сопоставительные аспекты? в чем сущность таких понятий лингвистической поэтики, как «опозиция», «преобразование», «доминанты»? Список вопросов можно продолжить. В заключение В. П. Григорьев пожелал участникам конференции не бояться поисков истины на кремнистом пути науки и помнить утешительное высказывание А. Франса: «Наука непогрешима, но ученые постоянно ошибаются».

Первое заседание открылось лекцией Ю. М. Скребева (Горький) «Аксиомы, мифы и проблемы стилистики (текст см. ниже), которая явилась толчком к дискуссии первого круглого стола конференции «Стилистика: проблемы и перспективы».

Обсуждение лекции начал акад. Д. Н. Шмелев (Москва), который подчеркнул, что стиль — это не фикция, а определенный идеал, которому следует каждый владеющий литературным языком и который в речи никогда не реализуется полностью. В речевой практике возможны смещение и скрешивание устных и письменных типов речи, различные формы их соотношения. Выступающий отметил сильную перегруженность понятия «стиль», высказал отрицательное отношение к терминам «субязык», «идиостиль», «идиолект» и предложил пользоваться такими понятиями, как «разновидность речи», «тип речи», «индивидуальный стиль». Было подчеркнуто, что при существующей понятийно-терминологической «полифонии» необходимо создать словарь лингвистических синонимов и омонимов.

Дискуссию продолжила О. Г. Ровзина (Москва), предложившая принять такое рабочее определение стилистики как системы языка, функционирующей в различных видах речевой деятельности (определение восходит к взглядам Г. О. Винокура). Стилистическая система — это система стилистических знаков, и специфика ее заключается в том, что стилистическим знаком может быть единица любого уровня. Изучение стилистической системы в связи с особенностью стилистического знака ставит следующие

¹ Многие из этих проблем получили освещение в опубликованных тезисах: Стилистика и поэтика: Тез. всесоюзной научной конференции. Звенигород, 9—11 ноября 1989 г. Вып. 1. 2. М., 1989.

вопросы: как поддерживается в сознание носителей языка стилистическое значение в системе и как реализуется эта система в различных типах речевой деятельности. Типы речевой деятельности определяются структурой коммуникативного акта и оказываются исчислимыми: первоначально выделяются письменный и устный виды речевой деятельности, далее в письменном — функциональные стили, словесное творчество, в устном — разговорная речь и устная реализация функциональных стилей.

К. А. Д о л и н и н (Ленинград) отметил, что можно говорить о стиле как о понятии, несущем информацию о роли субъекта в коммуникативном акте. Эта роль обуславливает отбор языковых средств и определяет в итоге стиль выражения. При этом выделяются различные роли субъекта: императивные и такие, где личность говорящего «на авансцене», что дает возможность обобщить весь языковой материал по двум направлениям: типы, разновидности речи (или функциональные стили) и индивидуальные стили. Выступающий подчеркнул, что полностью лингвистичной может быть только стилистика ресурсов.

Проблемам описания стилистических ресурсов языка было посвящено выступление В. Н. В и н о г р а д о в о й (Москва), в котором специально отмечалось, что изучение соотношения стилистических средств разных уровней языка, совпадения и различия в характере выражения ими стилистических значений и роли различных прагматических факторов, влияющих на выбор стилистических средств разных уровней языка, — основная задача стилистики на данном этапе ее развития.

В обсуждении спорных вопросов современной стилистической науки также приняли участие Е. А. З е м с к а я (Москва), А. Н. М о р о х о в с к и й (Киев), Б. С. Ш в а р ц к о п ф (Москва), В. Н. Т е л и я (Москва), С. Ю. П р е о б р а ж е н с к и й (Москва).

Лекция чл.-корр. АН СССР Ю. С. С т е п а н о в а (Москва) «Образ Христа: Достоевский и Рембрандт» открыла вечернее заседание первого дня работы конференции. Ю. С. Степанов предложил понимать «поэтику» как науку семиотическую, изучающую общие законы строения и функционирования произведений искусства. Такой подход позволяет изучать произведение словесного искусства в широком контексте эстетико-философских и религиозных концепций. Лекция была посвящена теме художественного воплощения образа Христа в живописных произведениях Рембрандта и романах Достоевского.

Была отмечена глубокая аналогия в стиле воспроизведения этого образа у двух великих представителей искусства как во внешнем изображении, так и в сущностном значении. В лекции сравнивалась картина Рембрандта «Голова Христа» и описание облика князя Мышкина в романе Достоевского «Идиот», который в подготовительных записях к роману именовался писателем как «князь Христос».

Далее на заседании была заслушана лекция М. Л. Г а с п а р о в а (Москва) «Рассказ А. П. Чехова „Хористка“ с точки зрения риторической теории статусов» (см. текст ниже).

Обсуждение теоретических проблем поэтики продолжилось за круглым столом «Поэтический язык. Идиолект. Идиостиль». Программа круглого стола включала в себя следующий круг вопросов: поэтический язык — идиолект/идиостиль; диалектика соотношения; понятие доминанты в поэтике; проблемы эволюции поэтического языка; традиционные и альтернативные поэтики; «языковая личность», «литературная личность», «лирический герой», «образ автора»; автоматизация исследований идиолекта.

В центре внимания оказалась проблема соотношения поэтического языка и индивидуальных художественных систем, соотношения «коллективного» и «индивидуально-творческого» языкового сознания. Дискуссия по этой проблеме открылась совместным выступлением С. Ю. П р е о б р а ж е н с к о г о и О. И. С е в е р с к о й (Москва). Выступавшие ознакомили собравшихся с историей вопроса, со взглядами Ю. Н. Тынянова и акад. В. В. Виноградова на литературно-языковую эволюцию и на место в ней индивидуальных художественных стилей, с современными концепциями, развивающими тезисы известных ученых. Так, с точки зрения новейших исследований, идиолект представляет собой одно из возможных состояний системы поэтического языка, складывающееся в результате усвоения ее структуры и актуализированное в творчестве определенного поэта. По мнению докладчиков, представление о диалектике соотношения поэтического языка и идиолекта/идиостиля не может быть сформировано без установки на «системно-диахроническое» описание, предполагающее определение основ «идиограмматики» с учетом параметра эволюции (в направлениях от «поэтического языка к идиолекту» и «от идиолекта к идиостилю»).

Вопрос о необходимости понятия «поэтический идиолект» наряду с понятием «поэтический идиостиль» подняла О. Г. Р е в з и в а. Она выступила в защиту этого понятия как объединяющего такие сущности «индивидуально-твор

ческого» языкового сознания, как индивидуально-авторский поэтический язык, индивидуально-авторский стиль и поэтический мир. В обсуждении этого вопроса приняли участие Е. А. Некрасова (Москва) и А. Н. Мороховский.

Обсуждение проблемы эволюции поэтического языка выдвинуло на передний план сопоставление традиционных и альтернативных поэтических систем. С сообщением на эту тему выступила Т. А. Михайлова (Москва), которая пыталась ответить на вопрос, что же такое альтернативная поэзия, каковы ее дифференциальные признаки. Было отмечено, что альтернативную поэзию отличает в первую очередь специфика ее установок: возникая, создаваясь, памятник альтернативной поэзии должен занять определенное место в поэтической парадигме культуры в целом, сосуществуя с другими ее членами, а не пытаясь их подменить и вытеснить, подобно поэзии неофициальной, вторичной, которая, опираясь на иные эстетические и этические ценности, распространяется на тех же уровнях, что и поэзия официальная. В условиях культурно-эстетической директивности функций альтернативных могут исполнять памятники, нарочито традиционные по своей форме (поэзия авангарда). В этом случае смена общественной и культурной парадигмы влечет за собой и сдвиги в парадигме поэтической. Далее со своими замечаниями о литературном «концептуализме» выступил искусствовед И. Бакаштейн (Москва).

Заключительным в первый день конференции стало выступление М. В. Горяна (Ереван), который ознакомил собравшихся с теми возможностями, которые предлагает исследователю поэтических текстов ЭВМ. Наличие системы автоматических конкордансов позволяет вести работу не только на уровне отдельных образов, а создавать, например, словари поэтических образов или перифраз у разных поэтов, сравнивая идиостили в синхронии и диахронии.

10 ноября утреннее заседание открыл акад. Д. Н. Шмелев, который прочитал лекцию на тему «Языковая вольность и грамматическая неправильность». В своей лекции Д. Н. Шмелев рассмотрел вопросы, связанные с разграничением того, что можно считать грамматическими, языковыми ошибками, и того, что можно назвать «поэтической вольностью». По его мнению, критерием разграничения может служить восприятие, оценка читателем того или иного литературного произведения. Был привлечен большой круг авторов, начиная с Пушкина и кончая самыми современными поэтами. В обсуждении лекции приняли участие Т. В. Булыгина (Москва),

чл.-корр. Ю. С. Степанов, Е. А. Земская, А. Б. Пеньковский (Владимир) и др.

Работу конференции далее продолжил круглый стол, посвященный «грамматике поэзии». Основные проблемы, вынесенные на обсуждение этого круглого стола, следующие: грамматика и структура стиха; функционирование грамматических категорий в поэтическом тексте; синтаксис поэтического текста; разговорная и поэтическая речь.

Дискуссию по данным вопросам открыл К. А. Долинин, который выступил с сообщением на тему «Экстратекстуальные и инtratекстуальные синтаксические связи сегментов текста как источник смысловых приращений». Была предложена классификация синтаксических связей сегментов текста в экстратекстуальном, инtratекстуальном и семантическом пространствах и тем самым выявлена роль каждого вида связи в создании смысловых приращений. Синтаксическая организация эпизодов как компонентов текста была рассмотрена в докладе К. А. Роговой (Ленинград). Е. А. Кукущкина (Москва) в своем выступлении «Синтаксический повтор в описании идиостиля» показала, что в цикле стихов Б. Пастернака «Ветер», посвященном А. Блоку, сосуществуют приемы синтаксической организации, характерные для обоих великих поэтов — А. Блока и Б. Пастернака.

Сообщение Г. И. Раповой (Москва) было посвящено истории изучения грамматики выразительных средств в XIX в. Грамматические трансформации в поэзии М. Цветаевой анализировались в выступлении Л. В. Зубовой (Ленинград). Особое внимание в нем было уделено межчастеречным и межразрядным трансформациям, отражающим особенности поэтического языка и картину мира поэта. В сообщении Я. И. Гина (Петрозаводск) обсуждались вопросы, связанные с функционированием категории лица в поэтическом тексте. Было подчеркнуто, что в языке лирики регулярным явлением оказывается переключение лица: в тексте об одном и том же предмете говорится то во втором, то в третьем лице, что связано с разрушением традиционной системы лирических жанров и усложнением коммуникативной структуры текста в XX в.

Проблемы взаимодействия ритмической организации и грамматической структуры стихотворного текста были темой совместного сообщения М. Л. Гаспарова и Т. В. Скулачевой (Москва) «Грамматический словарь стоп четырехстопного ямба в романе в стихах А. С. Пушкина „Евгений Онегин“». О возможностях машинного моделирования

рассказал в своем сообщении Е. М. Брейдо (Москва). Анализировалось моделирование на ЭВМ отдельных элементов индивидуально-художественной структуры; в качестве примера приводился словарь сборника О. Мандельштама «Tristia».

На вечернем заседании 10 ноября были прочитаны две лекции: Ю. И. Левина (Москва) «От синтаксиса к смыслу и дальше» [о «Котловане» А. Платонова (текст см. ниже)], Н. Д. Арутюновой (Москва) «Образ — метафора — символ». В своей лекции Н. Д. Арутюнова стремилась установить соответствие между концептами «образ», «метафора», «символ», определяя сущностную характеристику каждого. Было отмечено, что изучение материала естественного языка дает возможность увидеть не только структуру этих общесемиотических концептов, но также этапы их формирования и их иерархическую организацию.

Обсуждение проблем организации художественного текста на разных уровнях продолжалось за круглым столом «Смысловая и тропическая организация художественного текста». В дискуссии были затронуты следующие вопросы: принципы смысловой организации поэтического текста; взаимодействие и сочетаемость тропов; речевая и семантическая композиция текста; парадигмы образов.

Дискуссия вокруг проблем круглого стола открылась докладом Е. А. Некрасовой, в котором был предложен принцип разграничения метафорического и олицетворяющего контекстов в художественном тексте. Особо отмечено, что в отличие от метафоры атрибуты олицетворения лишены опоры в денотативном пространстве целого. Введение «модуса фиктивности» позволяет включить в номенклатуру семантически одноплановых тропических средств наряду с олицетворением, метаморфозой, предметной метонимией и мифологему — художественный прием, в котором целое представлено как часть. Было подчеркнуто, что необходимо стремиться к целостному анализу образных блоков произведения.

Далее с докладом выступил А. Н. Мороховский, который затронул вопросы целостности и дискретности художественного текста в диахронии. Он подчеркнул, что художественный текст является одновременно и дискретным, и целостным образованием. Способы организации целостности и дискретности текста исторически изменчивы, однако изменяются они в относительно узких пределах. Можно наметить основные способы образования целостности дискретности в их взаимодействии.

В обсуждении проблем, связанных с композицией и смысловой организацией текста, приняли участие Л. Ю. Максимова (Москва), К. А. Рогова, Т. В. Булыгина, В. Н. Телия.

Заключительным стало сообщение А. Б. Пеньковского, который заинтересовал участников конференции вопросом об именовании, построенных по модели «имя + отчество», в русской художественной речи. Два типа специфически русской двукомпонентной модели личного и персонифицирующего наименования по имени-отчеству — гетерогенный (ГИ) (Петр Андреевич) и таутономический (ТИ) (Петр Петрович) — по-разному транспонируются в художественной речи. Членение антропонимического пространства художественных текстов по гетерогенным и таутономическим именованьям происходит по следующим содержательным линиям: ГИ — ТИ = а) «свой мир» — «чужой мир»; б) «реальное» — «фантастическое»; в) «мир подчиненных» — «начальственные сферы» и др.

Заключительное слово было представлено В. Н. Телии. Она выразила благодарность устроителям конференции, которые создали прекрасные условия для широкого диалога ученых разных направлений и школ. Успеху конференции содействовало то, что все собравшиеся на ней ученые-лингвисты обладают глубокими знаниями в области лингвистической поэтики и стилистики и охотно делятся ими друг с другом.

Фатеева Н. А., Вознесенская М. М.,
Миронова Т. А. (Москва)

ИЗ ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВСЕСОЮЗНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СТИЛИСТИКА И ПОЭТИКА»

© 1991 г.

СКРЕБНЕВ Ю. М.

АКСИОМЫ, ПСЕВДОПРОБЛЕМЫ И ПРОБЛЕМАТИКА СТИЛИСТИКИ*

Количество стилистических аксиом невелико. Можно, во-первых, считать не требующим доказательств тот факт, что характер речевого акта и тип текста зависят от социальных условий речедействия и текстоформирования, а также от индивидуальности продуцента.

Во-вторых, очевидно, что на любом ярусе языковой системы (фонемном, морфемном, лексемном, синтаксемном, текстовом), равно как и в сфере семантики, охватывающей все уровни, кроме первого, существуют неспецифические, «специфические» единицы, вызывающие ассоциацию с той речевой сферой, для которой они характерны и вне которой обычно неуместны.

В-третьих, можно перечислить относительно небольшое количество недвусмысленных терминов типа «пароним», «метонимия», «оксюморон», «инверсия». Едва ли этот список может быть значительно увеличен, так как уже по новоду терминов «метафора», «литота», «ирония», «эпитет» и т. д. неминуемо возникнет полемика.

Сравнительно небольшим является также количество «псевдопроблем» — задач, решение которых невозможно по самой их сути. Целесообразно различать две их разновидности.

1. Проблемы, постановка которых не учитывает такие свойства объекта, как его неопределенность и неочерченность (вызываемые гетерохронностью и гетерогенностью его составляющих). Таково, в частности, стремление расставить по местам, соотнести и разграничить частично пересекающиеся, но заведомо разнонаправленные и разнообъемные понятия: «лингвостилистика», «лингвопоэтика», «стилистика текста», «стилистика языка», «стилистика речи», «стилистика ресурсов», «функциональная стилистика», «экспрессивная стилистика» и т. д.

2. Проблемы, неразрешимость которых порождена некорректностью, неравномерностью самой их постановки. Из числа подобных наиболее известны попытки провести границу между явлениями стилистическими и грамматическими, стилистическими и фонетическими и т. п. Представляется самоочевидным, что описывающий структуру русских причастных и деепричастных оборотов выступает как грамматист, а упоминая об их неупотребительности в разговорной речи, он оперирует чисто стилистической информацией.

Разбору некоторых других спорных утверждений необходимо предпослать изложение позитивной программы автора.

К собственно проблематике до сих пор относится вопрос о стиле как основополагающем понятии стилистики. Более или менее непротиворечивое решение этого вопроса способствовало бы уточнению задач лингвостилистических описаний. Предпочтительны дефиниции, содержащие только необходимый и достаточный минимум сведений о предмете. Дефиниция не должна противоречить сложившейся исследовательской практике.

Автор руководствуется понятийно-терминологической системой, восходящей к концепции Ф. де Соссюра и к некоторым более поздним построениям. Эта система излагается далее в семи пунктах.

1. Речевая деятельность социума есть глобальная совокупность актов использования национального языка.

2. Язык — система ассоциаций звуковых (и графических) комплексов любой протяженности с обобщенными представлениями об участках действительности; система существует только в индивидуальном сознании, но поскольку она почти одинакова у каждого члена коллектива, она служит — через речь — средством общения и поэтому является феноменом социальным (тезис «язык существует в обществе» не даст ответа на вопрос, где именно он локализован и как реализуется).

3. Речевая сфера — условно принятое здесь терминологическое сочетание, означающее область использования языка, произвольно вычленяемую исследователем.

* Частично переработанная лекция, прочитанная на конференции в Звенигороде.

по тем или иным экстралингвистическим характеристикам; единственный ограничительный признак речевой сферы — ее более узкий объем сравнительно с глобальной речевой деятельностью общества.

4. Речь — только акт, процесс артикулирования языковых знаков (слов) и их последовательностей любой протяженности; речь существует (осуществляется) только во время ее звучания; выражение «письменная речь» означает нечто радикально отличающееся от подлинной речи (процесс выбора оптимального варианта, нередко длительный; транспонирование акустических сигналов в воспринимаемые зрением; часто — метонимически — графический итог этих процессов).

5. Текст. Речь порождает продукт, который А. Гардинер назвал «текстом» [1]. Текст — это чаще всего ряд (т. е. «последовательность») взаимосвязанных языковых знаков, оставшаяся в сознании реципиента (или записанная им) в итоге воспринятого речевого акта (актов). Осмысленность вряд ли следует считать необходимым признаком текста: ср. общеизвестные эксперименты с «глокой куздрой» или с «бешено спящими бесцветными зелеными идеями». Признак значительной протяженности ряда (обязательный для построения лингвистики текста) в налагаемой системе факультативен: однословное высказывание также составляет текст.

Ни терминологическое сочетание «речевая сфера», ни термин «текст» не рассматриваются автором как единственно приемлемые. Они избраны только как не противоречащие существованию понятий, отграничивать которые от «речи» лингвист обязан.

Декодирование текстов дает возможность описать языковую систему или частную систему («подсистему», «подязык», «субязык»), лежащую в основе текста (группы однородных текстов).

6. «Субязык» — часть языка (набор его единиц любого порядка, любой синтаксической протяженности), обслуживающая выделенную исследователем речевую сферу. На нашей конференции Д. Н. Шмелев употреблял в этом же смысле выражение «разновидность языка». Действительно, термин «субязык» звучит непривычно, однако существуют прецеденты его употребления [2, 3]; от него образуются дериваты типа «субязыковой».

Субязык, естественно, имеет меньшие количественные параметры, чем язык в целом, однако объем понятия принципиально лишен определенности. Так, литературный язык есть субязык национального языка, включающего в себя также диалекты и социолекты. Наборы языковых единиц, встречающиеся у одного писателя, в технических инструкциях, в одном стихотворении, в телеграммах или других текстовых группах, — это также субязыки, лингвистически равноправные (как объекты описания), хотя и несоизмеримые по социальной ценности.

7. Стиль есть совокупность абсолютно специфических единиц субязыка, т. е. сумма черт, отличающая его от всех других выделенных данным исследователем. Кратчайшее определение: стиль есть специфика субязыка.

Неадекватность предложенных в свое время автором этих строк характеристик стиля как «конструкта», как «идеального представления» уже отмечалась [4]. По-видимому, следовало подчеркнуть тот казавшийся самоочевидным факт, что представлению о действительности предшествуют ее объективно существующие свойства. Характеристики акцентировали апперцепционную природу восприятия: анализируя конкретный текст, уже оперируют данными стилистического опыта. Термин «стиль» означает специфичность реального текста и общее представление о специфике текстового типа.

Некоторые критики сослались на то обстоятельство, что абсолютно специфические единицы встречаются крайне редко; между тем носитель языка будто бы «интуитивно» определяет стилиевую принадлежность текста [5]. Это замечание сходно с утверждением, что стилистический знак не имеет своего означающего (иначе говоря, стилистическое содержание существует вне формы).

Конфликт между теорией и ее критиками или предшественниками порожден различиями в понимании терминов «единица», «знак», «черта». Для автора «единица» — это не только аллофон, алломорф, слово, словосочетание и т. д., но только троп или фигура, но и любые виды внутритекстовых отношений, соотносенностей, рекурренций, т. е. разноплановые характеристики того, что иногда именуют «глубинной системой». Отнюдь не мистическая «интуиция», а комплекс реальных свойств, подчас не регистрируемых сознанием адресанта и адресата, создает и стиль произведения, и свойства жанра (текстового типа, литературной школы).

Продолжим обзор. В плане изложенного неприемлемо отождествление стиля и субязыка («подязыка», «подсистемы», «разновидности языка»). Между тем в одном из определений предмета стилистики, цитируемых И. Р. Гальпериним, читаем: «... расчленение литературного языка на отдельные подсистемы, называемые стилями» [6]. Специфические свойства здесь равны их носителю.

Поскольку выбор объекта обусловлен замыслом исследователя, число стилей

не может являться конечной величиной. Между тем лингвисты убеждены в количественной определенности номенклатуры стилей, хотя число последних варьирует от двух («правильный язык» и «просторечие» — с последующим учетом стилистических тональностей и функциональных разовидностей [7]) до четырех [8], шести [9] и более.

Каждое классификационное построение выделяет новые (или возрождает прежние) подлинно специфические объекты в силу особенностей исходной позиции. Характерно, впрочем, что поборники четырех- или пятистилевой системы употребляют также выражения «стиль Пушкина» или «стиль авторских отступлений в таком-то романе». При этом слово «стиль» не лишается терминологической однозначности: независимо от социальной ценности выделенного стиля его статус («специфика субъязыка») остается неизменным.

Каждый исследователь оперирует избранной им номенклатурой стилей. Совокупность соответствующих субъязыков удобно представить на плоскостной схеме в виде эллипсов, вписанных в круг, очерчивающий границы национального языка (см. [10]). Область, занимающая середину круга, — зона нейтральных единиц типа *вода, окно, ходить*. Области, выделенные пересечением двух и более смежных эллипсов, содержат «относительно специфические единицы» (*операция, процедура, функция*), становящиеся абсолютно специфическими, если смежные эллипсы вписать в эллипс с меньшим эксцентриситетом, изображающий «субъязык интеллектуальных профессий». Несовмещенные экстремальные участки эллипсов — зоны «абсолютно специфических», стилиобразующих единиц (*брадикардия, осиянный, маршрутка*). Субъязыки ограниченного применения (наборы профессиональных клише продавца, кондуктора, кассира и т. п.) имеют вид помещенной внутри круга фигуры, образуемой неправильной замкнутой кривой.

Субъязыки разграничены не четкими линиями, а размытыми полосами — так сказать, «зонам толерантности». Стилистический статус многих языковых единиц либо объективно не вполне ясен, либо их оценка колеблется в зависимости от личного опыта. Так, встречая в современном романе о Великой Отечественной войне слова *настрой, задумка, глубинка, вообще-то*, участник войны видит анахронизмы — почти такую же фальшь, какую заметил бы даже юный читатель в словосочетании *индивидуальная трудовая деятельность*, вложенном графоманом в уста Разина или Пугачева.

Широко распространено понимание стиля как «отклонения от нормы» [11—13]. Сторонники идеи «ненормативности» стиля (вероятно, стремящиеся подчеркнуть неповторимость писательской индивидуальности) превращают в нарушителей нормы практически все человечество. Они бесосновательно отождествляют «нормативное» и «нейтральное» — понятия далеко не равнозначные. Стилеобразующая специфика действительно является «отклонением» от нейтрального (общепотребительного, максимально частотного), но отнюдь не от нормативного, т. е. либо достоверно санкционированного узусом, либо отсутствующего в опыте, но приемлемого по аналогии. Выражение «отклонение от нейтрального» употребляется, в частности, Ю. С. Степановым применительно к варьированию коммуникативной структуры сообщения [14]. Специфические черты канцелярских документов, поэзии, телеграмм и т. п. столь же нормативны, как и нейтральные языковые манифестации типа *Я живу в этом доме*.

Слово «норма» (как языковедческий термин) призвано означать «представление об оптимальных (или допустимых) параметрах языковой (или субъязыковой) системы». Нет оснований называть «нормой» (именно это обычно делается!) саму языковую (или субъязыковую) систему, какой бы идеальной она ни являлась. Поскольку норма есть представление, а не реализация, она (норма) может лишь описываться, но не поддается демонстрации, недоступна наблюдению (как, кстати, и языковая или субъязыковая система). Наблюдаемы только нормативные или ненормативные языковые манифестации. Множественность субъязыковых норм очевидна; их число соответствует количеству выделенных субъязыков. Просторечие нормативно для его носителя, хотя грубо нарушает литературную норму.

Более или менее «единый» язык этнического сообщества существует только в идиолектах. Идиолект — один из миллионов субъязыков национального языка. То, что отличает идиолект индивида от других, выступает для носителей последних как его идиостиль. Язык коллектива членится на субъязыки не во внепространственной абстракции, а в индивидуальных сознаниях. Идиолект — микромодель национального языка. Количество субъязыков идиолекта является меньшим, нежели тотальная совокупность субъязыков, суммарно образующих современный русский (английский, немецкий и т. д.) язык. Далее. Идиостиль — не только специфика идиолекта в целом, но и личностная специфика общеколлективного или корпоративного субъязыка. При этом термин сохраняет однозначность, поскольку — напомним — «сферы» — «типы» — «субъязыки» — «стили» вычленяются произвольно, в соответствии с исследовательскими задачами.

Убежденность языковедов в том, что стили немногочисленны и объективно заданы, поддерживается традицией, восходящей к авторитетам прошлого: ср., например, теорию «трех стилей», по сути дела адекватно отражающую языковую действительность, однако лишь в первом приближении.

Следует подчеркнуть, что изложенное не подвергает сомнению целесообразность выделения социально-существенных сфер, типов текстов, субязыков и стилей, имеющего существенное значение для учебного процесса, решения вопросов культуры речи и т. д. Понимание задач лингвистической стилистики как «лингвистики субязыков», т. е. описания, уточняющего сферы использования языковых единиц, не противоречит существующим концепциям, а скорее оправдывает их разноречивость и подтверждает право на существование каждой из них.

Вместе с тем очевидно, что некоторые едва ли не общепринятые суждения (помимо уже рассмотренных) несомненно с очерченной здесь позицией.

Так, иногда утверждают, что стиль может рассматриваться как некий текст. Нечто подобное писали и о языке в целом, отождествляя его с совокупностью порожденных им текстов. Разумеется, язык реализуется в текстах, изучив которые, можно описать языковую систему, но заучивание наизусть обширного текстового массива на незнакомом языке не обеспечивает даже минимального овладения этим языком. Тем более неправомерно приравнивание совокупности отличительных черт (т. е. стиля) к их носителю. Перед нами привычный эксцесс имманентно метонимизированной аппроксимационной логики.

В связи с изложенным можно обратиться к еще некоторым «мифам», т. е. псевдопроблемам стилистики. Известны, например, попытки решить, как соотносятся (и относятся ли вообще) стилистика и лингвистика. Странно, что сомнения такого рода вообще возникают. В одной из статей девятого выпуска серии «Новое в зарубежной лингвистике» констатация связи между той и другой преподносится как нечто новое [11]. Трудно поверить, что лингвист второй половины XX в. не знает, является ли стилистика составной частью науки о языке. С таким же успехом можно было бы вопрошать, является ли грамматика (фонетика и т. п.) частью языкознания.

Ведется также полемика о том, должна ли считаться текстом последовательность высказываний, лишенная признака связности. Ясно, что на этот вопрос не может быть дан истинный или ложный ответ. Проблема решается конвенционально: дело исследователей — условиться, считать ли, например, текстом грамматическое упражнение, состоящее из ряда пронумерованных предложений, заимствованных из разных литературных источников, или отнести ли к разряду текстов то, что читатель находит в телефонном справочнике. Как известно, лингвистика текста отдает предпочтение связанному повествованию, хотя даже у списка абонентов городской телефонной сети имеются текстовые признаки когезии и когерентности.

Выше подчеркивалась практически всеобщая вера в то, что количество стилей в языке задано самой языковой действительностью, т. е. существует объективно, независимо от индивидуального сознания исследователя и от занимаемой им позиции. Какова аргументация в пользу вышеупомянутых трехстилевой или пятистилевой систем? Надо полагать, она сводится к тому, что между деловой, художественной и разговорной речью имеются значительные структурные и содержательные различия, существующие независимо от исследователя. В самом деле, различия между наиболее «чистыми» образцами упомянутых разновидностей объективны и чрезвычайно значительны. Но вопросы могут быть поставлены иначе. Являются ли границы между названными тремя стилями (точнее — речевыми сферами, текстовыми типами и субязыками) строго определенными? Нет, не являются. Существуют ли языковые манифестации, совмещающие в себе черты двух (и более) типов? Безусловно, существуют. Нельзя ли, далее, выделить в пределах каждого из трех типов их более узкие разновидности? Можно, причем столько, сколько понадобится исследователю. Число первоначально принятых экстралингвистических признаков речевой сферы всегда может быть увеличено на единицу — и субязык сузится. Встречающееся иногда утверждение, будто бы количество видов речевой деятельности исчислимо, никогда не подкреплялось ничем, кроме веры в авторитетные гарантии.

Говорят, наконец, что разновидность языка — это объективно данная нам сущность. В самом деле, любая выделенная языковедом разновидность языка (субязык) начинает существовать независимо от дальнейшей судьбы исследователя. Неверно, однако, полагать, будто бы она была задана языковеду как нечто реально дискретное, обособленное от остального. Границы объекта устанавливает сам лингвист, решающий, включать ли в сферу рассмотрения такой-то дополнительный текстовый материал, близкий к рассматриваемому, или ограничиться только первоначально избранным. Сказанное имеет в виду бесперспективность, например, полемики о том, где проходят границы между литературной речью и другими речевыми типами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гардинер А.* Различие между «речью» и «языком» // История языкознания XIX и XX веков. Ч. II. М., 1960. С. 15.
2. *Звегинцев В. А.* Теоретическая и прикладная лингвистика. М., 1968. С. 140, 181.
3. *Леонова Л. А., Шубин Э. П.* «Готовые» предложения в современном английском бытовом диалоге // ИЯШ 1970. № 5. С. 11.
4. *Шмелев Д. Н.* Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 1977. С. 48, 49.
5. *Кожина М. Н.* О речевой системности функционального стиля // Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Горького. Вып. 73. М., 1973. С. 194.
6. *Galperin I. R.* Stylistics. М., 1971. С. 9.
7. *Malblanc A.* Stylistique comparée du français et de l'allemand. P., 1961. P. 17.
8. *Арнольд И. В.* Стилистика современного английского языка. Л., 1981.
9. *Гальперин И. Р.* Очерки по стилистике английского языка. М., 1958.
10. *Скребица Ю. М.* Введение в коллоквиалистику. Саратов, 1985. С. 21.
11. *Риффатер М.* Критерии стилистического анализа // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1980.
12. *Сапорта С.* Применение лингвистики в изучении поэтического языка // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1980.
13. *Халидей М.* Лингвистическая функция и литературный стиль // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1980.
14. *Степанов Ю. С.* Французская стилистика. М., 1965.

© 1991 г.

ГАСПАРОВ М. Л.

РАССКАЗ А. П. ЧЕХОВА «ХОРИСТКА» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РИТОРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СТАТУСОВ

Известно, что наука риторика за последние полтора столетия была в пренебрежении, и само имя ее звучало одиозно. Известно и то, что в последние десятилетия делаются попытки реабилитировать риторикку, подведя под ее положения, современную семиотическую базу. Такова, например, недавно переведенная у нас «Общая риторика» [1] бельгийской школы — боюсь, что слишком громоздкая. Направление это перспективно: как античная система понятий о стиле в наше время не отменилась, а обновилась на новой основе, так стремятся обновиться и античная система понятий о стиле.

Однако сводить античную риторикку к системе понятий о стиле — значит очень ее ограничивать. В риторике было пять частей: инвенция, диспозиция, элокуция, мемория и акция. Стиль входил в элокуцию, учение об изложении материала. Область же инвенции, нахождения материала, давно забыта и кажется неактуальной. Думаю, что это неправильно.

К инвенции относились с недоверием потому, что она была сосредоточена прежде всего на специфике судебных прений, а судебные прения — область, казалось бы, мало сопрягающаяся с современной литературной практикой. Два основных раздела инвенции — система статусов, стратегических средств оратора, и система локусов (доказательств), тактических средств оратора. Кратко опишу эту специфически судебную теорию статусов, а затем попробую применить ее к более или менее неожиданному материалу.

Четыре основных статуса называются: статус установления, статус определения, статус оценки и статус отвода. Они следуют друг за другом, как четыре линии обороны при отражении предъявляемого обвинения.

Предположим, человеку предъявляется обвинение: «ты совершил убийство — ты подлежишь наказанию». Задача обвиняемого — доказать: «я не подлежу наказанию». Это он может сделать несколькими способами. (1) Прежде всего, он может с места отрицать: «я не совершал убийства». В таком случае предметом суда является вопрос: «был ли поступок?» (an sit?): это — статус установления. (2) Обвиняемый может отступить на шаг и сказать: «я совершил убийство, но оно было нечаянным». В таком случае предметом суда является вопрос: «в чем состоял поступок?» (quid sit?) — статус определения. (3) Обвиняемый может отступить еще на шаг и сказать: «я совершил убийство, и даже преднамеренное, но лишь потому, что убитый был нечестив». В таком случае предметом суда является вопрос: «каков был поступок?» (quid sit?) — статус оценки.

le sit?) — справедлив ли, полезен ли, хорош ли? — это статус оценки. (4) Наконец, в качестве последнего средства обвиняемый может сказать: «я совершил убийство, и даже преднамеренное, и даже неоправдываемое, но обвинитель не вправе обвинять меня: он сам был моим сообщником». В таком случае предметом суда является вопрос: «законно ли обвинение?» (an iure sit actio?): это — статус отвода. После статуса отвода обвинение может быть предъявлено вновь, и тогда начнется новый перебор возможностей.

Таким образом, всякое риторическое обсуждение представляет собой прежде всего акт познания — т. е. акт подведения единичного явления (поступка) под общие категории (нормы закона). В зависимости от выбранного статуса, внимание обсуждающих сосредоточивается или на реконструкции поступка (статус установления), или на реконструкции закона (статус определения), или на реконструкции столкновения поступка с законом (статус оценки). В первом случае вопрос стоит о применении общей нормы к конкретному случаю, во втором — о понимании этой нормы, в третьем — о сравнительной силе этой нормы. В области философии первая постановка вопроса уводит нас, говоря по-современному, в область онтологии, вторая — в область гносеологии, третья — в область аксиологии. Такая последовательность рассмотрения применима не только к судебным вопросам, но и к самым отвлеченным: например, «есть ли боги?» (статус установления); «какова их природа?» (статус определения); «заботятся ли они о людских делах?» (статус оценки); «способны ли люди что-то знать о богах?» (статус отвода). Когда лирический герой задается вопросом «люблю ли я ее...?» — перед нами статус установления; «люблю, но иной любовью...» — статус определения; обречен «любить ее на небе и изменить ей на земле» — статус оценки; а когда заявляет «вам все равно не понять моей души...» — статус отвода.

Статусы в античной теории очень подробно детализировались и дробились на более мелкие вопросы и подвопросы, но сейчас мы можем этого не касаться. Попробуем вместо этого разобрать с точки зрения теории статусов рассказ Чехова «Хористка». Рассказ был взят для рассмотрения наудачу; но он оказался очень благодарным материалом.

Напоминаю ситуацию. Муж сидит у любовницы-хористки; появляется его жена, «по всем видимостям, из порядочных»; муж скрывается в другую комнату, а у хористки с женой происходит такой разговор.

1) «Мой муж у вас? — спросила она, наконец¹. — — — Какой муж? — прошептала Паша и вдруг испугалась. — — — Мой муж... Николай Петрович Колпаков. — Не... нет, сударыня. Я... я никакого мужа не знаю. — — — Так его, вы говорите, нет здесь? — — — Я... я не знаю, про кого вы спрашиваете. — Гадкая вы, подлая, мерзкая... — пробормотала незнакомка» и т. д.

Перед нами первая линия обороны хористки: полное отрицание. Это статус установления: «имел ли место поступок». Хористка говорит «нет». Жена сбивает ее с этой позиции следующим образом:

«— — — Обнаружена растрата, и Николая Петровича ищут... — — — Сегодня же его найдут и арестуют. — — — Я знаю, кто довел его до такого ужаса! — — — но есть кому вступиться за меня и моих детей! Бог все видит! — — — Он възмщет с вас за каждую мою слезу, за все бессонные ночи! — — —»

Вопрос простой — «у любовницы ли муж?» — подменяется составным: «Совершил ли муж растрату, и у любовницы ли он прячется?» Так как у хористки нет данных, чтобы оспаривать первое положение, то по смежности она перестает оспаривать и второе положение. Эмоциональный толчок к этому сдвигу — патетическая апелляция госты к богу.

2) «— Я, сударыня, ничего не знаю! — проговорила она (Паша. — Г. М.) и вдруг заплакала. — Лжете вы! — крикнула барыня. — — — Я знаю, в последний месяц он просиживал у вас каждый день! — Да. Так что же? Что из этого? У меня бывает много гостей, но я никого не неволю. Вольному воля».

Перед нами — вторая линия обороны хористки: «да, я его принимала, но я его не обирала». Это статус определения: «в чем состоял поступок». Хористка говорит: «только в том, что он бывал у меня». Жена сбивает ее с этой позиции, перенося все внимание на вопрос об «обирании».

1а) «— — — Если я сегодня внесу девятьсот рублей, то его оставят в покое. Только девятьсот рублей! — Какие девятьсот рублей? — тихо спросила Паша. — Я... я не знаю... Я не брала... — Я не прошу у вас девятисот рублей... — — — Возвратите мне только те вещи, которые дарил вам мой муж! — Сударыня, они никаких вещей мне не дарили! — взвизгнула Паша, начиная пожимать».

Перед нами опять статус установления, «имел ли место поступок» (в данном слу-

¹ Пропуски в чеховском тексте обозначаются знаком — — —; многоточия — чеховские.

чае — обирание). Паша говорит: «нет», жена сбивает ее с этой позиции следующим образом:

2а) « — — — Я была возмущена и наговорила вам много неприятного, но я извиняюсь. — — — если вы способны на сострадание, то войдите в мое положение! Умолю вас, отдайте мне вещи! — Гм... — сказала Паша и пожалала плечами. — Я бы с удовольствием, но, накажи меня бог, они ничего мне не давали. — — — Впрочем, правда ваша, — смутилась певица, — они как-то привезли мне две штучки. — — — Паша выдвинула один из туалетных ящичков и достала оттуда дутый золотой браслет и жидкое колечко с рубином».

Перед нами — опять отступление к статусу определения, «в чем состоял поступок» (обирание). Эмоциональный толчок к этому отступлению — перемена тона дамы: «я извиняюсь — войдите в мое положение». На вопрос, «в чем состоял поступок», хористка отвечает: «в пустяках», и предъявляет эти пустяки. Но теперь уже дама сама переводит борьбу на третью линию Папиной обороны:

3) « — Что же вы мне даете? — — — Я не милостыни прошу, а того, что принадлежит не вам... что вы — — — выжали из моего мужа... этого слабого, несчастного человека... — — — Вы же ведь разорили и погубили мужа, спасите его... — — — Я плачу... унижаюсь... Извольте, я на колени стану! Извольте!» — — — «Хорошо, я отдам вам вещи! — засуетилась Паша, утирая глаза. — — — Только они не Николая Петровичевы... — — — я от вашего мужа никакой пользы не имела. — — — А больше у меня ничего не осталось... Хоть обыщите!»

Перед нами — третья линия обороны, статус оценки: «каков же был поступок». До сих пор с утверждениями (отрицаниями) по каждому статусу выступала Паша — теперь это делает барыня. Ее утверждение: «сколько бы вы ни взяли от моего мужа, — это вы разорили его». На это утверждение хористка уже не находит, что отвечать, признает себя виновной и сама себя обирает в пользу дамы. Разбирательство заканчивается победой дамы. Эмоциональный толчок к этому признанию своего поражения — готовность дамы встать на колени, «чтобы возвысить себя и унижить хористку».

4) Четвертая линия обороны, статус отвода, остается неиспользованной. Между тем, ничего не было легче, как его использовать. Хористка могла сказать: «да, я принимала вашего мужа и брала у него подарки; но разорила ли я его этим, — не вам судить, а ему». После этого она могла вызвать мужа из соседней комнаты и обратиться к нему с вопросами: «Какие вы мне вещи приносили? — — — Когда, позвольте вас спросить? — — —» и т. д.

Как известно, кончается рассказ совсем иначе. Хористка, действительно, обращается к Колпакову, но не раньше, чем дама «завернула вещи в платочек и, не сказав ни слова, — — — вышла». А реакция Колпакова оказывается совсем непредвиденной. Из всего содержания разговора, который он слышал, он воспринял не логические этапы обсуждения близко касающегося его вопроса, а эмоциональные перемышки между ними — те слова и поступки дамы, которыми она оттесняла хористку от одной линии обороны к другой. Для читателя вспомогательная роль и внутренняя фальшь этих эмоциональных моментов очевидны (« — — — которая выражается благородно, как в театре», « — — — Убить эту мерзавку или на колени стать перед ней, что ли?»). Колпаков же принимает их всерьез (или делает вид, что принимает) и даже не слышит Папиных вопросов по существу: «Боже мой, она, порядочная, гордая, чистая... даже на колени хотела стать перед... перед этой девкой!» и т. д. Вспомогательные и главные моменты сюжета меняются местами, рассказ выворачивается наизнанку, истории конец.

Если бы «Хористку» читал античный человек, он непременно ощутил бы за чеховской концовкой возможность той «естественной» концовки, к которой его вело движение от первого ко второму, третьему и — гипотетически — четвертому статусу; и это опущение фона только усилило бы для него художественный эффект чеховской концовки.

Думается, что этот пример достаточен, чтобы понять: возрождая античную теорию риторики, следует обращаться не только к формальному ее аспекту, но и к содержательному. Так, в любом литературном произведении статическая ситуация может рассматриваться как материал описательного жанра красноречия; сюжетное действие — как материал совещательного (принимającego решение) красноречия; образ героя — как материал судебного (оценивающего) красноречия. Только эти риторические ситуации сменяются очень быстро и часто неразвернуто.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ |

ОТ СИНТАКСИСА К СМЫСЛУ И ДАЛЬШЕ (о «КОТЛОВАНЕ» А. ПЛАТОНОВА)

В большинстве работ, посвященных творчеству А. Платонова, его тексты интерпретируются — в мировоззренческом, социальном, философском ключе, — исходя непосредственно из того, что в этих текстах сказано. В данном докладе также делается попытка интерпретации его прозы («Котлована») и формулируются некоторые ее инварианты, но отправной точкой являлись для меня формальные — именно, синтаксические — особенности этой прозы.

Серьезный анализ платоновского текста предполагает рассмотрение и интерпретацию большого текстового материала, что невозможно в рамках доклада, который поэтому следует рассматривать скорее как реферат или резюме проделанной работы.

1. Валентности слова. Ненормативное использование валентностей слова, а именно, расширение спектра валентностей, — одна из бросающихся в глаза особенностей платоновской прозы. Здесь можно различать грамматическую (*некуда жить*) и семантическую (*пошел в этот город жить*) неправильность; в отдельный класс можно выделить избыточное, тавтологическое заполнение валентных связей (*забывал помянуть*). Чисто языковые аспекты платоновских аномалий тщательно рассмотрены И. М. Кобозевой и Н. И. Лауфер (устное сообщение в Институте языкознания АН СССР 26 апреля 1989 г.), а же буду обращать внимание исключительно на их смысловые аспекты.

Платонов пишет: *в день тридцатилетия личной жизни...; вместо покоя жизни...; работали с усердием жизни*. Во всех этих примерах генитив жизни избыточен, как будто не добавляя никакого «живого штриха», — и сама эта избыточность создает вопросы синтаксической правильности. Речь становится затрудненной, нелитературной и даже не очень грамотной. При этом видно стремление изъясняться убедительно и фундаментально: говорится не о мелочах, а о жизненно важном. Такая речь направляет внимание на адресанта, — но не на выражение авторской экспрессии, а скорее на саму личность имплицитного автора. Он, видимо, сам не замечает ненормативности своей речи и убежден в том, что только так можно и должно говорить. При этом, как показывает сравнение авторской и прямой речи, в языковом отношении автор практически не отличается от своих персонажей, он растворен в них и в их речевой стихии.

Чем отличается просто *покой* от *покоя жизни*, *усердие* от *усердия жизни*? Видимо, речь идет не о мимолетном, сиюминутном, а о вечном или долговременном, распространяющемся на в с ю ж и з н ь; то, о чем говорится, приобретает статус в о п р о с а ж и з н и (и смерти). Простые слова и понятия приобретают весомость, экзистенциальный или метафизический статус; с поверхностного, видимого слоя автор уводит нас вглубь, к метафизическим основам бытия.

Платонов пишет: *выдумать смысл жизни в голове; я буду помянуть...тебя в своей голове*. Здесь мыслительные процессы получают (как бы излишнюю) топологическую координату, функция которой состоит в том, чтобы выразить укорененность духа в физиологии, т. е. в жизни, сообщив духовным явлениям ту же фундаментальность и неслучайность, о которой была речь выше. *Помянуть в своей голове* вместо *помянуть* — это так же основательно и надежно, как, скажем, «сохранить в сундуке» вместо просто «сохранить».

Вошел отворил дверь в пространство, — а не, скажем, «на улицу» или не просто «отворил дверь». Бытовое движение в конкретном окружении вдруг выводит в широкий мир, во вселенную: здесь одновременно и включенность человека в мировую жизнь, и его экзистенциальная «брошенность» в мир, одиночество, сиротство. Снова фраза выводит нас из эмпирической реальности в высшую.

Он забывал помянуть про самого себя, — а не просто «забывал себя». Тут разрушается языковое клише, и пустая фраза обретает осязательность и пронзительность; далее, через продолжительность, двучленности сам акт становится весомым, активным и мы снова идем с эмпирической поверхности вглубь человека, к его основным способностям.

Они стояли там свое время; Вошел... пошел в этот город жить. Снова выход из эмпирии в экзистенцию: не просто люди стоят на крыльце, а каждый из них стоит «свое время» — мы ощущаем течение индивидуального времени (*durée*); не просто «пошел в город», а «пошел...жить»: вместо плоского эмпирического факта и незначительного элемента *фабулы* — звено целого человеческого существования, фундаментальное как памятник. Вообще каждым таким расширением валентности слова Платонов как бы ставит на пьедестал соответствующее жизненное явление, в обычных

глазах — ничтожное, малое, случайное: лист, подобранный Воцевым, валялся *среди всего мира*. дерево растет *среди светлой погоды*, Воцев окружен *всеобщим терпеливым существованием* и т. д.

2. «Валентность» предложения. В прозе Платонова часты случаи, когда предложение, законченное по смыслу и не требующее восполнения, снабжается тем не менее придаточным или каким-либо его эквивалентом — при этом обычно избыточным, если не с точки зрения семантики, то в смысле норм литературного повествования. Такое необязательное и часто ненормативное распространение предложения создает впечатление основательности, торжественности и при этом чрезмерной эксплицитности, характерных для «просветительского» стиля простонародной не вполне грамотной речи, тяжелодумной и фундаментальной: стиль речи философа из народа, самостоятельно доходящего до сути вещей и раскрывающего слушателю вещи и без того как будто бы очевидные. Так, например, очевидно, что предметы быта украшаются, чтобы радовать глаз; но повествователь все же отметит, что *розовый цветок был изображен на обложке механизма [часов], чтобы утешить всякого, кто видит время*. Однако это необязательное придаточное вносит важный дополнительный смысл. «Видит время» — не то же самое, что «смотрит на часы», «время» несет здесь груз историко-софских коннотаций, как в мандельштамовском «В ком сердце есть, тот должен слышать, время, / Как твой корабль ко дну идет». Одновременно это означает: видит быстротечность времени и потому нуждается в утешении.

Особенно характерны для Платонова необязательные придаточные цели, демонстрирующие пантелеологичность его мира: каждая мелочь имеет цель и потому значима в общей структуре мироздания. Эта пантелеологичность хорошо видна, когда цели двухступенчатые: *Чиклин... , ваяя бревно... , понес его к Оредрову: (1) пусть идет больше пользы в общий котел, (2) чтоб не было так печально вокруг*.

В норме реалистической прозы — описание физических действий персонажа, но объяснения этих действий (*сделал... , чтобы... или ...потому что...*) даются (в норме) лишь в случае необходимости. «Вышел, чтобы покурить» — в норме, но у Платонова Воцев... *вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее*, или *Чиклин... вышел наружу, чтобы пожить одному среди скучной ночи* — эти ненормативные объяснения связаны со стремлением автора укоренить своих персонажей и их действия в экзистенциальных или метафизических глубинах.

Когда экзистенциальные цели подменяются заведомо не «конечными» — такими, как польза, труд, производство, — можно наблюдать постепенный переход от философии к трагической сатире: *Вскоре вся артель... уснула, как жила: в дневных рубашках и верхних штанах, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц и хранить силы для производства; Товарищ Пашкин бдительно снабдил жилище землекопов радиорупором, чтобы во время отдыга каждый мог приобрести смысл классовой жизни из трубы*. Здесь человек перестает быть самоценным субъектом и становится средством производства или объектом идеологического манипулирования.

Не менее характерны придаточные причины (и их эквиваленты) типа *Настя... топталась около... мужиков, потому что ей хотелось; Сельские часы висели на... стене и терпеливо шли силой тяжести мертвого груза*. Здесь нарушаются такие повествовательные постулаты, как: а) объясняется лишь то, что нуждается в объяснении; б) причина указывается, только если она нетривиальна. Часты многоступенчатые мотивировки: *Прушевский идти не захотел, сказал, что (1) он всю здешнюю юность должен сначала доучить, (2) иначе она может в будущем погибнуть, (3) а ему ее жалко*.

3. Резюмируем наблюдения п. 1—2:

а) В «Котловане» систематически нарушаются нормы литературного языка и конвенции литературного повествования.

б) Эти нарушения обуславливают направленность имплицитного читателя на сообщение, заставляя его подходить к тексту как к поэтическому, реализующему весь спектр потенциальных значений.

в) Имплицитный автор растворен в мире персонажей.

г) Строй речи в повести таков, что сообщает высказыванию фундаментальность, убедительность, торжественность. Любой пустяк — важен, любой факт — памятник самому себе.

д) Происходит расширение, распахивание малого — в большое, частного — в общее, более того, выход из мимолетного, эмпирического — в вечное. Эмпирическое приобретает метафизический и/или экзистенциальный статус.

Сказанное позволяет сформулировать глобальный инвариант платоновского текста: всякий конкретный элемент стремится к расширению, к установлению возможно более широкого круга связей с другими элементами — в особенности с элементами более «отлеченного» плана, — а в пределе конституированию себя в качестве неотъемлемой, необходимой и при этом уникальной части универсума как целого.

Реализации этого инварианта можно проследить на грамматическом, стилистическом, нарративном и смысловом уровнях.

Что же касается собственно языкового строя повести, то представляется, что аномальность авторской речи обусловлена 1) недоверием к «официальному», нормированному языку (включая всю русскую литературную традицию) как неточному и ложному; 2) отказом от «официальной» позиции писателя в пользу позиции простого, «естественного» человека, своего рода Адама, впервые называющего вещи и явления; 3) отказом от принятых мировоззренческих установок — будь то позитивистский гуманизм XIX в. или формирующийся сталинизм. Платонов ищет — и не находит — мировоззрение, адекватное происходящему в стране и в человеческой душе.

4. От частного к общему (1) [Настя] была горячая, влажная, кости ее жалобно выступали изнутри; насколько окружающий мир должен быть нежен и тих, чтобы она была жива!; (2) бескорыстно светили звезды над снежной чистотой земли и широко раздавались удары молотобойца, точно медведь застыдилась спать под этими ожидающими звездами и отвечал им, чем мог; (3) луна вывалилась... на небе, которое было так пустынно, что допускало вечную свободу, и так жутко, что для свободы нужна была дружба. Индивида окружает не столько его ближайшая среда, сколько космос (вспоминается Тютчев). В 1-м примере на космос накладывается нравственный долг по отношению к человеку; во 2-м космос оказывает нравственное воздействие на индивида (своего рода вариация на тему афоризма Канта о звездном небе и нравственном законе); в 3-м примере разворачивается антропология или социология: космос порождает свободу (и ее носителя — человека), а жуть космоса (ср. Паскаля и Тютчева) требует человеческого тепла и порождает социум.

В других случаях происходит выход — или попытка выхода — в «царство целей». События на поверхности земли бедны, бессодержательны, безнадежны, если они не освящены Смыслом; но он не дан эмпирически — к нему надо прорываться, угадывать его, и, как правило, попытки его постижения тщетны, и никто не может прочесть всемирного устава. Когда-нибудь согревающий поток смысла жизни, быть может, прольется на землю, и наступит золотой век; но сейчас человек лишь силы пробиваться в дверь будущего, и он даже сомневается в том, что там действительно что-нибудь есть.

Особый случай — выход в социальное пространство, в сферу политики: когда космические или экзистенциальные категории подменяются идеологическими, патетическая интонация автора почти незаметно переходит в сатирическую — при сохранении конструкции «расширения»: активист рассматривал подписи на бумагах: эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть целого тела, живущего в довольстве славы на глазах преданных... жас. ... он любовался четкостью подписей и изображенными земных шаров на штемпелях; ведь весь земной шар... скоро достанется в чужие, железные руки, — неужели он останется без влияния на всемирное тело земли? И со скупостью обеспеченного счастья активист гладил свою истощенную наизуками грудь.

5. Элементы научного стиля у Платонова возникают естественно как часть реализации сформулированного в п. 3 инварианта: эмпирический факт подводится под общий закон. Ход часов объясняется законом тяготения (часы... шли силой тяжести мертвого груза), физический труд описывается в терминах термодинамики (он работал..., спуская остатки своей тепловой силы в камень, который он рассекал, — камень нагревался, а Козлов постепенно холодел) и т. д. Содержательно научный стиль проявляется в подобного рода научных или квазинаучных объяснениях, формально — в самой структуре фразы с нагромождением поясняющих придаточных или их эквивалентов. В обоих случаях нарушаются повествовательные каноны: вводятся избыточные мотивировки; психологические (или вообще фабульные) мотивировки заменяются «естественнонаучными». Все это связано с образом имплицитного автора — народного философа-самоучки, стремящегося быть по-научному убедительным.

6. Элементы лирического стиля парадоксально интерферируют в «Колдоване» с элементами научного стиля. Ограничим их тезисным перечислением.

Установка на сообщение — на это работают все языковые, стилистические и нарративные аномалии, дезавтоматизируя и актуализируя форму сообщения.

Широкое использование тропов и фигур: оксюморонов (рыл, не в силах устать), олицетворений (с тайным стыдом заворачивались его листья), перифраз (давно живущие на свете люди вм. «старые») и т. д.

Сукцессивность: существует характер временного разворачивания речи, а не только результирующий «интеграл».

Лирический принцип мотивировок (сопрягающийся с научным) — в противовес психологическому и/или фабульному (Сафранов [мертвый] не мог ответить, потому что сердце его лежало в разрушенной груди и не имело чувства).

В традиционной прозе выходы из фабульной реальности строго нормированы; например, выходы в метафизику или этику возможны либо в речах персонажей (Достоевский), либо в откровенно авторских отступлениях (Толстой, Гроссман). В лири-

ке же «все разрешено»: фабульное, психологическое, метафизическое могут смешиваться. То же и в прозе Платонова.

Семантическое взаимодействие слов в платоновской фразе сильнее, чем в традиционной прозе, и близко к тому, что Тынянов называл «теснотой стихового ряда» (см. об этом [1]; здесь же отмечена тенденция к реализации всех потенциальных значений слова).

Наиболее обобщенным признаком платоновской прозы, сближающим ее с лирикой, является ее суггестивность: она воздействует не столько своим информационным содержанием, сколько способом высказывания (что парадоксальным образом сочетается с тенденцией к дискурсивной убедительности).

7. Экзистенциализм Платонова. Весь «Котлован» — сплошные родовые муки, попытка родить, обрести *смысл жизни*. Над этим бьются персонажи и, через них и с ними, автор. Всю повесть пронизывают попытки трансцендирования за рамки невыносимой эмпирической реальности — но в результате обретается лишь ничто, смерть (именно в этих попытках — глубинный смысл языковых аномалий, рассмотренных в п. 1—2). Если же время от времени показывается плод, то он оказывается недозрелым (*счастье произойдет от материализма...*, *...смысла жизни из трубы* и т. д.). Безысходность, тоска по иному типу существования и попытки прорваться к нему или хотя бы понять его — постоянная и едва ли не главная тема всех вершинных произведений Платонова.

Многие основные тезисы экзистенциализма (бытие как неразчлененная целостность субъекта и объекта; бытие как переживание субъектом своего бытия-в-мире; заброшенность человеческого существования в мир; стремление экзистенции к трансцендированию; связь таких модусов существования как забота, страх, совесть и т. д. с конечностью экзистенции и мн. др.) находят свое эксплицитное выражение в тексте «Котлована».

Анализ лексики повести подтверждает сказанное. К числу наиболее частых слов принадлежат: *жизнь* (112 раз, как правило, в экзистенциальном смысле), *существование* (35), *смысл* (21), *истина* (25); словосочетания *смысл / истина жизни / существование* встречается 18 раз; как правило, эта лексика встречается в негативных контекстах (*не имел смысла жизни, без истины тело слабеет, мне без истины стыдно жить, не чувствовала истины жизни, не мог заснуть без покоя истины внутри своей жизни* и т. д.). Это именно те категории, призванные заменить «умершего бога», к которым пытаются трансцендироваться экзистенции. Соответственно, велика роль лексем типа *понять, знать, сознавать, думать, уж* (также, как правило, в негативном контексте).

Крушение попыток трансцендирования определяет все основные экзистенциалы «Котлована». Это *тщета, сиротство (безответность, покинутость), забвение, истощение, усталость, слабость, терпение, томление, мучение, скука, тоска, стыб, горе*.

Платоновский «стихийный» экзистенциализм касается не только человеческого, но и предметного бытия, — это своего рода панэкзистенциализм. Платонов одушевляет палые листья, звезды или паровозы — и делает это для того, чтобы и их существованию сообщить экзистенциальную тоску, безысходность и сиротство. Здесь особую роль играет экзистенциал *пустоты* (примерно 40 раз). Наконец, как в человеческом, так и в природном мире господствует *смерть* (более 110 раз). Недаром смертью Настя — и с ней всякой надежды на будущее — завершается повесть, а рытье могилы для нее, повторяя в малом рытье котлована, позволяет увидеть и сам котлован как приурочивание не к всемирному дому для человеческого счастья, а к всеобщей гибели, как братскую могилу для всего человечества.

8. Сила таких несовместимых элементов, как народное любомудрие (сопряженное с «малограмотностью»), «сциентизм», лиризм и «панэкзистенциализм», осуществляемый прежде всего языковыми средствами — столь же несовместимыми, — и обуславливает, как представляется, уникальное место Платонова в русской литературе. Способы же, которыми достигается органичность слияния всех этих элементов, — обширное поле дальнейших исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Толстая Е. О связи низших уровней текстов с высшими // Slavica Hierosolymitana. II. Jerusalem, 1978.

29 мая — 2 июня 1989 г. в Москве, в Институте востоковедения АН СССР проходила международная конференция «Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока»¹. Она явилась логическим продолжением аналогичной всесоюзной конференции 1984 г.

Конференция ставила своей целью объединить усилия людей, занимающихся пред историей человечества, дальним языковым родством, всеми отраслями сравнительного языкознания и смежными дисциплинами, наладить международное сотрудничество в этих областях. Тематические рамки, обозначенные в названии конференции, оказались при этом существенно раздвинуты: доклады были посвящены истории не только Востока и не только языковой диахронии.

Одной из проблем, оказавшихся в центре внимания, была лексикостатистика, или глоттохронология. С. А. Старостин (Москва) в докладе «Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика» выразил свое несогласие с классической лексикостатистикой М. Сводеша. Константа М. Сводеша (14% за тысячелетие) представляется автору намного завышенной. С. А. Старостин предлагает для изменения основной лексики коэффициент 5% за тысячелетие и выводит новую формулу:

$$t = \sqrt{\frac{\ln N(t)}{-\lambda \cdot N(t) \cdot N_0}},$$

где t — время в тысячелетиях, λ — константа распадаения основного словаря языка, $N(t)$ — доля сохранившихся слов из основного словаря в одном языке.

С. А. Старостин предлагает и новую процедуру лексикостатистического исследования, которая заключается в следующем: берется текст на некотором языке, делится на морфемы, и для каждой корневой морфемы проверяется наличие генетически родственного соответствия (с тем же или с отличным значением) в родственном языке. Если родственной морфемы нет — ставится минус, если есть — плюс. Например, русской морфеме *moz-* в польском соответствует *mog-*,

в литовском — *mėg-*, в немецком — *mag-* (хотя значения их различны), а во французском она выпала. Конечно, эта процедура возможна лишь при наличии сравнительных фонетик и этимологических словарей рассматриваемых языков. При этом методе процент совпадений более высок и метод позволяет работать на большую временную глубину.

Используя новую формулу С. А. Старостина, египетско-коптскую глоттохронологию обсудил в своем выступлении А. Ю. Милитарев (Москва). В докладе В. И. Беликова (Москва) «Древнейшая история и реальность лингвогенетических деидрограмм» рассматривалась ситуация взаимовлияния в полинезийских языках в сравнении с ситуацией в креольских языках, а также данные лексикостатистики для этих языков. Классификация и генеалогические схемы языковых семей Южной и Восточной Азии представлены И. И. Пейросом (Москва). Дж. Грэгг (США) сообщил о применении ЭВМ в исторической лингвистике.

С. А. Старостин в еще одном докладе попытался установить лексические и фонетические соответствия между ностратическим и сино-кавказским, заодно скорректировав предлагавшиеся им ранее соответствия между сино-кавказскими языками. В качестве дополнения к этому докладу И. И. Пейрос представил материал из аустрических, сопоставимый с ностратическим и сино-кавказским.

Л. В. Боброва (Ленинград) интерпретировала шумерский женский язык *eme-sal* как один из локальных диалектов и вместе с А. Ю. Милитаревым произвела реконструкцию пра шумерского вокализма на основании сравнения диалектов *eme-sal* и *eme-gir*. Согласно этой реконструкции, шумерский обладал более богатым вокализмом, чем обычно предполагают. К. Буассон (Франция) обратился к этимологии шумерских названий антилоп. Этот доклад был подвергнут критике, в основном со стороны Е. А. Хелимского, так как многие приводимые автором сравнения рискованны с точки зрения биологической таксономии. Э. де Гролье (Франция) предпринял попытку сопоставления лексики шумерского, бурушаски и койсанских языков.

В. А. Терентьев (Москва) в докладе «Об одном древнем миграционном термине» привел дополнение к гнезду уже известных миграционных терминов — шумер. *dingir* «бог» ~ тюрк. *tägrī* «небо, бог»; самод. *tisri* «облако» и дравид. *tiñka!* «луна, месяц». Еще одним бродячим словом, согласно В. А. Терентьеву, является араб. *kursiy*, др.-евр. *kissē*,

¹ К началу конференции изданы материалы к дискуссиям и тезисы докладов в трех выпусках [1—2]; тексты докладов ряда зарубежных участников, не вошедшие в эти выпуски, распространялись непосредственно в аудиториях. Работа велась в форме пленарных и секционных заседаний. В качестве рабочих языков самой конференции и публикации ее материалов использовались русский и английский.

аккад. *kursū* «стул» ~ слав. **krěslo* > русск. *кресло*, литов. *krėslas*.

В. Э. Орел и О. В. Столбова (Москва) посвятили одно выступление «Чадско-египетским изоглоссам в области культурной лексики», а в другом — сделали попытку установить отражение афразийского вокализма в египетском, считая ряд консонантных знаков за *matres lectionis*. Согласно их выводам, соответствия между афразийским и египетским довольно сложны, но в целом *a* передается через *ʿ*, *i* — через *y*, *u* — через *w*. М. Н. Мепарашвили (Тбилиси) представил доклад «Пути трансформации реконструированной системы прасематских сибиллятов».

А. Ю. Милитарев, В. Э. Орел и О. В. Столбова систематизировали лексику семантического поля «жилище» в афразийских языках. Ими приведено 80 лексем, свидетельствующих о высоком уровне культуры у праафразийцев. Реконструкция лексико-семантического поля был посвящен доклад Д. Р. Лещинерз (Москва) «Реконструкция названий частей тела в языках семьи хока». Кроме того, Д. Р. Лещинерз приводит полный список фонетических соответствий между этими языками.

С двумя большими докладами выступила А. В. Дыбо (Москва): «О методах системной реконструкции алтайской и постратической лексики» и «Займствования из уральских языков в анатомической лексике алтайских языков». При всех достоинствах последнего доклада трудно согласиться с утверждением, что сев.-вост. тюрк. **nikkā* «затылок, загривок» (реконструкция А. В. Дыбо) восходит к самодийскому, так как само самодийское слово зафиксировано только в маторском языке и там является скорее всего тюркским заимствованием. По нашему мнению, реконструкция тюрк. **jinčkā* (> **nikkā*) [у М. Рясина представляется более обоснованной].

Алтайскую тематику продолжил О. А. Мудрак (Москва) докладом «Специфические дробления консонантных рефлексов в чувашском». Автор считает, что сохранение заднеязычных в конце чувашского слова связано с наличием редуцированного гласного в услухе в тюркском. Сходные причины обуславливают отражение *n*, *ɲ* как *m*: по О. А. Мудраку, *ŋ* > *m* перед огубленным редуцированным гласным. Чувашский также сохраняет сочетания заднеязычных с сонантами. Докладчик также считает, что пратюркский -δ- дал не только -r-, но и -j- (или мягкость соседнего согласного) или -v- (после огубленного гласного). -j- появляется на месте -δ- перед следующим *ɣ* и на месте некоторых алтайских сочетаний.

И. Н. Шервашидзе (Тбилиси) оспаривает толкование имени *Attila* как готского и предполагает его греческий и тюркский прообразы *Αὐτοχόλος* «сама злоба, ярость» и **Awat-tili* «яростно-бешеный», ср. его отражение в именнике булгарских ханов как *Авитоголь*.

Сибирская проблематика была представлена докладом Е. А. Хелимского (Москва) «Самодийская лингвистическая реконструкция и прасетория самодийцев», где дана широкая картина этногенеза самодийцев, — от прауральской общности, которую автор, вслед за венгерскими учеными, локализует на Северном Урале, между верхним течением Печоры и нижним течением Оби, до прасевросамодийской общности. Подробно рассматриваются заимствования из прасамодийского языка в сопредельные языки и наоборот.

Р. Аустерлиц (США) рассмотрел на материале нивхских географических терминов вопрос, являются ли нивхи прибрежным или континентальным по происхождению народом.

В. В. Напольских (Ижевск) предложил реконструкцию космогонических мифов народов Северной Азии и Северной Америки о ныряющей птице.

А. А. Кибрик (Москва) выступил с сообщением «Интеграция новых понятий в культуру и язык навахо», подчеркнув, что навахо полностью резистентен к заимствованиям из европейских языков. Заимствования культурных понятий, в основном названий домашних животных, в языки индейцев Америки посвятил свой доклад «Этнокультурные заимствования и лингвистический процесс (некоторые методологические аспекты)» В. А. Ширельман (Москва).

В секции индоевропеистики с докладом о пратохарской акцентной системе выступила С. А. Бурлак (Москва), которая рассмотрела отражение индоевропейских гласных в тохарском В. Л. А. Гиндин (Москва) разобрал проблему ахейских греков Гомера в связи с Аххивой хеттских клинописных текстов. Л. С. Баян (Москва) остановилась на системе согласных анатолийских языков, предполагая в лувийско-ликийских языках эламский субстрат. О. С. Широкоев (Москва) рассмотрел вопрос о палеобалканском глоттогенезе. В частности, он отмечает, что фригийский язык не был языком сатем и не являлся предком армянского, армяне же предположительно пришли в Закавказье с севера. В. В. Шеврошкин и Г. А. Баранова (США) сообщили о находке новых карийских надписей.

В секции Восточной и Юго-Восточной Азии прозвучал доклад И. И. Пейросян и В. А. Ширельмана (Мос-

ква) о возникновении рисоводства, содержащий реконструкции названий риса в языках данного региона. О методах установления прародины некоторых языковых групп Азии (тайские, сино-тибетские, австронезийские) говорил С. Е. Яхонтов (Ленинград). Вопросы специфики раннекитайского письма рассматривал А. М. Карапетьянц (Москва), а первых письменностей Центральной Азии — М. В. Софронов (Москва).

В. А. Дыбо и С. Л. Николаев (Москва) высказали новые суждения о проблеме раннеславянского диалектного членения, в основном на базе акцентологии. Их классификация, снабженная картами, в корне отличается от традиционной. Согласно этой классификации, не было православнославянского или даже праболгарского единства. По данным ударения объединяются ранее никогда не объединявшиеся говоры славянских языков, например, кривичские и штокавские или старохорватские и ильменско-словенские.

Славянской проблематике было посвящено и выступление Е. А. Мельниковой и В. Я. Петрухина (Москва). Они провели анализ этимологии названия Русь в духе норманнской теории, возводя его к др.-шв. *Rōfsi* «гребцы». Их выводы нашли поддержку П. М. Кожина (Москва).

Заслуживают внимания доклады по реконструкции отдельных языков: А. В. Вовина (Ленинград) — «Реконструкция позднего айнского языка» и В. И. Гохмана (Ленинград) — «Реконструкция прото-дун-шуйского вокализма». К проблеме дальнего сравнения обратился Н. В. Гуров (Ленинград) в докладе «Кусунда-сино-кавказские лексические параллели (к характеристике начального этапа формирования южно-азиатского языкового ареала)». А. Ю. Айхенвальд (Москва) выступила с докладом, подготовленным совместно с Ж.-П. Анжеино (Бразилия), о родстве ностратического и языков жэ в Южной Америке. В. В. Шеворошкин привел большой список сходных слов из языков разных частей света, свидетельствующих, по мнению докладчика, об их древнейшем родстве.

Ряд сообщений был посвящен антропологии. Так, Г. Л. Хить (Москва) в докладе «Дерматоглифическая систематика и расогенез финно-угров Евразии»

доказывает, что ханты по антропологическим признакам явно отделяются от остальных финно-угров в сторону монголоидности. Также дерматоглифике, но на восточнославянском материале, посвящено выступление Н. А. Долиновой (Москва). А. П. Пестряков (Москва) рассказал о «Геногеографии системы крови АВО и проблеме заселения Западного Памира».

Выступление К. Ровенчук (США) было посвящено анализу различий в изучении языкового родства в СССР и США. И. Хегедюш (Венгрия) предложила ряд новых ностратических параллелей.

Всеобщее внимание привлек доклад А. Б. Долгопольского (Израиль) «О ностратических источниках восходящих дифтонгов в алтайском, где они выводятся из 1) ностр. сочетаний «*y + гласный» и «*w + гласный», 2) ностр. сочетаний «гласный + *y» и «гласный + *w», 3) двусложных сочетаний VCV, где C — ларингальный или *y и *w, 4) преломления типа того, которое наблюдается в скандинавских языках, что и явилось главным источником этих дифтонгов. Примеры последнего типа развития: ностр. *SiḶi «остывать, охлаждать (ся), быть холодным»: алт. *šīuk 'V «замерзнуть, быть холодным», ностр. *šūla «стебель, ветка, дерево с гибкими ветвями»: алт. *šūIV «ветка, стебель» и др.

На заключительном заседании была принята резолюция, призывающая к сотрудничеству ученых разных стран в области наук о человеке и прежде всего в изучении дальнего языкового родства. Это сотрудничество должно включать обмен информацией, учеными, проведение научных конференций и совещаний, финансирование совместных проектов.

Следует отметить хорошую организационную работу, проделанную председателем оргкомитета конференции А. Ю. Милитаревым.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Материалы к дискуссиям на Международной конференции. Москва, 29 мая — 2 июня 1989 г. Ч. 1, 2. М., 1989.
2. Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тез. докл. Международной конференции, Москва, 29 мая — 2 июня 1989 г. Ч. 3. М., 1989.

Терентьев В. А. (Москва)

Технический редактор Беллева Н. Н.

Сдано в набор 29.10.90

Подписано к печати 21.12.90

Формат бумаги 70×108^{1/16}

Высокая печать

Усл. печ. л. 14,3

Усл. кр.-отт. 57,8 тыс.

Уч.-изд. л. 16,8 Бум. л. 5,5

Тираж 3974 экз.

Заказ 639

Цена 2 р. 30 к.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2 Институт русского языка, телефон 203-00-78

2-я типография издательства «Наука». 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

В магазинах «Академкнига»

имеется в продаже:

Земская Е. А. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 1991.
18 л. 3 р.

Базируясь на новом, углубленном подходе к теории синхронного словообразования, автор изучает динамический аспект словообразования. В книге рассматриваются следующие вопросы: функции словообразования в языке, вклад производных слов в систему номинативных средств русского языка; условия коммуникации, способствующие действию механизма словообразования. Исследование основано на живом материале разных сфер русского языка 60—80-х годов XX в.

Книга рассчитана на широкий круг лингвистов.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКА И ЯЗЫКОЗНАНИЕ. 1991. 10 л. 2 р.

В статьях известных лингвистов-теоретиков и специалистов в области обучения языку впервые осуществляется синтез современных достижений теоретической лингвистики и практики обучения неродному языку, раскрывается структура современного знания о языке и характеризуются основные методы описания языковых систем. Особое внимание уделяется проблемам овладения неродным языком.

Книга предназначена для широкого круга филологов, преподавателей иностранных языков.

Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов магазинов «Книга — почтой» «Академкнига»:

480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97; 370001 Баку, ул. Коммунистическая, 51; 690088 Владивосток, Океанский пр-т, 140; 320093 Днепропетровск, пр-т Гагарина, 24; 734001 Душанбе, пр-т Ленина, 95; 664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289; 420043 Казань, ул. Достоевского, 53; 252208 Киев, ул. «Правды», 80-а; 277012 Кишинев, пр-т Ленина, 148; 343900 Краматорск, Донецкой области, ул. Марата, 1; 443002 Куйбышев, пр-т Ленина, 2; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7; 220012 Минск, Ленинский пр-т, 72; 117393 Москва, ул. Академика Пилюгина 14, корп. 2; 630090 Новосибирск, Академгородок, Морской пр-т, 22; 620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137; 700185 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6; 450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10; 720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42; 310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87.